ГОСУДАРСТВО И ВЛАСТЬ

Константин Великий

Аркадий МАЛЕР

Великие Исторические Персоны

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Римский император Флавий Валерий Константин I относится к тем немногим личностям в истории человечества, про которых можно прямо сказать, что они повернули ход мировой истории, а их труды оказали влияние на весь мир и на все времена. Конечно, и до него в Римской империи были правители, обладавшие не меньшим политическим могуществом. Но у них не было универсальной идеи, придававшей их власти всемирно-исторический смысл. После Константина были правители, предлагающие миру различные судьбоносные идеи. Но у них не было той власти, которая могла быть только у императора Римской империи. Уникальное сочетание великой идеи и великой власти позволило Константину сделать нечто большее, чем просто государственная реформа: основать новую цивилизацию — христианскую европейскую цивилизацию, к которой сегодня относятся страны на колоссальном пространстве от России до Америки.

- Аркадий Малер
  - Часть 1. РИМСКИЙ КОСМОС
    - 1. Римский миф
    - 2. На семи холмах
    - 3. Идея права
    - 4. Орел расправляет крылья
    - 5. Открытие Эллады
    - 6. Рубикон перейден
    - 7. Полнота времени
  - Часть 2. ЯЗЫЧЕСКИЙ ХАОС АНТИЧНОСТИ
    - 8. Мир без лица
    - 9. Мир без творца
    - 10. Философия катастрофы
    - 11. Александрийский прорыв
    - 12. Римские культы
    - 13. Мистерии смерти
  - Часть 3. МУЧИТЕЛИ И МУЧЕНИКИ
    - 14. Когда умножились ученики
    - 15. Гонения I века
    - 16. Гонения II века
    - 17. Гонения III века
    - 18. Основание тетрархии
    - 19. Гонения Диоклетиана

- Часть 4. ЦЕЗАРЬ ГАЛЛИИ
  - 20. Откуда мы знаем о Константине
  - 21. Констанций I Хлор — отец Константина
  - 22. Константин против Галерия
  - 23. Максенций против Флавия Севера
  - 24. Максимиан Геркулий против всех
  - 25. Эдикт Галерия
- Часть 5. АВГУСТ ЗАПАДА
  - 26. Константин против Максенция
  - 27. In hoc signo vinces
  - 28. Битва у Мульвийского моста
  - 29. Лициний против Максимина Дазы
  - 30. Медиоланский эдикт
  - 31. Константин против Лициния
- Часть 6. ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
  - 32. Эксцесс донатизма
  - 33. Вызов арианства
  - 34. Никейский призыв
  - 35. «Единосущный»
  - 36. Орос православной веры
  - 37. Победа церкви
- Часть 7. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ
  - 38. Святая Елена — мать Константина
  - 39. Жена и дети
  - 40. Реформы Константина
  - 41. Новый Рим
  - 42. Крещение и преставление
  - 43. Равноапостольный
  - 44. После Константина
  - 45. Миссия Катехона
- Хронология

- notes
  - 1
  - 2

Аркадий Малер
КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ

Часть 1. РИМСКИЙ КОСМОС

1. Римский миф

Римский император Флавий Валерий Константин I (272–337) относится к тем немногим личностям в истории человечества, про которых можно прямо сказать, что они повернули ход мировой истории, а их деятельность оказала влияние на весь мир и на все времена.

Конечно, и до Константина в Римской империи были правители, обладавшие не меньшим политическим могуществом, но у них не было универсальной идеи, придававшей их власти всемирно-исторический смысл. Также и после Константина были правители, предлагающие миру какие-либо универсальные идеи, но у них не было той власти, которая могла быть только у императора Римской империи в те времена, когда ни одно государство на земле не могло сравниться с ней в могуществе. Это уникальное сочетание великой идеи и великой власти позволило Константину сделать нечто большее, чем просто государственную реформу. Оно позволило императору основать новую цивилизацию, а именно — *христианскую европейскую цивилизацию*, к которой сегодня относятся страны на колоссальном пространстве от России до Америки. Для них христианская вера, греческая философия и правовое государство остаются значимыми ценностями. За всю свою историю эта цивилизация не раз раскалывалась и собиралась, но в эпоху Константина она представляла собой единое централизованное государство, уходящее далеко в глубь всех берегов Средиземного моря.

Между тем, хотя профессиональные историки посвятили немало исследований жизни и деятельности Константина Великого, популярность этого имени сегодня совершенно неадекватна его реальному значению. Мы в подробностях знаем полупридуманные биографии десятков проходных политиканов, шарлатанов и шоуменов и делаем из них кумиров, чтобы завтра о них забыть; мы также хорошо знаем все детали из жизни многих тиранов и революционеров, разрушавших эту цивилизацию и паразитировавших на ее наследии, но мы не знаем того, кто основал эту цивилизацию и чье имя более тысячи лет было ориентиром для всех европейских политиков, желающих созидать христианский мир, а не рушить его.

Главным мировоззренческим достижением Константина стало объединение двух культур — культуры Рима и культуры Церкви, отношения между которыми до тех пор были противоречивыми. Речь идет не просто о взаимодействии двух

конкретных этических и эстетических традиций, речь идет об объединении самой идеи Рима и самой идеи Церкви в особую религиозно-политическую идеологию. Эта идеология позволила христианству превратиться в основополагающую религию Европы, а самой идее Рима обрести абсолютный смысл, выходящий далеко за пределы пространства и времени империи. Поэтому невозможно понять все значение Константина и драматическую траекторию его жизни, если сначала не прояснить для себя две основные идеи этой жизни — идею Рима и идею Церкви в их историческом становлении.

Бесконечная сила обеих идей, и идеи Рима, и еще более идея Церкви, в значительной степени заключалась в том, что они были обращены к каждому человеку без каких-либо различий. Но адекватно понять и прочувствовать этот сложный синтез, адекватно осознать эту новую римскую идеологию без ее вульгарного извращения могли, конечно, только представители образованного класса, внутри которого и происходила основная борьба по поводу этих идей. Это очень важное замечание, потому что впредь, когда разговор зайдет о каких-либо исторических событиях, касающихся империи или Церкви, мы должны отдавать себе отчет в том, что их исторический смысл осознавался только той чрезвычайно малой частью общества, которая не только умела читать и писать, но также готова была рассуждать о происходящих событиях на основании того интеллектуального наследия, которое к началу IV века оставила им греческая и латинская письменность. Сам Константин, разумеется, был представителем этого класса, и он прекрасно понимал, что его идеологическое творчество в первую очередь должно быть принято образованной частью населения. Ведь именно образованные и мыслящие люди поддержат его дело в дальнейшем, и именно они могут оказать ему наиболее острое сопротивление. Эту часть общества нельзя удовлетворить одним только производством «хлеба и зрелищ» (*panem et circenses*), оно будет задавать сложные вопросы и его нужно убеждать, тем более если ты не только не хочешь, чтобы тебя считали тираном, но даже претендуешь на звание христианина.

При этом, поскольку речь идет об объединении двух миров, римского и церковного, Константину необходимо было стать убедительным не только для римской интеллектуальной элиты, но и для христианской, до сих пор не видевшей столь внимательного отношения римской власти. Таким образом, коль скоро мы говорим о возникновении нового исторического смысла, привнесенного Константином, то сама история жизни Константина и его государства интересует нас в первую очередь

как история смыслов. Из более чем 50 миллионов населения Римской империи в начале IV века подобным образом эту историю осознавали только те люди, которые сами готовы были в ней участвовать. Поэтому, говоря о римской истории, мы можем смотреть на нее только с позиции образованного римлянина, наблюдающего за тем, что происходило в его государстве, либо с ужасом, либо с восторгом, но никак не равнодушно.

Что образованный римлянин начала IV века знал и думал про свое государство?

Прежде всего он знал, что это великое государство, коему нет, не было и не будет равных никогда и нигде. Более того, он знал, что это величие было предначертано Риму с самого начала, о чем свидетельствовала римская политическая мифология. Наиболее совершенное оформление в латинской словесности она получила со времен Октавиана Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.). Именно при нем и, во многом, благодаря ему Рим впервые получил подобие национальной и, одновременно имперской идеологии. В отличие от многих иных, туманных мифов естественного происхождения у других народов, римский миф был внятно выстроен. Это во многом было связано с таким заметным свойством римской культуры как откровенная страсть к *порядку* (ordo), к господству четко простроенной *формы*, ясной и привлекательной, но настолько самодовлеющей, что, можно подумать, именно в этом формальном порядке и заключается весь смысл существования Рима. Нормальный порядок мог показаться настолько совершенным, но он порой подавлял любое содержание и выхолащивал любой смысл, как что-то необязательное. Но на одном порядке, пусть даже наиболее продуманном, ни одна цивилизация существовать не может, и именно Константин это понял лучше всех.

Итак, сам *римский миф* был настолько простроен, что его самого можно считать мифом о великом порядке. С точки зрения этого мифа римляне были наследниками Троянского царства, павшего в начале XII в. до н. э. под натиском воинственных ахейцев, то есть будущих греков, о чем великий Гомер поведал в своей поэме «Илиада». Римляне знали, что после поражения Трои легендарный герой Эней, сын одного из троянских вождей Анхиса и богини Венеры (греческой Афродиты), отправился на поиск своей новой родины и оказался в Италии, где и основал «новую Трою». Если на Анхиса обратила внимание сама богиня любви и красоты Венера, то можно только представить себе, каким он был красивым и тем более насколько красивым должен был быть их героический сын, от которого многие римляне вели свою родословную. Детали этого «архетипического мифа» для

римского политического самосознания имеют очень важную роль.

Отец Энея Анхис в шестом поколении происходил от верховного бога римского пантеона Юпитера (*греч.* Зевса), поэтому римляне считали себя не только потомками троянцев, но и самих богов Юпитера и Венеры, которые были весьма почитаемы в языческом Риме. Любвеобильный Юпитер сошелся с плеядой Электрой, дочерью титана Атланта и океаниды Плейоны, и у них родился сын Дардан, обосновавшийся на берегах того пролива между Европой и Азией, который получил от него имя Дарданеллы. Дардан родил Эрихтония; Эрихтоний родил Троса, именем которого называли великий город; Трос родил Ила, основателя самого города, от имени которого город получил свое другое название «Илион»; Ил родил Лаомедонота, а Лаомедонт родил Пирама, в свою очередь отца Энея. Анхис был правнуком Троса, поэтому приходился троюродным братом царя Трои Приама. Между родственными кланами Анхиса и Приама, как это почти всегда бывает в языческой мифологии, развивалась определенная конкуренция за власть над городом, и хотя правил Троей Приам, продолжил род дарданцев именно Анхис. Если наследник короны Приама Гектор погиб в бою и сама Троя пала, то Эней, женатый на дочери Приама Креусе, вынес своего отца Анхиса и сына Юла из горящего города, так что *«будет отныне Эней над троянцами царствовать мощно»* (Илиада XX, 307). Между тем во время пожара погибла и его жена Креуса, так что самого Энея в этом городе уже ничего не держало.

Еще в Трое Энею явилась тень погибшего Гектора и посоветовала, захватив изваяния богов-хранителей домашнего очага пенатов, отправиться за моря и построить новый город. Вскоре после этого то же самое посоветовала Энею его мать Венера, обещав постоянную поддержку и загадочно добавив, что это путешествие будет обретением отчизны, на поиски которой Эней отправился с остатками троянской армии на двадцати кораблях. Впоследствии оракул Феба (*греч.* Аполлона) на острове Делос прямо говорит ему, что искомая земля не случайна, а является прародиной их древнего рода. Наконец, сами пенаты в тихой ночи разъясняют Энею: обетованная земля есть не что иное, как место на западе, которое греки зовут Гесперией, а его отец Анхис уточняет, что Гесперией называют италийский край. В связи с этим римская версия мифа о троянцах говорила о том, что еще сам Дардан изначально происходил из италийского (этрусского) города Кортоны и уже оттуда переселился к берегам будущих Дарданелл. Можно сказать, оказавшись в Италии, Эней фактически вернет свой народ *к родным пенатам* или самих пенатов вернет туда, где они были в самом начале… Таким

образом, римляне мыслили себя бывшими троянцами, не столько получившими новую землю, сколько вернувшимися на доисторическую прародину. Национальное самосознание часто требует укорененности не только в истории, но и в географии.

В Италию с Энеем прибывают наиболее выносливые троянцы, можно сказать, цвет нации, поскольку многие настолько устают и отчаиваются, что остаются на соседней Сицилии, где умер Анхис. Однако на этом паломничество Энея к прародине троянцев не заканчивается. Тень отца является ему и сообщает, что он находится не в мрачном Аиде, а в светлом Элизиуме, своего рода языческом рае, и они могут встретиться, если дорогу в загробный мир ему укажет знаменитая Кумекая Сивилла — прорицательница из святилища Феба, которое находится в городе Кумы (на юго-западе Италии). Эней исполняет волю отца, для чего ему приходится сначала спуститься в преисподнюю, поскольку, как сказала Сивилла, путь в Элизиум лежит через Аид. Встретившись со своим сыном на том свете, Анхис сообщает ему все, что будет с ним до конца жизни, и о том, что будет и после его смерти, — о великой судьбе их потомков, об основании Рима и его могуществе до пределов вселенной, завершая свой рассказ упоминанием Цезаря и Августа, который на римскую землю вернет «золотой век».

Почему все пророчество Анхиса заканчивается на Августе? Потому что эту историю в поэме «Энеида» впервые во всех подробностях изложил римский поэт Вергилий (70–19 гг. до н. э.), не только живший в эпоху Октавиана Августа, но и выполнивший в этой поэме его прямой идеологический заказ. Ему требовалось создать масштабное поэтическое произведение, оправдывающее геополитическое величие Рима, где сам Август предстанет потомком сына Энея — Юла, а соответственно, и самого Энея, и всех его предков, вплоть до Юпитера, его отца Сатурна, и его деда и бабушки Урана и Геи — прародителей всех римских богов. Так римская власть требовала своей укорененности не только в истории и географии, но и в самой онтологии, то есть учении о бытии, которое в религиозном сознании всегда совпадает с теологией. От Урана к Августу должна была прослеживаться прямая линия преемства, своего рода ось римского бытия.

Поэма Вергилия играла здесь роль национального эпоса римлян, подобно тому как «Илиада» и «Одиссея» Гомера стали национальными эпосами греков. Однако разница между этими текстами велика. Поэмы Гомера вырастали из стихии фольклора и передавались из уст в уста, пока в VI веке до н. э. при тиране Писистрате не были записаны гекзаметром, а в III веке до н. э.

александрийским библиотекарем Зенодотом Эфесским не были разделены на 24 книги. А поэма Вергилия была от начала и до конца придумана и отредактирована им самим в качестве заказа «сверху», где народная мифология использовалась как материал для идеологических концепций. Факты прошлого, конечно, влияли на интерпретацию настоящего, но факты настоящего в не меньшей степени влияли на интерпретацию прошлого.

Впрочем, эта искусственность римского мифа напрямую вытекала из основной, неизменной римской идеи — идеи порядка: ordo по-латински, κσδμος (cosmos) по-гречески. Мир и история, пространство и время должны быть упорядоченными вокруг идеи великого Рима, и если народные мифы не позволяют это сделать, то такие мифы должна придумать сама власть, опираясь на народные представления в тех случаях, когда это не противоречит ее основной задаче. При этом нельзя сказать, чтобы имперская идеология Рима, окончательно оформленная в эпоху Августа, входила в какой-то существенный конфликт с народными представлениями римлян. Секрет римского успеха во многом состоял в том, что идея Рима как эпицентра мирового порядка с соответствующей необходимостью созидать сильное централизованное государство была общей для всех римлян практически с самого начала их истории. И хотя мы можем выделить в римском обществе самые разные «страты» и «классы», мы не наблюдаем в его истории того конфликта государства и общества, государства и народа, который можно встретить в иных странах. В римском космосе очень сложно определить, где заканчивается государство и начинается все остальное, поскольку само понятие Рима было тождественно понятию римской государственности и вне этой базовой ценности практически никто из римлян себя не мыслил. В этом действительно заключался колоссальный успех римской системы, но вместе с этим и ее порок, периодически сказывающийся в различных кризисах.

Вернемся к троянцам, перед которыми стояла великая миссия — создать новое государство на земле своих праотцев. Разбив первый лагерь недалеко от города Ааврента, они получили радушный прием у его царя Латина, от имени которого называлась вся здешняя земля — Лациум, а отсюда, соответственно, и *латынь*, национальный язык римлян. Троя была уничтожена в 1184 году до н. э. В 1182 году в Италии был построен город Лавиниум. А в 1159 году в Лациуме сын Энея Юл, по легенде, построил новый город Альба-Лонга (Альба Долгая), ставший столицей всего Лациума и центром Латинского союза XII–VIII веков до н. э. — федерации италийских общин, своего

рода регионального прообраза будущей империи.

Через тринадцать поколений после Юла наступила эпоха братьев — Ромула и Рема, с коих уже начинается история Древнего Рима.

Оба брата считались сыновьями Реи Сильвии, дочери царя Альба-Лонги Нумитора, то есть были законными наследниками правящей династии, но младший брат Нумитора Амулий хотел сам занять трон царя, устранив потенциальных детей Реи Сильвии от власти. Для этого он заставил ее стать весталкой, девственной жрицей богини очага римской общины Весты (*греч.* Гестии), но на четвертый год к ней прямо в священную рощу явился бог войны Марс (*греч. Арес),* от которого она и родила двух сыновей Ромула и Рема, что было страшным преступленем: нарушивших обет целомудрия весталок заживо закапывали в землю. Однако несчастную Рею Сильвию укрыл бог реки Тибр Тиберин и женился на ней, а Амулий, найдя новорожденных братьев, бросил их в корзину и пустил по реке Тибр. Воды Тибра прибили корзинку к холму Палатин, где их нашла волчица и… не только не съела, а даже вскормила своими сосцами, в то время как все остальные родительские функции исполняли птицы дятел и чибис. Тем, кто знаком с языческой мифологией, здесь нечему удивляться: между людьми и животными там не столь большая разница, как в христианстве, но это отдельная тема. Надо заметить, что волк был тотемным (культовым) символом *сабинов* — другого крупного племени, живущего в Лацио и соседних регионах Италии, с которыми потомкам Дардана еще придется наладить отношения. По иной версии, братьев подобрал царский пастух Фаустул и его жена Акка Лоренция, первая жрица богини Теллус (Земли). Повзрослевшие Ромул и Рем убили своего злого дядю Амулия и вернули на трон Альба-Лонги деда Нумитора, но на этом серия убийств не закончилась. Братья решили основать колонию Альба-Лонги к северо-западу от столицы и между ними разгорелся жесткий спор о том, где именно нужно это сделать: Рем предлагал низину между холмами Палатин и Капитолий, Ромул же настаивал на вершине Палатина. В результате Ромул просто убил Рема, но потом покаялся и основал город Roma 21 апреля 753 года до н. э. Это очень важный факт — римляне на то и любили во всем порядок, что знали точную дату основания своего города-государства. Но отсчитывать летоисчисление ab Urbe condita (от основания города) они стали только при Августе, заново оформившем римский миф, то есть уже с тех времен, с каких христиане будут отсчитывать летоисчисление.

2. На семи холмах

Став первым царем Рима Ромул (правил 753–716 гг. до н. э.) собрал двенадцать сыновей своей мачехи Акки Аоренции и организовал из них коллегию из двенадцати главных жрецов, которых стали называть «Арвальские братья» от слова arvum («пашня»), поскольку они занимались призыванием дождя и заклинанием плодородия. Можно сказать, что культ матери-земли, которой служили «Арвальские братья», был первым официальным религиозным культом Рима. На этом этапе «мифологическая» часть возникновения Рима постепенно переходит в собственно историческую, хотя еще очень долго будет трудно определить, где заканчивается сказка и начинается реальность — для творцов и жрецов римского мифа этот вопрос не был принципиальным.

Основная проблема, стоявшая перед царем маленького города-государства, который хотел расширяться, была проблема демографии. Для этого Ромул в первую очередь уравнял в правах всех пришельцев вместе с местным «троянским» населением, отведя им соседний Капитолийский холм. В дальнейшем Рим будет расширять свое пространство до семи и более холмов вдоль побережья Тибра, откуда и возникло представление о том, что этот город возник «на семи холмах» (соответствующие аналогии будут проводить и с Москвой, и с некоторыми другими городами). К этому моменту в Риме оказалось много мужчин, но очень не хватало женщин, поскольку соседние племена не хотели выдавать своих дочерей за подозрительных бродяг, как они только и воспринимали римских граждан. Тогда Ромул пошел на злостную хитрость, подобно тому, как хитроумный ахеец Одиссей (в латинской версии — Улисс) придумал построить деревянного коня для взятия Трои, но только это был «Троянский конь» наоборот. Однажды в месяце секстилии (будущем августе) Ромул организовал в Риме торжественный праздник Консуалии в честь бога Конса, стража зерновых запасов, во время которого устраивались различные спортивные состязания. Посмотреть на этот праздник съехалось много представителей племени сабинов со своими женами и детьми, но в самый разгар развлечения, когда все внимание гостей было отвлечено на состязания, римляне набросились на безоружных сабинян, многих убили, но в живых оставили всех женщин, которых фактически захватили в плен. В честь этого события Ромул основал ежегодный праздник Консуалий 21 августа, а в римском народе появился обычай «выкрадывать» невесту перед свадьбой, свидетельствующий

скорее о варварских корнях самого Рима. В ответ на это вероломство сабиняне, естественно, напали на Рим, и началась затяжная война, в результате которой сабиняне практически довели римлян до полного поражения, но тут вдруг навстречу победоносным сабинянам вышли их женщины, неся на руках своих младенцев от брака с римлянами. Сабинянки хотели показать своим единоплеменникам, что они теперь тоже члены римского общества и им нечего делить между собой. В итоге сабиняне объединились с римлянами, сам Ромул женился на сабинянке Горсилии, и это был второй успех «новых троянцев» после их войны с рутулами. Похищение сабинянок и примирение с их родственниками через поколение — это наглядный алгоритм древней колонизации, когда захватчики сначала совершают насилие, а потом призывают к миру, но вместе с тем сами захватчики, смешавшись с покоренными, утрачивают свою изначальную идентичность и обретают новую культуру. Так произошло и в случае с римлянами, которые в знак примирения с сабинянами объединись в общее государство: сабиняне поселились на Квиринальском холме и вместе с римлянами стали называться «квиритами», то есть копьеносными мужами, или просто свободными гражданами. В то же время Рим стал привлекать самих этрусков, и они заселили Эсквилинский холм. Изначальная идентичность наследников Энея все более и более размывалась, Рим расширялся, и для того, чтобы поддерживать существование государства в дальнейшем, оно должно было обрести уникальные достоинства, которые бы принципиально отличали его от других государств.

Если бы Ромул был только убийцей и удачливым политиком на один день, то мы бы о нем ничего не знали, но он всерьез думал о будущем Рима и поэтому заложил первоосновы его государственности. Прежде всего, он разделил столь возросшее римское население на три «трибы» (от лат. *tribuo* — «разделяю»): Рамны (латиняне), Т ации (сабиняне) и Луцеры (этруски). Вместе они составляли римский народ (populus Romanus), иначе называемый «квириты», а к середине III в. до н. э. этих триб станет тридцать пять. Каждую из трех триб Ромул разделил на десять курий, а каждую из курий еще на десять частей. Так возникла первая административная иерархия: трибуны — курионы — декурионы. Вместе с этим все население было разделено на два основных класса — патрициев (от pater — «отец») и плебеев (от plere — «наполнять»). К первым относилось все «автохтонное», то есть коренное население, насколько в Риме вообще можно было считать себя коренным, поскольку это были представители тех самых трех триб. Ко вторым относились все

пришлые, которых становилось все больше. Надо ли говорить, что само слово «плебеи» звучало не более оскорбительно, чем «иммигранты», и только много веков спустя оно стало нарицательным. Патрициям надлежало быть жрецами, администраторами и судьями, а плебеям отводились функции ремесленников и крестьян.

Ромул предложил каждому патрицию выбрать себе часть определенного народа в специальное покровительство, отчего возникло понятие «патроната». После этого Ромул решил организовать подобие высшего государственного совета старейшин — Сенат (от senex — «старец»), состоящего из ста наиболее достойных для управления патрициев, которых выбирали трибы и курии. Впоследствии, когда среди самих патрициев началось еще большее внутреннее расслоение, причина со следствием поменялись местами, и уже «патрициями» стали называть потомков бывших членов Сената. Помимо этого он ввел должность управляющего государства на то время, когда сам он или его преемники будут вести войны. Таким образом, Ромул создал ту многоуровневую систему полумонархической и полудемократической власти, которая будет все более усложняться и которая выгодно отличала римскую цивилизацию от всех остальных. Многие страны и народы развиваются стихийно, пока какие-то политики не решают придать им определенную государственную форму, и если они не опираются на реальную жизнь населения, а искусственно навязывают ему этот новый порядок, то между властью и народом возникает неизбежный конфликт. Римская цивилизация уникальна тем, что она действительно как будто бы придумывалась ее вождями «с нуля», с самого начала создавалась как целостная организованная система, но в этой системе также с самого начала принимал участие весь активный народ, и он нуждался в этой системе не меньше, чем власть.

Из этого, конечно, не следует, что все слои населения всегда были довольны этой системой и не хотели ее менять, вовсе нет, но сама идея изменения римской власти и даже принципиального реформирования всей государственной системы никогда не предполагала отмены самого государства во всем его величии. Идея Рима как великой и единственной в мире державы была общим знаменателем всех римских политический «партий», и все их устремления, в том числе против друг друга, подразумевали служение этой общей безусловной ценности.

Как и многие иные события в этот полумифологический период возникновения Рима, смерть Ромула имела архетипическое значение для всей римской истории. По

народным легендам, Ромул вознесся на небо, подобно Энею, когда приносил жертву за народ в присутствии всего Сената, по другим же легендам, он просто был убит патрициями, не желавшими установления единовластия в его лице. Но в любом случае эти патриции, на радость всему народу, сразу после смерти Ромула провозгласили его богом Квирином, своего рода мирной ипостасью бога Марса. Действительно, мертвый бог не столь опасен, как живой человек.

После Ромула царями Рима были еще шесть человек — Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Приск, Сервий Туллий и Тарквиний Гордый, чья власть закончилась в 509 году, следовательно, Рим был реальной и номинальной монархией только с середины VIII по конец VI века до н. э.

Еще со времен Ромула римляне не привыкли, что власть с ними не советуется и не пытается им понравиться, поэтому дурное поведение царя могло привести к пересмотру всей монархической системы. Каждый из царей после Ромула делал широкие жесты, демонстрирующие цивилизованность Рима. Нума Помпилий запретил приносить в жертву богам людей, как это вполне могло быть до него, и ввел бескровные жертвы. Тулл Гостилий уничтожил «конкурирующий» город Альба-Лонгу, но добавил в римский Сенат еще сто человек из этого города. Племена вольсков, а также все еще недовольных латинов, сабинян и этрусков, напавших на Рим во времена миролюбивого Анка Марция, этот царь переселил на Авентинский холм, ставший центром сословия плебеев. Тарквиний Приск закрепил число сенаторов в двести человек и построил в Риме знаменитую канализацию (Большую клоаку). Сервий Туллий прославился глобальной реформой в пользу простого народа («Сервиево законодательство»). Три родовые трибы были заменены на двадцать одну территориальную, причем семнадцать из них были за пределами Рима. Далее он ввел плебеев в состав римского народа, а вместо родовой аристократии — пятиступенчатую систему имущественного ценза, разделив также все общество на 193 военно-электоральные части, или центурии (от centuria — «сотня»), поскольку каждая из центурий должна была поставлять государству по 100 воинов. По примеру известного тогда среди образованных римлян Солона, афинского архонта 594–593 годов до н. э., он начал выкупать людей из рабства и освобождал от патрональной зависимости клиентов — людей, идущих на определенные условия в обмен на покровительство патрициев. Но его излишняя демократичность не понравилась многим сенаторам, и он был убит, а на его место пришел его зять Тарквиний Гордый, сын Тарквиния Приска. Если сенаторы

думали, что новый царь будет отстаивать интересы патрициев, то они ошиблись: способный на подлость в отношении одних людей, также будет способен на подлость и в отношении других. Тарквиний Гордый установил режим единоличной диктатуры, преследуя всех своих потенциальных и мнимых врагов, так что число самих сенаторов сократилось вдвое. Изрядным насилием отличился этот царь, но предел терпению самих патрициев пришел, когда его сын Секст Тарквиний, угрожая оружием, изнасиловал благочестивую жену его родственника Тарквиния Коллатина Лукрецию. В ту эпоху ни одна благородная женщина не могла даже признаться своим родственникам в том, что кто-то с ней мог так поступить, на что, видимо, Секст Тарквиний весьма рассчитывал, но ошибся. Лукреция рассказала все отцу и мужу и в их присутствии покончила собой, после чего они вынесли ее тело для всеобщего обозрения на римский форум — центральную площадь между холмами Палатин, Капитолий и Эсквилин (отсюда возникло само слово «форум»), где проходили все основные массовые мероприятия города. Тогда Тарквиний Коллатин со своим соратником Луцием Юнием Брутом возглавили восстание против Тарквиния Гордого и низложили его.

С этого момента римляне панически боялись восстановления монархии, и ни один политик на долгие века не мог даже мечтать об этом, не то что признаваться в желании установить царский режим. Достаточно сказать, что сам Тарквиний Коллатин, наглядная жертва царского произвола, был отстранен от большой политики и добровольно ушел в изгнание, потому что его родовое имя Тарквиний ассоциировалось с монархией. Так с 509 года до н. э. в Риме устанавливается республика, которая *номинально* сохраняется до конца всей его истории.

Respublica в переводе с латинского языка означает «дело общее». Основной критерий республики — выборность власти, но вот кто должен выбирать кого, на какой срок и каким образом, это уже вопрос специальный. В этом смысле республика далеко не всегда является антитезой монархии, потому что и та, и другая системы власти предполагает очень много различных вариантов, в том числе смешанных. Идеологию республиканизма, очевидно восходящую к Древнему Риму, нельзя отождествлять с демократизмом. Если для демократии главной ценностью является народ (демос), то есть большинство населения, то для республики такой ценность является то «общее дело», во имя которого готовы ограничить свои интересы и меньшинство, и большинство. Республиканское сознание исходит из того, что существуют такие ценности, которые не могут быть предметом

всеобщего голосования. Например, само существование государства в демократической идеологии может быть поставлено под сомнение, и если «народ» потребует, то государство можно ликвидировать, в то время как в республиканской идеологии это невозможно, потому что сама республика уже является определенным государством и никакое голосование не может его отменить. Можно сказать, что если для демократии важно количество, то для республики важно качество; демократию интересует *воля* народа, республику интересует *организация* этого народа; для демократии важна народность, для республики — государственность. Поэтому мы никогда не назовем государственный строй Древнего Рима с 509 года до н. э. демократией, но мы можем прямо назвать его республикой, поскольку он сам себя так называл, причем впервые в истории человечества. Антонимом понятию res publica в Риме был не какой-то иной государственный строй, а res privata (дело частное), то есть интересы любых иных социальных групп, меньших по отношению к римскому государству.

3. Идея права

Установленная в 509 году до н. э. республиканская система была уникальной и весьма детализированной. Римской республикой управляли три основных института власти — комиции, магистратуры и Сенат.

Комиции — это народные собрания (от сотео — «схожусь») и в эпоху республики они делились на три типа. С царских времен в Риме сохранились куриатные комиции, состоящие только из патрициев, некогда занимающихся избранием царей и вопросами войны, но теперь только разбирающих проблемы религиозного культа и фамильно-родовых отношений. Вопросы высшей власти, войны и мира, а главное — судебные функции теперь перешли к центуриатным комициям, состоящим из патрициев и плебеев, и восходящим к реформам Сервия Туллия. Самым демократичным органом власти были трибутные комиции, выросшие из плебейских сходок и разделенные на 35 триб со всего населения римского государства.

Для молодого политика, мечтающего о настоящей государственной карьере, существовал многоуровневый путь к вершинам власти, который позже будет назван curcus bonorum («путь чести»). Этот путь представлял собой в общей сложности прохождение пяти так называемых магистратур (от magistratus — «начальник»): военного трибуна, квестора, эдила, претора и, наконец, консула. Каждая магистратура исполнялась безвозмездно, потому что это была не работа, а служение тому самому общему делу (res publica), и поэтому их мог занимать только человек, соответствующий определенному имущественному цензу. Крайне важные детали — каждая магистратура нанималась на небольшое время, в основном, на один год, и была коллегиальной, а именно состояла из двух магистратов. Следовательно, у каждого магистрата всегда был коллега, который мог следить за его деятельностью и конкурировать с ним в глазах всех остальных людей. В 180 году до н. э. по закону Виллия вся система curcus honorum была полностью регламентирована.

Первичная ступень — это должность военного трибуна в легионе (от legio — «собираю»), основной организационной единицы римской армии, включающей в себя примерно от пяти до восьми тысяч легионеров. Максимальное число легионов за всю римскую историю было не более двадцати восьми. Таким образом, любой римский политик должен был пройти военную подготовку, что было естественным, поскольку Рим постоянно

находился в состоянии защиты или нападения, и так же как трудно сказать, где закачивается римский народ и начинается государство, также трудно сказать, где заканчивается в Риме гражданская жизнь и начинается армейская. Набор в армию проходил с 17 лет и предполагал 10 лет службы. Правда, сама должность военного трибуна воспринималась несколько двусмысленно, потому что в ней было больше политики, чем военного дела, и иногда эти трибуны делились своими прямыми обязанностями с опытными профессионалами, оставляя себе примерно те задачи, которые в XX веке стояли в армии перед политическими комиссарами.

Вторая ступень — должность квестора (от quaerere — «расспрашивать»), занимающегося преимущественно вопросами госказны, госархива и уголовного права. Поскольку квестору сначала нужно было пройти всю воинскую службу, то обрести эту почетную должность можно было не ранее 27 лет.

Третья ступень — должность эдила (от aedes — «храм»), занимающегося вопросами строительства и материального обеспечения храмов, а также других построек и охраной общественных игр. С этого уровня все магистраты должны были носить особую тогу, отороченную пурпуром. Вообще, все знатные граждане должны были носить тогу (от *tego* — «покрываю»), плащ из белой шерстяной ткани, особым образом оборачивающийся вокруг тела, так что сами римляне даже получили прозвище «тогатусы». Большинство простых людей носило другую национальную одежду римлян — тунику, представляющую собой фактически протожилет: мешок с отверстием для головы и рук.

Все три ступени, военного трибуна, квестора и эдила, считались низшими магистратурами, и они избирались трибутными комициями, то есть простым народом, и это был основной элемент демократии в Древнем Риме. Следующие ступени были высшими магистратурами, и они уже избирались центуриатными комициями.

Четвертая ступень — должность претора (от praeire — «идти впереди»), введенная в 367 году до н. э. Претор выполнял функции городского судьи, хотя потом появились и преторы по делам чужестранцев, и преторы в провинциях.

Наконец, пятая ступень — должность консула, на которой стоит остановиться подробнее.

В отличие от иных магистратов, консулов всегда было только двое со статусом «первый» и «второй», и они избирались строго на один год. Первыми двумя консулами в римской истории были вожди антимонархического восстания Луций Юний Брут и Луций Тарквиний Коллатин (вскоре уступивший свое место по

известным причинам другому «революционеру» Публию Валерию Публиколе). Фактически коллегия двух консулов замыкала государственную иерархию и управляла республикой до эпохи Августа реально, а после него — номинально, вплоть до падения Римской империи. Здесь можно заметить, что решение ввести двух равнозначных правителей во многом было закономерным выводом из определенного дуализма римской власти, который можно было наблюдать в разные времена. Этот дуализм власти можно обнаружить уже на уровне римского мифа: противостояние Приама и Париса в Трое, конфронтация Ромула и Рема при основании города, периодическое двоевластие в Риме, когда наследникам Энея приходилось смиряться с претензиями вождей соседних племен (рутулов, этрусков, сабинян и др.). Также и постоянный конфликт патрициев и плебеев, заставивший в 367 году до н. э. принять закон о том, что один из консулов обязательно должен представлять плебеев. На первый взгляд это двоевластие кажется шатким и чреватым большими кризисами, что и происходило нередко в истории Рима. Но, во-первых, это была система «сдержек и противовесов», и она помогает избежать различных крайностей в управлении государством. Во-вторых, она реально просуществовала целых пять веков и номинально сохранилась впоследствии, в то время как многие монархии и тирании исчезали за несколько лет. Следовательно, система двух консулов доказывала свою эффективность, иначе бы римляне, столь поглощенные идей порядка, очень скоро ее отменили бы. Стоит также напомнить, что со времен тирании Тарквиния Гордого римляне страшно боялись восстановления монархии и двоевластие консулов казалось им гарантом от этой опасности. И хотя многие консулы могли вести себя иногда как абсолютные монархи, на словах каждый из них соревновался в преданности идеалам республики.

Консулы обладали высшей военной и гражданской властью, они могли собирать Сенат и комиции по любому поводу, мобилизовывать и возглавлять легионы, а также в исключительных случаях Сенат мог делегировать им неограниченные полномочия, или сами консулы могли по разрешению Сената назначать временных исполнителей такой экстраординарной магистратуры, как диктатор. Да, в Римской республике диктатура была должностью, и именно оттуда возникло само это понятие. Диктатор назначался на шесть месяцев и обладал практически неограниченной властью в случае чрезвычайной ситуации, когда республике угрожала настолько большая опасность, что предотвратить ее законными способами было невозможно. Для того чтобы сохранить саму систему,

требовалось выйти за ее пределы, «починить» ее со стороны и вновь вернуться в ее размеренный ритм. Поэтому понятие диктатуры нельзя путать с понятием тирании. В точном, древнегреческом смысле слова тиран — это тот, кто насильственно захватывает власть в государстве и устанавливает собственные порядки. Кстати, эти порядки могут в отдельных случаях оказаться весьма терпимыми и даже привлекательными, но сам факт незаконного прихода к власти позволяет называть этот режим тиранией. В отличие от тирана, диктатор назначается или выбирается законной властью, чтобы восстановить законный порядок, но только без оглядки на какие-либо законы. На практике же, конечно, многие законные диктаторы хотели продлить срок своей безграничной власти, и если это происходило вопреки закону и тем, кто им делегировал эту власть, то такая диктатура de facto вырождалась в очередную тиранию. Между тем в теории римской диктатуры были не только ограничения власти диктатора по времени. Например, все люди, включая самих консулов, представали перед диктатором как простые граждане, которые не могли сопротивляться его произволу, но только одного из них он не мог трогать, а именно исполнителя другой экстраординарной магистратуры — народного (плебейского) трибуна.

Народные трибуны избирались ежегодно по трибам, и они могли накладывать вето (!) на решения любого магистрата и Сената, а также созывать собрания трибутных комиций и сам Сенат для изложения своих позиций по любым вопросам. Как и все другие магистраты от военного трибуна до консула, народные трибуны могли штрафовать и арестовывать любых граждан, но их власть не распространялась на диктаторов, так же как власть диктатора не распространялась на народных трибунов. Благодаря самому факту существования народных трибунов римская власть всегда должна была учитывать мнение плебса, который посредством трибутных комиций и народных трибунов всегда мог быть услышан.

Третьей экстраординарной магистратурой была должность принцепса Сената (от princeps — «первый»), своего рода трибуна от патрициев, который был бывшим консулом, мог первым и последним выступать на заседаниях Сената и первым же высказываться по каждой проблеме. Существовали также специальные магистратуры в статусе «почетной пенсии». После исполнения должности претора человек мог быть назначен на управление одной из провинций, и тогда он назывался «пропретором». Если же это был бывший консул, то «проконсулом».

Наиболее почетной магистратурой для бывшего консула могла стать должность цензора — блюстителя общественных нравов, влияющего на списочный состав Сената, но только, в отличие от остальных магистратур, один и тот же человек не мог занимать эту должность более одного раза.

Значение консульской коллегии было настолько велико, что с начала существования республики каждый год обозначался именами соответствующих консулов, например, Иисус Христос родился при консулах Гае Юлии Цезаре Випсаниане и Луции Эмилии Лепиде Павле, не знавших, что при их магистратурах воплотился тот, от рождения которого вся Европа будет отсчитывать летоисчисление в будущем. Однако мы называем Римское государство до эпохи Августа не «консульством», а «империей» и одновременно республикой, потому что между этими понятиями нет никакого противоречия. Дело в том, что само слово «империя» породило слово «император», а не наоборот. Imperium (от imperare — «командовать») — это полнота исполнительной власти, гражданской и военной одновременно, которая делегировалась высшим магистратам куриатскими комициями. Высшая степень империума (summum imperium) предоставлялась диктатору. Поэтому в изначальном смысле империя — это не более чем территория государства, на которую распространяется империум.

Столь сложно организованная система государственного управления отражала сложность самого римского общества, неоднородность которого возрастала как в социальном, так и в этнокультурном плане. Страх перед хаосом анархии и варварства сочетался здесь с не меньшей боязнью возвращения тирании, и поэтому идея порядка никогда не превращалась в оправдание стагнации. Да и как можно было бы оправдывать стагнацию, если государством правили два консула, избиравшееся или переизбиравшиеся каждый год, а само государство находилось в состоянии постоянного расширения своих границ.

Непосредственным продолжением этой социальной сложности была знаменитая система римского права, которая, в свою очередь, сама порождала эту сложность. Римское право — самое главное достижение Римской империи, влияние которого на европейскую цивилизацию сравнивают с греческой философией и самим христианством. Действительно, мы не можем сказать, что какие-либо иные элементы римской культуры были совершеннее и привлекательнее, чем его правовая или — шире — социально-правовая система. Как и в греческой философии, в римском праве отразилась та *интуиция ценности человеческой личности*, которая только в христианстве получит

свое онтологическое обоснование. Римляне поняли, что долгосрочный порядок не может держаться на одном только физическом или моральном насилии, что люди сами должны быть в нем заинтересованы и, более того, они действительно в нем заинтересованы, потому что хаос столь же нежизнеспособен, как и тирания.

Однако нельзя сказать, что идея права была целиком и полностью автохтонным произведением римлян — первоначальный импульс принесла слава от реформ Солона, считавшегося основателем Афинской республики, который отменил долговое рабство, ограничил масштабы землевладения и ввел регулярный «совет четырехсот» для обсуждения законов, которые затем принимались народными собраниями. Римлянам середины V века до н. э. весьма импонировали подобные меры, и они отразились в так называемых Законах двенадцати таблиц, (Leges duodecim tabularum), принятых в два этапа на народных собраниях 451–450 годов до н. э., и включавших в себя целый перечень положений относительно процессуального, семейного, наследственного, соседского, уголовного, погребального и других прав. Существенным элементом этого обновления было введение денег (ais): медных монет, стоимость которых зависела от их веса. С того момента, как в 367 году до н. э. была введена должность претора, судопроизводство обрело очень высокий статус и стало одной из самых обсуждаемых тем в обществе, а благодаря преторским эдиктам последующие поколения могли зафиксировать историю правоприменения в Риме. Каждый магистрат мог разработать собственный законопроект, который вывешивался на форуме, после чего римляне могли вносить в него свои коррективы или отвергнуть его. После этого этот законопроект принимался большинством голосов на народном собрании, и если Сенат не находил нарушений в процедуре принятия этого закона, то он окончательно утверждался. Вместе с усложнением общества возрастала и классификация римского права: право публичное (jus publicum) и право частное (jus privatum), право римских граждан (ius civile) и право народов (ius gentium), то есть иностранцев на территории Рима или аборигенов завоеванных земель, и т. п.

Нельзя сказать, что римское право стало «национальной идеей» Рима, да этого и быть не может, потому что право — это не цель, а средство цивилизованного человеческого сосуществования, без которого никакая цивилизованность в принципе невозможна. Дело в том, что сама идея права предполагает наличие определенной *дистанции* между субъектами этого права, в первую очередь самими людьми,

которая возрастает по мере личной удаленности людей друг от друга. Когда отношения между людьми основаны на личной привязанности, а в идеале даже на любви и взаимопонимании, то никакое право не способно регулировать эти отношения. Однако в реальности нередко возникают три основные ситуации, которые требуют введения правовых норм даже на уровне подобных отношений. Во-первых, подобные отношения привязанности, любви и взаимопонимания выстраиваются далеко не с каждым человеком, и даже с теми людьми, с кем они возможны, они нередко перерастают в конфликт и прямое отчуждение, о чем свидетельствует вся история судопроизводства. Во-вторых, добровольные взаимоотношения между людьми еще не гарантируют их моральное качество: люди могут добровольно совершать объективное зло и преступления по отношению друг к другу и к другим людям, считая это зло добром, а преступления нормой. В-третьих, личные связи могут перерастать в прямое или косвенное насилие, которое может оправдывать себя «послушанием», от которого его жертвы хотели бы избавиться, но не могут в силу своей зависимости и незащищенности. Последнюю ситуацию можно было наблюдать в родоплеменных культурах, основанных на авторитете и традиции, наглядным образом проявляющих себя в мире деревни или на варварских окраинах империи, но город сопротивлялся этим отношениям, поскольку каждый гражданин получал в нем относительную свободу выбора своего жизненного пути и своего круга общения. Эта свобода выбора требовала от человека определенной рефлексии существующих традиций и норм и принятия самостоятельных решений на основе этой рефлексии. Одни воспринимали эту городскую ситуацию как обретение свободы, другие — как отчуждение, но в любом случае этим людям приходилось выстраивать отношения не только со своими родственниками и соседями, которых они хорошо знают, но и со всеми другими гражданами, бедными и богатыми, коренными и пришлыми, для чего необходимо было появление и развитие того самого *римского права*, которое могло бы регулировать эти отношения с точки зрения закона, общего для всех и каждого. При этом далеко не каждый мог воспользоваться преимуществами этого права, поскольку для этого нужно было быть *гражданином*. Римское гражданство получали дети мужского пола, рожденные в законном браке в семье римского гражданина. Сегодня этот патриархальный принцип кажется странным, но в древние времена его смысл заключался в том, что гражданином может быть только тот, кто способен содержать и возглавлять семью, основную ячейку римского общества, а также защищать свою

семью и государство с оружием в руках. Поскольку «слабый пол» тогда считался неспособным к этому, то идея наделить его гражданством даже не рассматривалась. Из этого, конечно, не следует, что все граждане Рима содержали семьи и готовы были носить оружие, но те, кто этого не делал, воспринимались как асоциальные типы. Какие преимущества давало римское гражданство? В целом — быть под защитой всего римского права и возможность отстаивать свои интересы в суде, а в частности, например, никогда не подвергаться телесным наказаниям и смертной казни даже за государственную измену. Для иных стран того времени подобное было просто немыслимо.

Поэтому сами римские граждане, а также многие из тех, кто мечтал бы получить римское гражданство, хорошо понимали, что Римская империя — уникальное государство. С их точки зрения, оно представляло собой не просто одну из мировых цивилизаций наравне с другими, а саму цивилизацию как таковую, по отношению к которой все остальные народы — это «варвары», у которых нет необходимого правосознания. Интересно обратить внимание на то, что само понятие «цивилизации», впервые заявившее о себе только в XVIII веке, этимологически восходит к латинскому слову civitas, то есть «гражданство» или «город-государство», и в этом контексте у римлян можно понять: само существование римского права с его понятием гражданства позволяло им воспринимать свое государство как наилучшее из возможных. Кстати, в русском языке этимологическая близость слов «гражданство» или «город» также хорошо видна. Таким образом, между историческим феноменом *города*, феноменом *права* и феноменом *гражданства* существует прямая логическая взаимосвязь, и она лучше всего видна на примере Древнего Рима.

4. Орел расправляет крылья

Если у римской государственности были какие-либо постоянные символы, которые наглядно напоминали зрителю, что он находится на территории Римского государства, то таковых было два — это аббревиатура SPQR и образ гордого орла. SPQR расшифровывается как Senatus Populusque Romanus — «Сенат и народ Рима», где que — это приставка к слову, означающая союз «и». Обратим внимание: именно *«Сенат* и народ Рима», а не «консулы и народ Рима», что подчеркивает немонархический характер римской системы. Эту аббревиатуру можно было встретить практически везде, где государство хотело напомнить о себе, а его расшифровка составляла своего рода основной лозунг республики. Символом имперского, державного начала в Риме был орел — один из самых древних и самых распространенных символов священной силы и власти почти во всем мире, где его могли видеть. Это неудивительно: сочетание красоты и силы можно встретить у льва и иных наземных существ, но добавленная к этому возможность летать есть только у орла или других хищных птиц, похожих на орлов.

Конечно, с римским мифом были связаны и другие живые существа, ставшие сакральными символами, достаточно вспомнить волка, дятла и чибиса, взрастивших Ромула и Рема, но орел — это не просто символ национальной истории, это символ Империи, могущественного государства, границы которого должны выходить далеко за пределы родной земли. В римской мифологии орел был постоянным атрибутом верховного бога Юпитера, который часто расправлялся со своими противниками с помощью гроз или орлов, почему атрибутом самого орла также могли быть молнии. Также орел был самым величественным атрибутом Феба-Аполлона, и про него существовало представление, что он единственная птица, которая может с открытыми глазами лететь навстречу солнцу. Чаще всего образ орла можно было видеть в армии: во главе римских легионов несли знамя-штандарт (vexilla), над которым водружалась фигура этой гордой птицы, ставшей символом (signa) каждого легиона. Характерным атрибутом орлов были направленные в разные стороны молнии, поскольку эта птица в свою очередь была атрибутом бога-громовержца Юпитера. Если отвлечься от конкретно-мифологических ассоциаций, то орел и молнии в любом случае означали *небесную силу*, то есть нечто совершенно недоступное человеческому сопротивлению. Иногда орла заменяли образы иных сильных существ, реальных или

вымышленных, но только орел был абсолютным символом римской армии. Потеря знаменного орла в бою означала поражение всего легиона, который после этого позора расформировывали. Противники Рима гордились захваченными в качестве трофеев римскими орлами, а римские полководцы готовы были выторговывать этих орлов обратно. Реформатор римской армии Гай Марий примерно в 100 г. до н. э. сделал образ орла с расправленными крыльями официальным военным символом и для его торжественного несения перед легионом учредил особую должность аквилифера (от aquila — «орел»). Надо ли говорить, что именно из Древнего Рима орел «перелетел» на знамена и гербы других европейских государств, которые очень хотели подчеркнуть свою идеологическую связь с этой великой империей. О том, откуда возник образ двуглавого орла, мы еще вспомним.

Над какими народами и странами должен был парить всесильный римский орел? Если их всех назвать одним словом с точки зрения римского гражданина, то это — «варварские» народы и страны. Само понятие «варварство», которое в наше время давно приобрело оценочный характер, для римского гражданина звучало скорее как констатация факта: варвары — это просто не-римляне, и они хуже римлян, потому что у них нет того понятия о государстве и праве, которое есть только у римлян и которое основано на универсальной ценности справедливости (aequitas). Варвары основывают свою власть не на праве и убеждении, а на насилии и внушении и в этом смысле почти похожи на животных. Правда, есть только одно принципиальное исключение из всех этих народов — это греки, которых многие римляне не только не считали варварами, но даже ориентировались на их культуру и признавали ее преимущества, что совершенно естественно, потому что именно греки привили римлянам интеллектуальный снобизм вместе с самим понятием barbarus, которое было прямой калькой греческого ßarßaroç. Этимологическое происхождение этого слова точно неизвестно, но есть версия, что оно имеет звукоподражательный характер: чужеземцы говорили на непонятных языках, что можно передать речитативом «вар-вар-вар», подобно тому как в России «немцами» называли всех тех, кто не может говорить по-русски и в этом смысле «нем» для русского уха. Другая гипотеза говорит о том, что barbarus связано со словом barba («борода»), потому что римским гражданам было свойственно брить бороду, в то время как варваров можно было сразу увидеть по густо заросшей бороде. Отсюда также происходит название аборигенов Северной Африки — берберов. Цивилизованность предполагала

максимальную дистанцию от всего животно-телесного начала, а также укрощение всех внешних эмоций, которые, с точки зрения римлянина, свидетельствовали скорее о слабости, чем о силе духа. Разумеется, речь идет скорее об аристократии, чем о плебсе, не стесняющемся выражать свои эмоции на рынках и в цирках.

О существовании греков римляне, конечно, знали всегда, достаточно вспомнить о влиянии идей Солона, позволяющем выделить этот раздробленный народ по ту сторону Адриатики среди других народов, но полноценная встреча с Грецией у римлян произошла далеко не сразу. После того как Рим стал республикой в 509 году до н. э., он еще почти два с половиной столетия выяснял отношения с непосредственными соседями и только к 265 году до н. э. покорил всю территорию современной Италии, не раз проигрывая и отступая перед своими противниками, празднующими над ним веселые победы, которые post factum оказывались пирровыми. Это слово происходит от имени эпирского царя Пирра, победившего римлян в 279 году, но понесшего такие потери, что впоследствии римляне совладали с ним.

К этому моменту все Восточное Средиземноморье переживало колоссальное влияние греческой культуры, названное историками эпохой эллинизма за счет господства грекоязычных монархий, наследующих крупнейшие части империи Александра Македонского после его смерти в 323 году до н. э.: царство династии Селевкидов в Азии, царство династии Птолемеев в Египте, царство Антигонидов в Македонии и др. Основную часть Греции к этому времени занимал союз политически уставших и с трудом сопротивляющихся реальности полисов с говорящим для наследников Трои названием — Ахейский союз. Однако еще никто из этих стран не представлял для Рима реального интереса и опасности, в то время как в Западном Средиземноморье набирал силу самый страшный противник Рима за всю его историю — Карфаген. Надо заметить, что миф об основании Карфагена принцессой Дидоной из финикийского города Тир имел определенный смысл: Карфаген действительно был колонией Финикии почти на самой северной точке африканского побережья Средиземного моря, основанной в конце IX века до н. э. Финикийцы и их прямые потомки карфагеняне были практически во всем отличны от римлян: по своему языку и этническому происхождению они были семитами, занимающимися в основном морской торговлей и распространившими свои колонии почти по всему Западному Средиземноморью, где у них не было серьезных соперников. В Библии они упоминаются под самоназванием «хананеяне», а

римляне их называли «пунийцами», поэтому три тяжелые войны, которые Риму пришлось вести с Карфагеном получили название Пунических войн. Изначальным поводом к этим войнам было нарушение римско-карфагенского договора 306 года до н. э. о разделе территорий, где Рим никогда не должен был занимать Сицилию, а Карфаген вторгаться в Италию, который Карфаген нарушил тем, что еще в недавней войне с эпирском царем Пирром, вторгнувшимся в Сицилию, ввел свой флот в гавань итальянского города Тарента. Могущество карфагенян было слишком сопоставимо с римским, а их культура слишком противна римлянам, чтобы позволять такие эксцессы.

Римляне понимали, что их экспансия в Средиземноморье не ограничится Италией и хотя бы соседние острова Корсика, Сардиния и Сицилия будут принадлежать либо им, либо кому-то другому и тогда они станут идеальным плацдармом для нападения на Италию. В стратегические задачи Карфагена входило вывести всю основную войну на море, где наследники Финикии всегда были чрезвычайно сильны, в то время как Риму было несравнимо удобнее бороться с ним на суше, что в итоге и происходило, но с существенными потерями для римлян. Апофеозом пунической экспансии стал знаменитый поход карфагенского полководца Ганнибала (247–183 до н. э.) на Рим обходным путем, «с тыла» — через Испанию, Галлию, Альпийские горы и почти всю Италию, победоносная битва при Каннах в 216 году до н. э. и, наконец, приближение к воротам самого Рима в 212 году. Особую остроту этому нашествию придавало то, что часть карфагенских воинов прибыла на слонах — животных, которых римляне видели впервые. Здесь они могли себя почувствовать в положении армии другого европейца — Александра Македонского, против которой индусы в свое время выставили точно тех же животных. Только если Александр привели свою армию в те земли, где живут слоны, то теперь сами слоны подошли к сердцу Римской республики. В римском мифе конфронтация с Карфагеном во многом объяснялась теми вечными проклятиями, которые Дидона послала Энею при своем расставании, и вот эти проклятия сбывались. Только тотальная мобилизация военноспособного населения и искусство римского полководца Публия Корнелия Сципиона (235–183 до н. э.) смогли разрушить замыслы Ганнибала. Римляне перевели войну на земли Карфагена, где в битве при Заме Рим одержал сокрушительную победу в 202 году до н. э. В результате Второй Пунической войны (218–202 гг. до н. э.) Карфаген потерпел сокрушительное поражение, свернулся в положение небольшого африканского государства и отныне имел право вести военные

действия только с разрешения римского Сената.

Именно в конфликте с Карфагеном Рим почувствовал свое моральное превосходство как цивилизации, поскольку столкнулся с чудовищными культами финикийской религии, которые даже привыкших к насилию римских легионеров заставил ужаснуться. Речь идет о массовых человеческих жертвоприношениях языческим богам финикийской традиции — Ваалу Хаммону (или Молох) и Танит (или Иштар), которые совершались в Карфагене на уровне государственного культа. Особенно часто эти жертвоприношения совершались во время войн, дабы эти боги помогли Карфагену победить противника, причем заживо сжигались не только пленные и какие-либо случайные люди, а также… дети, которых очень любил ненасытный Ваал Хаммон. Иногда на сожжение каждая семья должна была отдать своего первенца, и в рамках этой религии эта практика считалась вполне нормальной. По сообщению греческого историка Диодора Сицилийского (I в. до н. э.), во время одной битвы у города Карфагена в нем сожгли более двухсот детей из знатных семей. В 1921 году одна археологическая экспедиция обнаружила множество урн с обуглившимися останками детей, над которыми возвышались стелы, где были записаны просьбы богам, которым совершались эти жертвы. По подсчетам, в одном только этом месте, названном по имени финикийского бога Тофет, находились кости более двадцати тысяч детей, сожженных всего за два столетия. Для римлян было очевидно, что подобному варварству нет места на земле, тем более когда Карфаген начал оправляться от прежнего разгрома.

Зная об этом, нельзя удивляться тому, почему среди римлян были люди, подобные политику и мыслителю Катону Старшему (234–149 до н. э.), который после каждой своей публичной речи прибавлял: «А кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен» (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam). В 146 году до н. э. Карфаген был полностью уничтожен римлянами. Характерная деталь — узнав о вторжении римлян, жена карфагенского вождя Гасдрубала бросила своих детей в огонь и сожгла себя, хотя ее муж готов был сдаться в плен. Война Рима и Карфагена отражала противостояние двух типов отношения к ценности человеческой жизни.

К сожалению, еще во время Второй Пунической войны Македонский царь Филипп V Антигонид из страха перед Римом вступил в союз с Ганнибалом, считая, видимо, карфагенскую гегемонию не столь опасной, как римскую. Тогда римлянам пришлось поддержать греческие города в борьбе против наследника Македонской империи, поверженного в битве при

Киноскефалах в 197 году до н. э., что вольнолюбивым грекам весьма понравилось — еще в 224 году до н. э. они оценили разгром римлянами иллирийских пиратов, терроризировавших греческие корабли и побережье.

Македонское царство и Ахейский союз в равной степени наследовали греческой экспансии, и поэтому их противостояние было выгодно любому их противнику. Но после того, как римляне разгромили новую македонскую армию в битве при Пидне в 168 году, опасения греков стали заметны, и поэтому тысяча «ахейцев» по подозрению в измене были вывезены в Рим. Среди этих пленников оказался полководец и мыслитель Полибий (200–120 до н. э.), будущий автор многотомной «Всемирной истории» и апологет Римской республики.

5. Открытие Эллады

Для лучшего понимания назревающих взаимоотношений Греции и Рима — этих двух столпов Античности — весьма показательно сравнить позиции грека Полибия и римлянина Катона Старшего. Прежде всего нельзя не признать, что, если называть вещи своими именами, интеллектуальная культура Древней Греции была несравнимо совершеннее римской. К середине II века до н. э., когда Греция вплотную столкнулась с Римом, ее интеллектуальная культура полностью состоялась, как та кладовая, из которой все Средиземноморье будет черпать свои смыслы и мифы на многие века вперед. В Греции уже полностью сформировались поэзия и проза, драма и театр, архитектура и наука, риторика и историография, а главное — философия, эта великая культура мысли, главными воплощениями которой были Платон и Аристотель, чьи имена знали все образованные люди на всех трех континентах. На этом фоне у Рима было только хорошо организованное государства и то самое римское право, идеи которого восходили к греку Солону.

Примечательна также принципиальная разница между греческим и римским типом цивилизации: если греки жили в отдельных городах-государствах (полисах), любое объединение которых воспринималось как посягательство на их независимость, то римляне с самого начала создавали единое централизованное государство, вырастающее из одного города. У каждого из этих типов были свои достоинства, но в данном случае и на многие столетия преимущества Рима были налицо. Однако нельзя сказать, что римляне сразу открыли те сокровища, которые несла с собой Греция. Этос римского гражданина был ориентирован на созидание сильного масштабного государства, обдуваемого всеми ветрами, и поэтому спартанский аскетизм, выносливость и целеустремленность ценились здесь больше, чем отвлеченные рассуждения и изящные искусства афинской культуры, более того, сами греки к этому времени все больше получали славу сладкоречивых болтунов, чем великих воинов. Поэтому прибывшее в 155 году до н. э. в Рим афинское посольство, включавшее таких философов того времени, как платоник-скептик Карнеад, аристотелик Критолай и стоик Диоген, вызвало у римлян разные впечатления. Услышав рассуждения Карнеада о применимости принципа вероятности к реальной жизни, Катон Старший заподозрил в них опасность для римской национальной культуры, активным апологетом которой он всегда выступал. При этом сам Катон был уникальным

представителем римской интеллектуальной культуры, вполне сопоставимым со своими греческими соперниками: достаточно сказать, что именно ему мы обязаны самим понятием «культура», впервые зафиксированным в его работе «De agri cultura» («Об аграрной культуре», 160 г.). В противоположность римскому политику Катону греческий политик Полибий увидел в сближении двух культур взаимное обогащение и не испытывал никакого снобизма в отношении Рима. Как мудрый политик, он не скрывал, что считает поражение под Пидной необратимым для Греции, и одновременно увидел в Риме защитника греческих начал от мира варваров.

Полибий утверждал, что уникальная по своей сложности государственная система Римской республики практически идеальна, потому что сочетает в себе элементы трех типов государственного устройства, которые вывел Аристотель в своей «Политике» и считал наиболее предпочтительными: монархию, аристократию и политию. В формальном отношении все эти типы различались количеством граждан, участвующих во власти: монархией правит один, аристократией — немногие люди, политией — многие. Вообще, слова «полития» и «политика» происходят от греческого слова «полис» ив этом смысле уже указывают на ту сферу интересов, к которой причастно определенное множество людей. Но множество это не большинство, и поэтому необходимо различать понятия «политии» в широком и узком смыслах. В широком смысле «полития» — это любое общественное устройство, любой «полис» в узком смысле — только то устройство, где правит большинство. Аристотель считал, что основным критерием предпочтительного устройства государства является «общая польза», которую нельзя путать с пользой одного, немногих или большинства, но при этом источником власти могут быть и один человек, и немногие, и большинство, если они руководствуются этой общей пользой, и поэтому монархия, аристократия и полития вполне приемлемы. Если же монархия ставит интересы одного человека выше общей пользы, то она вырождается в тиранию; если аристократия ставит интересы немногих людей выше общей пользы, то она вырождается в олигархию; если же полития ставит интересы большинства выше общей пользы, то она вырождается в демократию. Общая польза — понятие качественное, польза большинства — понятие количественное. В наше время понятие «демократии» стало настолько необсуждаемым, что при описании аристотелевской классификации на место устаревшего слова «полития» подставляют саму «демократию», которая вырождается не в саму себя, а в «охлократию», то есть власть толпы.

Для образованных людей поздней Античности политическая теория Аристотеля была классической, и она сохранила такой статус до сегодняшнего дня. Одним из самых заметных проводников аристотелевской мысли в Риме был Полибий, увидевший в системе Римской республики синтез всех трех предпочтительных типов государственного устройства по Аристотелю: монархическое начало присутствовало во власти консулов и тем более власти диктора; аристократическое начало откровенно заявляло о себе в Сенате; начало политии очевидно прослеживалось в полномочиях трибутных комиций и народного трибуна. Причем именно политии, а не демократии в аристотелевском смысле, потому что в политии большинство способно выбирать и распределять властные должности в соответствии с объективными заслугами кандидатов, служащими «общей пользе». Конечно, восхваляя порядки Римской республики, Полибий имел в виду саму схему консульско-сенатско-трибной власти, потому что в реальности многие люди на своих местах злоупотребляли своим положением и хотели бы упростить эту схему, предпочитая свои интересы «общей пользе». Но для того, чтобы оценить теоретическое значение римской системы, необходим был взгляд со стороны греческого политического философа, и этот взгляд совершил пленник римской армии Полибий.

Завершающим аккордом римской экспансии в Греции стала битва со Спартой — последним оплотом воинственного греческого духа, которая восстала против Рима, но потерпела сокрушительное поражение в битве при городе Коринфе, около деревни Левкопетры, в 146 году до н. э. — в том же году, когда римляне уничтожили Карфаген. Можно сказать, троянцы вернулись к ахейцам через тысячу лет и отомстили за свое давнее поражение, по пророчеству Анхиса, — во всяком случае, многие почитатели мифа об Энее именно так воспринимали эти события. Лишними доказательствами в пользу этой интерпретации было название греческого союза — Ахейский и тот факт, что виновница Троянской войны Елена была спартанской царицей.

В наибольшей степени греко-римский синтез отразился в религиозной мифологии обеих языческих традиций, где уже до этого происходило стремительное взаимное «узнавание». Еще в 240 году до н. э. греческий поэт из италийского Тарента Ливий Андроник перевел на латинский язык «Одиссею» Гомера, положив начало находить греческим богам и героям латинские аналоги. Так, греческая Гея становится Теллус, Эрос — Амуром, Хронос — Сатурном, Зевс — Юпитером, Гера — Юноной, Арес — Марсом, Посейдон — Нептуном, Аид — Плутоном, Деметра — Церерой,

Персефона — Прозерпиной, Афродита — Венерой, Гефест — Вулканом, Аполлон — Фебом, Артемида — Дианой, Гермес — Меркурием, Дионис — Либером, Геракл — Геркулесом, Одиссей — Улиссом и т. д. Латинизация греческого Востока неизбежно сопровождалась эллинизацией римского Запада, и если римское начало воплощалось в государственных и правовых формах, то греческое начало воплощалось в тех смыслах, которые существовали по ту сторону этих форм. И так же как Александр Македонский нес всему миру греческую культуру, так и орлы римских легионов с середины II века до н. э. несли с собой идеи греческих философов, которых иные полководцы почитывали между боями. К концу I века до н. э. трудно было не заметить, что половина империи говорит на греческом языке, причем самая богатая и образованная половина.

6. Рубикон перейден

В I веке до н. э. Римская республика, распростертая по берегам трех континентов, оказывается в ситуации затяжного кризиса, связанного в первую очередь с вопросом о власти, которая как будто бы уже не выдерживает того общественного многообразия и территориальных масштабов, которые она пытается удержать в единстве.

Одним из факторов этого кризиса стали явные конфликты между римлянами и всеми остальными жителями Италии, не имеющими прав римских граждан, но уже давно живущими под властью Рима. В результате так называемой Союзнической войны 90–88 годов до н. э. все италики становятся римскими гражданами, что делает весь Апеннинский полуостров оплотом римской цивилизации. Другим фактором кризиса стали социальные противоречия между интересами сенаторской аристократии, воплощенными в движении оптиматов, и интересами плебса, воплощенными в движении популяров. В определенном смысле эти движения служили прототипом будущих партийных противостояний «правых» и «левых» в Европе.

Еще в 105 году до н. э. консул-популяр Гай Марий радикально реформирует армию, утратившую должную мобильность: солдаты теперь могут забирать себе все захваченные в бою трофеи, а после 25-летней службы они получают земельный надел на завоеванных территориях. Эта реформа привлекла в армию множество людей, не имевших возможности повысить свой социальный статус, а римское присутствие в новых провинциях еще более укоренилось. Кроме этого, Марий четко структурировал римскую армию: каждый легион (примерно 6 тыс. человек) делился на 10 когорт, а они в свою очередь на 6 центурий и 10 центурий в первой когорте. Центурия состояла из 100 человек, как явствует из самого названия, которые жили и питались вместе в одном лагере, а также перевозили с собой все имущество и снаряжение каждого солдата, превращаясь в основную боевую единицу армии. Однако у этой эпохальной реформы были свои издержки: новые солдаты служили уже не столько республике, сколько своим полководцам, а сама армия превращалась в подобие мужской корпорации с самостоятельными политическими интересами.

Именно этим воспользовался бывший помощник Мария, но теперь сторонник оптиматов консул Луций Корнелий Сулла, объявивший войну своему бывшему начальнику — фактически это была первая гражданская война в истории Рима (88–82 гг. до

н. э.). Благодаря реформам самого Мария Сулла впервые в истории создал прецедент захвата Рима войсками магистрата с мотивацией «освободить родину от тиранов», но вскоре ему пришлось отправиться на победоносную войну против царя малоазийского государства Понт Митридата VI Евпатора, захватившего Грецию. В это время Рим захватывает Марий и устраивает там настоящий «революционный» террор против своих врагов-оптиматов, о котором римляне будут помнить как о третьем кошмаре после тирании Тарквиния Гордого и нашествии карфагенян Ганнибала. Террор Мария продержался несколько месяцев 87 года до н. э., потому что в январе следующего года он умер, а через несколько лет, в 82 году до н. э. в Рим триумфально возвращается Сулла, который должен «навести порядок». Триумфально — в буквальном смысле слова, потому что triumphus — это особая церемония торжественного парада войск римского главнокомандующего, который возвращается в город с победой над опасным врагом. Право на триумф давал Сенат, а сама церемония обставлялась как полноценная демонстрация величия и силы полководца, ведущего за собой все возможные трофеи от униженных военнопленных до диковинных животных.

Впоследствии отсюда возникла идея строить триумфальные арки при входе в центр города, под которыми может проходить вся процессия. Надежды на Суллу среди римлян, особенно консервативной ориентации, были настолько велики, что народное собрание и Сенат наделили его полномочиями диктатора, причем, не на шесть месяцев, а до тех пор, *«пока Рим, Италия и вся римская держава, потрясенная междоусобными конфликтами и войнами, не укрепится»*, — как писал историк Аппиан (I в.). Диктатура Суллы наглядно показала те неизбежные пороки, которые возникают в том случае, когда один человек получает абсолютную власть на неограниченный срок. Теперь Рим переживал такой «контрреволюционный» террор, на фоне которого бесчинства Мария все забыли. Основу террора составляли введенные Суллой списки лиц вне закона — проскрипции. Все члены проскрипционных списков должны были быть убиты, их имущество конфисковано, а их потомки лишались всех прав. За убийство такого человека гарантировалась награда, а за укрывательство — смертная казнь. Количество имен в проскрипциях постоянно пополнялось за счет все новых и новых «врагов народа», с которыми сводили личные счеты такие известные политики, как Помпей, Красс и Лукулл, а само выискивание новых жертв превратилось в бизнес. В 79 году до н. э. Сулла неожиданно для всех ушел в отставку, а судить его de jure было невозможно, поскольку Сенат заранее оправдал все его

действия. Примечательно, что Сулла умер в результате тяжелой затяжной болезни неизвестного происхождеия: его тело покрылось огромным количеством вшей, и их невозможно было удалить, потому что их было все больше и больше. В этой мучительной кончине как будто бы было предупреждение всем будущим тиранам, которые с христианской точки зрения могут быть при жизни наказаны такими страшными болезнями.

В 73–71 годах до н. э. в Италии вспыхнуло восстание рабов под предводительством гладиатора Спартака, вновь спровоцировавшее римских граждан задуматься об укреплении власти и наведении порядка. Восстание Спартака было подавлено совместными усилиями полководцев Гнея Помпея и Марка Красса, за что они были избраны консулами в 70 году до н. э. и начинают конкурировать между собой. В то же время Помпей повторяет путь Суллы — его выдвигают как главнокомандующего очистить море от пиратов, а потом еще и окончательно разделаться с Митридатом в Малой Азии, продолжающим конфронтацию с Римом. В 61 году до н. э. Помпей с триумфом входит в Рим, но наученные трагическим опытом римские сенаторы не спешат дать ему власть, поскольку боятся повторения истории Суллы. Одновременно с этим в Риме существовало еще два крупных моральных авторитета — это Марк Красс и лидер популяров Юлий Цезарь, которым приходит удачная идея объединиться всем вместе для дальнейшего раздела сфер влияния (так называемый первый триумвират). Но надо ли говорить, что честолюбивые претензии всех трех политиков не могли закончиться миром. В 56 году им удалось договориться, что каждый из них получает по одной провинции сроком на 5 лет: Цезарь — Галлию (современную Францию), Помпей — Испанию, Красс — Сирию. Показательно, что если Цезарь, будучи проконсулом Галлии еще в 58 году до н. э., наводил там порядок, подавляя мятежи кельтов и германцев (см. его «Записки о Галльской войне»), то Помпей остался в Риме с мотивацией «следить за порядком» в столице. В 55 году до н. э. Красс начал войну с Парфянским царством — геополитическими наследниками империи Селевкидов в Месопотамии, коих они выгнали оттуда еще в 129 году до н. э. Однако Красс был убит в бою с прафянами, и в Италии осталось два авторитета — оптимат Помпей и популяр Цезарь. Тогда первый начинает распускать слухи про второго, что он хочет захватить всю власть, поскольку экстравагантное желание Цезаря соединить свое пятилетнее проконсульство в Галлии и консульство было довольно заметно. В результате сложных политических интриг в 52 году до н. э. сам Помпей получил статус «консул без коллегии» и при полной

поддержке Сената и всей партии оптиматов был провозглашен главнокомандующим с чрезвычайными полномочиями. Для Цезаря это означало закат политической карьеры, но в 49 году до н. э. он с войсками переходит границу своей провинции, реку Рубикон, и движется на Рим.

Хотя силы Помпея в количественном отношении были больше, он бежал из Рима, и его жизнь закончилась в Египте, где он искал поддержки у регентов малолетнего Птолемея XIII против Цезаря, но нашел смерть, поскольку был убит ими в надежде получить награду от нового римского вождя. Вслед за Помпеем в Египет отправляется Цезарь, где он проводит много времени при дворе Птолемея XIII, а оттуда отплывает в Сирию, где после подавления местного восстания возвращается в Рим.

Став единоличным правителем Рима, Цезарь стремится юридически оформить свою абсолютную власть, тогда возникла неожиданная идея соединить статус консула и проконсула с диктатурой. Дело в том, что даже бессрочная диктатура, как у Суллы, страдала определенной аморфностью: давая все вообще, она не давала ничего в особенности. Несколько раз он становится и диктатором, и консулом при поддержке Сената, пока в 44 году до н. э. его не избирают диктатором пожизненно и консулом на 10 лет. С этого момента фактическая власть в Риме навсегда будет сконцентрирована в руках одного человека, и начало этой тенденции положил именно Цезарь. Именно ему также принадлежит инициатива называть главу государства императором как владеющим основным империумом над всей территорией республики. Он вводит традицию величать победителя приветствием «Imperator!», и этот специальный правовой термин отныне становится весьма популярным. Но не надо забывать, что идея единоличной власти в языческой культуре неизбежно сопряжена с религиозным культом и определенные элементы сакрализации новой власти уже присутствовали при «консульской диктатуре» Цезаря.

В формировании психологии и взглядов Цезаря — политика, определяющим образом повлиявшего на дальнейшую историю Рима, — важное значение имеют два факта из его юношеского опыта. Во-первых, еще будучи мальчиком в 87 году до н. э., во время марианского террора, он получил звание фламиния Юпитера, то есть жреца верховного бога римского пантеона, в связи с чем был хорошо знаком с жизнедеятельностью жреческих коллегий. В 63 году до н. э. его жреческая карьера достигла предела: он был избран на пожизненную должность великого понтифика (Pontifex Maximus) — главы коллегии государственных жрецов, заведовавших всеми религиозными вопросами и

отправляющих соответствующие культы. Таким образом, будучи лидером демократического движения популяров, он вместе с тем был пожизненным главой религиозного культа, верховным жрецом всего Рима, и отношение к нему было соответствующее среди тех людей, которые относились к этому культу достаточно серьезно. Во-вторых, с установлением диктатуры Суллы Цезарь, связанный с врагами диктатора, чудом не попадает в проскрипционные списки и уезжает в Малую Азию, где служит в штабе местного пропретора и развивает тесные дипломатические связи с царем Вифинии, страны на севере Малой Азии, Никомедом. Существует версия, что монархические порядки азиатских стран произвели сильное впечатление на него и именно отсюда возникло его стремление к единоличной власти. В 44 году до н. э. вместе со статусом великого понтифика эти стремления достигли своего апогея: Цезарь был главой всех возможных иерархий римского государства. Он также был первым правителем Рима, чье лицо стали изображать на монетах, что для многих римских граждан было очень непривычно. Осталось только сказать, что патрицианский род Юлиев, по принятой легенде, получил свое название от Юла, сына Энея, почему Цезарь считал себя прямым потомком богов. В 45 году до н. э. он построил в Риме храм своей «праматери» — Венере Прародительницы, от которого сегодня осталось три колонны. Однако беспрецедентная по своим полномочиям диктатура Цезаря продержалась несколько недель — 15 марта 44 года до н. э. он был убит на заседании Сената большой группой заговорщиков, среди которых был его друг Брут.

Римляне панически боялись установления новой диктатуры, а тем более новой монархии. Цезарю предлагали в завершение всех своих регалий назваться царем, подобно главам эллинистических монархий Востока — baaitaw; по-гречески или гех по-латински, но он все-таки отказался, в то время как его собственным латинским именем Caesar стали переводить эти понятия на другие языки: именно отсюда возникли немецкое слово «kaiser», русское слово «кесарь» и само слово «царь». При этом специфический режим Цезаря породил в политологии специальный термин «цезаризм», означающий такую государственно-правовую систему, в которой формально сохраняются все признаки республики, но реально власть принадлежит одному человеку, безраздельно господствующему над всем обществом. Авантюрный «цезаризм» часто противопоставляется консервативному «легитимизму», то есть системе династической монархии, признанной другими монаршими династиями.

7. Полнота времени

После убийства Цезаря в 44 году до н. э. консулом был избран давний сподвижник Цезаря Марк Антоний, завладевший всем его архивом и государственной казной, но ему пришлось поделиться властью с другим верным цезарианцем, полководцем Эмилием Лепидом, который со своим войском вошел в город. Но в это время был еще третий претендент на наследие Цезаря — его внучатый племянник Гай Октавиан Фурин (его мать была дочерью сестры Цезаря), который по завещанию убитого диктатора усыновлялся им и наследовал все его имущество. Огромную поддержку Октавиану оказал знаменитый оратор и мыслитель Марк Туллий Цицерон, имеющий опыт консульства в 63 году до н. э. и выступавший в Сенате в его защиту. Именно Цицерон больше всех вел пропаганду против Антония, и именно он способствовал предоставлению Антонию провинции Галлия, ставшей для него таким же плацдармом для восхождения к власти, как и для Цезаря. Между тем все трое цезарианцев прекрасно понимали, что на определенном этапе им лучше координировать свои действия через голову Сената, поэтому в 43 году Антоний, Лепид и Октавиан заключают между собой договор (так называемый второй триумвират), а сам Октавиан силовыми угрозами выбивает у Сената статус консула. Новые триумвиры решили править империей пять лет, а начать свое правление с составления проскрипционных списков против своих врагов и подозреваемых. Тяжелым условием для Октавиана было требование Антония включить в этот список Цицерона, но он согласился, и великий римский интеллектуал был убит 7 декабря 43 года до н. э.

Отношения Октавиана и Марка Антония были закреплены женитьбой последнего на сестре Октавиана — Октавии Младшей, но даже это не остановило Антония строить планы против своего нового родственника, с которым он не раз воевал за интересы Рима. В 40 году до н. э. между двумя правителями Рима был заключен беспрецедентный договор о разделе империи на две сферы влияния: Октавиан получал Запад, Антоний — Восток. На их фоне забываемый всеми Эмилий Лепид в 36 году до н. э. совершил нечто, подобное установлению единоличной власти на Сицилии, что было расценено Октавианом как мятеж и Лепид был лишен всех постов, кроме «великого понтифика», полученного еще от Антония и неотъемлемого до конца жизни. Между тем, проводя много времени в столице Египта Александрии, Антоний весьма сблизился с царицей Клеопатрой VII, ради которой даже

развелся с сестрой Октавиана. Тогда Октавиан приказал вскрыть и огласить завещание Антония, хранившееся у весталок, по которому все земли Римской империи делились между детьми Клеопатры. После этого Сенат, и так давно недовольный излишне проегипетской политикой Антония, объявил ему войну, и у Октавиана были развязаны руки. В 31 году до н. э. молниеносная война между Октавианом и Антонием завершилась полным поражением последнего, который в итоге покончил жизнь самоубийством. В Александрии Октавиан приказал убить сына Антония, а также сына Клеопатры от Цезаря, мотивировав свое решение словами: *«Нехорошо многоцезарство»*.

По возвращении из Египта Октавиан устроил триумф и приказал закрыть ворота Януса, которые с тех пор не открывались еще многие годы. 13 января 27 года до н. э. Октавиан отказался от чрезвычайных полномочий и провозгласил *восстановление республики* — основную декларативную цель всех римских диктаторов, но только сохранил за собой командование 75 легионами и «скромный» титул императора, воспринимавшийся тогда без лишнего пафоса. Интересно обратить внимание на то, что в политике Октавиана прослеживалось одно явное противоречие: с одной стороны, будучи открытым наследником Цезаря, он лишь откровенно усиливал цезаристские тенденции, но, с другой стороны, он ни в коем случае не хотел выглядеть новым диктатором и только и делал, что «восстанавливал республику». Кончилось это восстановление законного республиканского порядка тем, что он создал такую систему, которую многие наблюдатели прямо называют монархией и никак иначе.

При этом в академической историографии эту систему часто называют «принципат» — от экстраординарной магистратуры «принцепса Сената», которая была самым главным признаком верховной власти в Риме начиная с Октавиана. Можно сказать, что Октавиан возвысил экстраординарные магистратуры «принцепса Сената» и «народного трибуна» над ординарными, объединив их в своем лице, и теперь «первый среди равных» сенаторов значил больше, чем оба консула, власть которых быстро уходила в тень. Оформление властных полномочий Октавиана отличалось от Цезаря примерно в той же степени, что Цезаря от Суллы. Если Сулла был просто диктатором с бессрочными полномочиями, то Цезарь пошел по пути оформления диктатуры признаками ординарных магистратов, консула и проконсула. В отличие же от Цезаря, Октавиан вообще отказался от диктатуры, само понятие которой давно дискредитировало себя, но пошел путем определенного

«суммирования» магистратур, что казалось сохранением всех признаков республики.

Из каких составляющих складывался статус Октавиана?

Перечислим их по пунктам. 1) Экстраординарная магистратура «принцепса Сената», использующая свои возможности по максимуму и в качестве основы, на которую наслаивались другие составляющие. 2) Экстраординарная магистратура «народного трибуна», которая отныне называется просто трибунской властью (potestas tribunnica), потому что патриций не мог быть народным трибуном. Это звание дает право накладывать вето (интерцессию) на решение любого магистрата и делает ее носителя неприкосновенным. 3) Еще с 29 года до н. э. должность цензора, позволяющая непосредственно влиять на состав Сената. 4) С 19 года до н. э. власть проконсула, дающая право командовать над большинством легионов. 5) Сама власть консула, которая теперь сохранялась скорее для соблюдения формального статуса. 6) С момента смерти Эмилия Лепида в 12 году до н. э. должность великого понтифика. 7) Звание «отца отечества» (Pater Patriae), бывшее еще у Цезаря и превращающее любого убийцу того, кто обладает этим званием, в «отцеубийцу» с точки зрения римского права того времени. Вместе с этим Октавиан ввел слово Imperator в статус личного имени, заменив им имя Гай. Также он имени Октавиан предпочитал имя Юлий, дабы указывать на свое преемство от «божественного» рода Цезаря, хоть и полученного при усыновлении, а не по крови. Однако теперь само имя Цезарь имело большее значение, чем родовое Юлий, и поэтому подставлялось вместо него. Наконец, император обретает еще одно звание — Август (Augustus), то есть «возвеличенный» или «увеличивающий», которое отныне становится главным императорским титулом и его самым известным званием. Так Гай Октавиан Фурин становится императором Юлием Цезарем Августом. Его полное наименование к моменту смерти — «Император, сын Божественного Цезаря, Август, Великий Понтифик, Консул тринадцать раз, Император двадцать один раз, наделен властью народного трибуна 37 раз, Отец Отечества». Кроме того, Август повлиял на историю европейского календаря — так же как месяц Quintilis в 44 году до н. э. был во имя Юлия Цезаря переименован в Julius, так и месяц Sextilis в 8 году до н. э. был в честь Октавиана Августа переименован в Augustus.

У Октавиана Августа получилось сделать то, что не получилось у Юлия Цезаря — установить долгосрочную абсолютную власть, сохраняющую формальные признаки республиканской законности и умереть своей смертью,

качественно реформировав республику. Отныне эту новую систему «принципата» будут именовать уже не столько Республикой, сколько Империей, так что римская история очень удобно делится на две большие части — до Августа Республика, после Августа Империя. В новой системе и Сенат, и магистратуры, и комиции продолжают существовать, но вся полнота реальной исполнительной власти (Imperium) переходит к принцепсу и его бюрократическому аппарату под названием «консистория». Из этого следует, что на протяжении всего имперского периода римской истории всегда была теоретическая возможность законным путем реставрировать республиканские порядки, но само управление столь громоздким и неоднородным государством требовало сильной центральной власти, которая в ту эпоху понималась как власть монархическая.

Эпоха Октавиана Августа для всей римской истории была переломной не только в политическом смысле, но и в культурном, поскольку нужно отдать должное императору — он всерьез думал не только о своей власти, но и о том, что он оставит Риму после своей смерти. Поэтому вокруг Августа сформировался неформальный круг активных интеллектуалов, приложивших огромные усилия для развития римской идеологической историософии, для развития *римского мифа*.

Среди этого круга особо нужно отметить имя политика Марка Веспасиана Агриппы (163–12 гг. до н. э.), построившего в честь победы Октавиана над Антонием здание Пантеона и составившего большую подробную карту Римской империи, высеченную в мраморе по приказу Августа, а также имя всадника Гая Цильния Мецената (70–8 гг. до н. э.), чье имя стало нарицательным благодаря его существенному материальному покровительству ведущим художникам и поэтам того времени. Более того, вполне возможно, что если бы не было политических установок Августа и экономических благодеяний Мецената, то мы бы не имели возможности оценить их творчество. Однако этот взрыв литературы и искусств при Августе был во многом предуготовлен творчеством убитого по проскрипционным спискам Цицерона, значение которого во всей римской культуре трудно переоценить. Главная заслуга Цицерона заключалась в полноценной рецепции греческого культурного опыта, без которой римская культура оставалась бы на весьма «провинциальном» уровне. Цицерон увидел в греческой культуре те универсальные смыслы и достижения, которые были необходимы Римской империи и придали римской правовой культуре философское содержание, и в этом смысле он понял то, что в свое время не понял Катон Старший. При этом Цицерон

вовсе не эллинизировал римскую культуру за счет утраты ею своей собственной идентичности, а, наоборот, заложил основы такого латинского литературного языка, который впоследствии был признан классическим. Поэтому ведущие поэты эпохи Августа продолжили его дело и подняли римскую литературу на уровень, вполне сопоставимый с греческим. Речь идет о таких именах, как уже знакомый нам Публий Вергилий Марон (70–19 гг. до н. э.), автор национального эпоса римлян «Энеида», Квинт Гораций Флакк (65 г. до н. э. — 8 г. н. э.), автор теории стиха и стиля «Ars Poetica», Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.), автор поэмы «Метаморфозы», фактически отразившей все основное содержание римской языческой мифологии наравне с гомеровскими эпосами. Сам Вергилий, конечно, ориентировался на Гомера, поскольку должен был создать римлянам свою «Илиаду» и «Одиссею» в одной поэме, и отличие вергилиевского эпоса от гомеровского очень точно характеризует отличие римской политической культуры от греческой. Как и ахеец Одиссей после разрушения Трои, так и троянец Эней много лет скитался по морям в поисках своего дома, но в то же время между ними есть фундаментальная разница. История Одиссея — это история личных перипетий и глубоких психологических переживаний частного человека, впервые отраженных Гомером в мировой литературе. Разумеется, как и все древние легенды, эта история имеет определенные религиозно-философские смыслы, но ее значение состоит в открытии *мира человеческой личности*, мечтающей вернуться в свой частный дом, к своей семье. В отличие от Одиссея, Эней не был частным лицом и не просто искал свой дом, он был наследником Троянского царства и должен был основать на новой земле Новую Трою. Таким образом, если психология грека — это психология частного лица, живущего в своем маленьком полисе, то психология римлянина — это психология гражданина, живущего жизнью своего государства, размеры которого все время только увеличиваются.

Для того чтобы понять, каким образом Римская республика на рубеже тысячелетий превратилась в монархию, необходимо знать ее историю I века до н. э. С христианской точки зрения эта эпоха имела очень важное историософское значение, потому что она завершилась рождением Иисуса Христа. Как мы знаем из послания апостола Павла, Бог послал Своего Сына, когда пришла «полнота времени» (Гал. 4:4): «Когда все дозрели до веры, а грехи достигли такой вершины, что во всех вещах люди стали искать лекарство от смерти», как сказал латинский философ-платоник Марий Викторин (IV в.), принявший христианство. Из этого

следует, что именно в эпоху Августа мир находился в таком состоянии, когда воплощение Божественного Сына стало наиболее своевременным, а также то, что для христиан история Римской империи, господствующей к этому времени над Иудеей, должна быть не безразлична.

Все последующие императоры Рима до Константина наследовали систему Августа, и их реформы трудно сопоставить с его преобразованиями, потому что это были реформы внутри системы, созданной Августом. Многие императоры и политики стремились хотя бы на уровне деклараций соответствовать Августу, ставшему для них идеалом и признанным богом. И хотя для того, чтобы стать императором, не было никакой необходимости иметь какие-то родственные связи с предыдущим держателем империума, поскольку государство de jure оставалось республикой, многие хотели узаконить свое пребывание у власти династическим преемством, которое можно было достичь, став формальным сыном существующего императора.

Вместе с этим, поскольку республиканские механизмы практически ушли в прошлое, появился еще один очень верный способ достичь власть, а именно — с помощью армии, а точнее, так называемой преторианской гвардии. Преторий — это территория проживания главнокомандующего в военном лагере, а также любое административное здание в городе. Преторианская гвардия — это учрежденная Августом личная охрана императора, состоящая из девяти когорт по тысячи человек в каждой когорте, то есть узаконенная форма преданности армейских частей своему главнокомандующему, которые теперь служили не столько Империи, сколько императору. Нетрудно было догадаться, что подобная элитная структура очень скоро превратится в самостоятельного субъекта политических процессов, что не столько император будет выбирать себе преторианскую гвардию, сколько сама гвардия будет выбирать себе императора, что мы и наблюдаем во всех государственных переворотах до эпохи Константина.

Вереницу римских императоров после Августа открывает полководец Тиберий, его зять и единственный наследник по завещанию, которого он усыновил с именем Тиберий Юлий Цезарь. Вряд ли нужно добавлять, что после прихода к власти он стал еще и Августом. Тиберий еще больше усилил монархические тенденции, отобрав у комиций избирательные и судебные функции в пользу Сената и наделив постановления Сената и эдикты императора силой закона, а также отказался от практики краткосрочного проконсульства в провинциях, после чего Империя все больше походила на покоренные Римом монархии

эллинистического Востока. Христиане помнят, что именно при его власти над Римом в Иудее жил и был распят Иисус Христос (Лк. 3: 1). Хотя сам Тиберий дожил до преклонных лет и заболел настолько, что все уже приняли его за мертвого, он все равно умер не своей смертью, потому что один из его наследников по имени Макрон, увидев, как император неожиданно открыл глаза, набросился на него и задушил ворохом одежды. Жизнь человека, обладающего могущественной и при этом бессрочной властью, всегда в опасности. Из всех императоров, правящих от Августа до Константина, восемнадцать умерли не своей смертью в результате внутриполитических заговоров и восстаний. Был убит преемник Тиберия Калигула, убит преемник Калигулы Клавдий, покончил собой преемник Клавдия Нерон, и хотя в каждом конкретном случае можно найти особые причины этих убийств, необходимо понимать, что речь шла о власти над гигантской территорией от Гибралтара до Черного моря, по отношению к которой Средиземное море, как иногда шутят, представлялось «внутренним озером». Пределы римской экспансии были достигнуты в период императора Траяна (правил в 98–117 гг.), к этому моменту в Империю входили такие европейские территории, как Италия, Испания, Галлия (Франция), Британия (Англия), часть Южной Германии, Балканы и Греция, азиатские территории — Малая Азия, Сирия, Палестина, часть Аравии и, наконец, вся береговая зона Северной Африки, включая Египет. Преемник Траяна, император Адриан (правил в 117–138 гг.) построил на севере Британии крепостную стену, обозначающую северную границу Империи. После этого римлянам больше приходилось думать о защите государства от вездесущих варваров, чем о новых завоевательных походах.

К концу III века управление Империей из единого центра при существующем техническом уровне развития стало все более затруднительным, и тогда император Диоклетиан в 293 году разделил ее на четыре большие части-префектуры со своим правителем в каждой из них. При этом, он полностью ликвидировал все признаки республики, в связи с чем основанный им образ правления назван историками «доминат» в противоположность «принципату». Казалось, в истории Римской империи наступает принципиально новая эпоха, сравнимая с реформами Августа. И эта новая эпоха действительно наступила, поскольку в начале IV века Империя изменила не только форму, но и сам смысл своего существования. Однако это обновление произошло не столько благодаря, сколько вопреки политике Диоклетиана, издавшего в 303 году эдикт о массовом уничтожении христиан. Правда, эта попытка уничтожить Церковь

за последние три века со времен Христа и его апостолов была далеко не первой.

Часть 2. ЯЗЫЧЕСКИЙ ХАОС АНТИЧНОСТИ

8. Мир без лица

До преобразований императора Константина в IV веке Римская империя была языческим государством. Для любого школьника это так же хорошо известно, как и то, что до преобразований князя Владимира в конце X века Киевская Русь была языческой. Однако само понятие «язычества» включает в себя так много различных традиций и культов, что без погружения в богословские проблемы дать этому понятию более-менее внятное определение практически невозможно. Дело в том, что язычество никогда не существовала как единая религия, этим словом называется целый мир самых разных религиозных учений, которые имеют свои собственные названия и самоназвания, и отнюдь не солидарны друг с другом по очень многим принципиальным положениям.

С христианской точки зрения такое состояние язычества вполне закономерно, потому что все языческие культы представляют собой глубоко искаженные пародии на ту единую веру в Бога, которая еще сохранялась у людей первых поколений после Потопа и разрушения Вавилонской башни, но которую они полностью забыли и заменили ее более понятными им, примитивными фантазиями, предпочтя *«служить твари вместо Творца»* (Рим. 1: 25). На религиозные фантазии людей влияли все возможные объективные и субъективные факторы, и чем больше люди распространялись по миру, чем больше различий между ними было в социальном, этническом, географическом и тому подобном отношении, тем более разнообразными становились их религиозные культы. Единственное исключение с начала II тысячелетия до н. э. составлял еврейский народ, живущий в Палестине и исповедующий веру Ветхого Завета, поскольку Господь избрал этот народ среди других с точки зрения Церкви. При этом языческие тенденции периодически проникали в жизнь ветхозаветных евреев, достаточно вспомнить эксцессы с поклонением золотому тельцу или медному змею, а пророки и подвижники ветхозаветной веры активно боролись с этими тенденциями. После того как большая часть иудеев не признали в Иисусе Христе своего Мессию и воплощенного Бога, то в самом иудаизме, с христианской точки зрения, языческие тенденции еще больше усилились, и поэтому если сами иудеи считают, что они наследуют веру дохристианских предков, то с позиции христианства они, наоборот, исказили веру праотцов и пророков и открыли для себя путь в язычество.

Таким образом, все противоречия христианства с другими

религиями сводятся к конфликту с язычеством, с той степенью язычества, которая есть в этих религиях. В религиоведческом лексиконе для обозначения той общей мировоззренческой установки, которая связывает религию Ветхого и Нового Завета существует популярный термин «авраамизм» от имени праотца Авраама, потому что именно с ним Господь заключает свой Завет, отличающий эту религию от всех остальных, то есть от язычества. Поскольку с точки зрения Церкви Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета — это один и тот же Бог-Троица, то Церковь никогда не признает, что какие-либо иные религии более «авраамичны», чем само христианство. Впрочем, для этого нужно обозначить основные различия между авраамическим (библейским) и языческим подходом.

Как мы уже заметили, единого язычества никогда не существовало, но существует много язычеств, с которыми пришлось непосредственно столкнуться всем первым апостолам, когда они отправились исполнять последний завет Христа — пойти и научить все народы мира, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (Мф. 28:19). Миссионерский императив Христа не был чем-то неожиданным для его учеников, поскольку он со всей очевидностью логически вытекал из того универсального мировоззрения, которое принес Христос, и самого смысла его прихода, обращенного ко всем и каждому. Словом «язычество» первые миссионеры обобщенно назвали религии всех народов мира, иначе говоря, «религию народов», как говорили христиане, думающие на еврейском, греческом или латинском языках. В древнееврейском языке другие народы означаются словом «гои», в греческом языке — этнос, в латинском языке — gentilis, а также pagans. В славянском языке племена и народы назывались «языками», потому что их главное отличие между собой заключается в том, что они говорят на разных языках, отсюда и возникло русское слово «язычество». Однако сами «религии народов» были настолько разнообразны, что первым апологетам Церкви невольно пришлось изучать и классифицировать их по разным критериям, благодаря чему значительную часть информации о многих исчезнувших культах и учениях того времени мы знаем именно из христианской литературы. Вместе с тем языческой была религия самих греков и римлян, и она уже не могла для них называться религией «других народов», да и само это понятие было слишком расплывчато.

Поэтому если можно дать наиболее точное определение язычества, то оно будет адекватно звучать только в рамках церковного сознания: язычество — это любая нехристианская религия, то есть язычество начинается там, где христианство

заканчивается.

Для самой же Церкви гораздо удобнее было пользоваться другим термином — «ересь» (αίρεση), изначально означающим любое «учение», «мнение», «выбор», но поскольку все религиозно-философские учения по отношению к Церкви были нехристианскими, то само это слово в церковном лексиконе стало означать любое *неправильное, неправославное* учение. В этом смысле понятия язычества и ереси до определенного момента совпадали, но появление большого количества «ересей» по очень специальным вопросам внутри христианства не позволило их отождествлять.

Очень часто при первом приближении к определению язычества говорят о его политеизме, то есть многобожии, что на первый взгляд совершенно правильно, потому что большинство языческих культов действительно признают существование множества богов, а не одного, что для тех из языческих авторов, которые хотят осмыслить количество и качество этих богов, всегда было большой головной болью, поскольку никаких точных критериев по этому вопросу нет. Более того, если в христианстве понятие Бога достаточно внятно, то *онтологический статус* богов языческих религий всегда вызывал серьезные вопросы. В принципе, бог языческого пантеона — это некое существо, обладающее огромной властью и силой в отношении какой-либо конкретной сферы, но эта власть и сила заканчиваются там, где начинаются сферы других богов. Отсюда возникают неизбежные вопросы. Откуда эти боги возникают? Как эти боги друг с другом связаны? Сколько может быть этих богов и почему именно столько, а не больше и не меньше? Какие у этих богов отношения и если они конфликтуют и даже могут свергать друг друга, то где предел их могущества и какова их этика? И т. д. и т. п. Поскольку все эти боги в первую очередь были воплощением всех возможных явлений природного, социального и личного бытия человека, как, например, «бог солнца» и «бог земли», «бог богатства» и «бог справедливости», «бог любви» и «бог вражды» и т. д., то их количество было бесконечно, и далеко не каждый специалист по Древней Индии, Египту или Греции может с ходу перечислить всех богов из их мифологии и даже запомнить их имена, а тем более их родственные связи и личные отношения. Идея «богини луны» порождала идею «богини восходящей луны» и «богини подземной луны», а самой богине требовался бог-муж и бог-любовник, которые в свою очередь тоже раздваивались и растраивались, и предела этому размножению богов по специальным сферам никогда не было. К этому нужно прибавить, что сами мифы противоречили друг другу по содержанию и

предлагали ему разную интерпретацию, так что если многобожие могло найти для своей системы самого адекватного верховного бога, то это был бог Хаоса. Как только иные языческие философы пытались более-менее точно систематизировать этот хаос и выстроить четкую иерархию богов со своей четкой родословной и специализацией, то это всегда носило очевидно искусственный характер. Если сто богов сокращается до десяти, то возникает вопрос почему бы не продолжить это сокращение дальше и не прийти к одному богу, который бы ни в ком больше не нуждался?

Именно эту тенденцию к *монотеизации* можно наблюдать во всех развитых языческих религиях на этапе их внутренней философской саморефлексии, и иногда эта тенденция заканчивалась созданием *языческого монотеизма.* Поэтому некоторые *философы-неоплатоники* в борьбе с наступающим христианством начали признавать, что их греческие боги — это лишь проявления божественной инстанции более высокого порядка, и выстраивать этих богов по ранжиру. Конечно, политеизм является одним из признаков язычества в сравнении с библейским монотеизмом, но это не сущностный признак, а лишь наиболее заметный для всех людей.

Если же говорить о сущностном отличии язычества и авраамической религиозности, то оно касается не количества богов, а *онтологического качества* самой божественной природы и его *связи* с опытным миром. В связи с этим первичный взгляд на язычество отмечает в нем значительный натурализм и даже материализм в сравнении с более духовной религиозностью Библии: язычники общаются с видимыми богами, которых «можно потрогать», а христиане с невидимым Богом, в которого можно только верить и к которому никак нельзя прикоснуться.

В этом рассуждении есть своя правда: действительно, язычники никогда не признались бы в том, что они только *верят* в своих богов, они видели этих богов во всех материальных предметах, а также в их идольских изображениях и были уверены, что это именно боги, и только в авраамическом мировоззрении признание в том, что ты *веришь* в Бога, потому что еще не имел опыта реального общения с ним, воспринимается вполне достойно.

Однако это различение язычества и христианства столь же поверхностно, как и их различение в качестве политеизма и монотеизма. И так же как в случае с прецедентом языческого монотеизма ключевую роль здесь играли философы, которые, пытаясь осмыслить и систематизировать языческую картину мира своих народов, неизбежно различали в природе материальный и надматериальный уровни, а также в самом мироздании в целом

различали уровень природный (естественный) и надприродный (сверхъестественный). Например, человеческая душа с точки зрения многих религий, включая христианство, нематериальна, но она при этом остается частью природы, поскольку понятие природы не тождественно понятию материи и в самой природе есть материальное начало и надматериальное. При этом то *духовное начало*, которое является причиной порождения всей природы, как материальной, так и нематериальной, само по себе должно быть сверхприродным, то есть быть за пределами любых ограничений и любого опыта. По отношению к миру природы, включая ее материальный уровень, это духовное начало выступает как главный управитель, который может оказываться на всех «подчиненных» уровнях в качестве *проявлений* и *воплощений*. Как мы уже заметили, некоторые философы-неоплатоники именно так пытались объяснить существование языческих богов — как проявление (эманации) первичного сверхбога, который находится за пределами всякого опыта.

Таким образом возникло различение сверхопытного, потустороннего этому миру уровня бытия («рансцендентного) и опытного, посюстороннего этому миру уровня бытия (имманентного). Это различение гораздо точнее описывает религиозную картину мира, чем ее разделение на духовный и материальный планы. Пытаясь определить это различие, философ Андроник Родосский в I веке до н. э., издатель первого собрания сочинений Аристотеля, собирательно назвал восемь его книг, посвященных сверхфизической реальности и идущих после «Физики», — *метафизикой,* и этот термин был очень удобным для обозначения соответствующей реальности на многие века. В XVII веке, когда многие философы стали отрицать существование метафизической реальности, они заменили этот термин на термин «онтология», означающий науку о любом бытие вообще.

В итоге необходимо констатировать тот факт, что интеллектуализация язычества, осуществляемая некоторыми античными философами, неизбежно корректировала языческую картину мира в направлении *монотеизма* и *метафизики*, с одной стороны, разрушая примитивные народные представления о богах и духах, а с другой стороны, придавая язычеству существенный интеллектуальный потенциал, с которым христианству еще предстояла серьезная борьба. Более того, если мы откроем историю полемики христиан и язычников первых веков, то мы увидим, что, как правило, это полемика еще не самых опытных в интеллектуальных баталиях, начинающих христианских богословов и философов-неоплатоников, упрекающих христианство в… многобожии и материализме. В многобожии —

потому что если платонический бог, называемый «Единое», неделим и существует в единственном числе, то христианство проповедует Бога-Троицу. В материализме — потому что если платоническое «Единое» существуеттрансцендентно и никогда не может воплощаться на материальном уровне, то христианский Бог-Троица посылает свое Второе Лицо, Бога-Сына, в мир в качестве живого человека, который рождается от смертной женщины и живет среди людей. Если философ Плотин (204–270), фактически систематизировавший всю неоплатоническую философию, говорил, что *«ему стыдно, что у него есть тело»*, и проповедовал неизбежное развоплощение после смерти, то христианство утверждало воскресение человека в теле и необходимость евхаристии — причащения Кровью и Плотью Спасителя. Следующее после неоплатонизма направление в античной религиозно-философской мысли первых веков, активно сопротивляющееся христианству, а именно гностицизм, не только утверждало оппозицию духовного и материального, но даже признавало материю злом, от которого нужно избавиться. Стоит ли говорить, что и для неоплатонизма, и для гностицизма, а также для таких учений поздней Античности, как стоицизм и эпикурейство, презрительно относящихся к «материальному воплощению», отношение к убийству человека было совсем не столь страшным преступлением, как в христианстве, а самоубийство считалось вполне приемлемым выходом из ситуации отчаяния. На этом фоне христиане проповедовали людям необходимость жить в своем материальном теле, несмотря ни на какие страдания, и категорически осуждали убийства и самоубийства.

Соответственно, признание Единого Бога и примата духовного над материальным не является существенным признаком христианства в сравнении с язычеством, и, более того, в некоторых языческих учениях акцент на монотеизме и идеализме ставится гораздо больше, чем в христианстве. Да, в христианской религии *онтологическое качество* самой божественной природы и его *связи* с опытным миром принципиально отличается от язычества, но оно не сводится к различению опытного и сверхопытного уровней, на котором так настаивали неоплатоники.

Первое и основополагающее отличие христианства от языческих учений заключается в признании им Бога в качестве *абсолютной Личности*, а не какого-то безличного «божественного начала», каким предстает высшая духовная инстанция во всех случаях языческого монотеизма, к которым можно отнести, например, античный неоплатонизм или индийскую адвайта-

веданту, а также весьма близкие к ним иудейскую каббалу и исламский суфизм. Понятие Личности — центральное для всей христианской теологии и слишком сложное, чтобы определить его в двух словах. Прежде всего можно сказать, что личность — это всегда не «что», а «кто», и поэтому полноценное познание личности невозможно как некоей отвлеченной или посторонней реальности, подобно любому объекту в материальном мире, любую личность можно реально познать только через личное общение, в режиме «я — ты», а не в режиме «я — оно», и при этом это познание никогда не достигнет своего предела, потому что мир личности бесконечен. Среди основных свойств личности основополагающее значение имеют ее *разумность* и *свобода*, позволяющие ей осознанно действовать в окружающем мире, не впадая в состояние полного произвола в силу ее разумности или полной зависимости в силу ее свободы.

Отсюда возникают такие фундаментальные свойства личности, как способность к взаимодействию с другими личностями, то есть *общение*, а также способность к *творчеству*, то есть к сознательному созданию новой реальности из уже доступной. Если говорить о внешних признаках личности, отличающих ее от безличных предметов и от других личностей, то это ее Имя и ее Лик, которые есть у каждого человека и благодаря которым мы можем с ним общаться. Всеми этими свойствами проявляет себя в человеческом мире Бог, а также сами люди, потому что, с точки зрения Библии, *«человек создан по образу и подобию Божию»* (Быт. 1:26), где понятие образа как раз означает личность человека.[1] Из этого следует, что каждый человек является сознательным и свободным образом Бога, призванным не только к служению Господу, но и к общению и сотворчеству с ним и со всеми людьми, которое само по себе, если оно служит благим целям и использует благие средства, уже составляет это служение. Из этого также следует, что земная жизнь каждого человека всегда имеет смысл и является принципиальной онтологической ценностью, хотя, конечно, не абсолютной, потому что абсолютным может быть только Бог. Отсюда также следует фундаментальное для всей христианской теологии различение *личности* и *природы*. Любая личность всегда состоит из определенной природы и никогда не может существовать вне природы, но при этом *не природа обладает личностью, а личность обладает природой*. Поскольку после грехопадения Адама и Евы, с точки зрения христианства, человеческая природа, а также и вся наблюдаемая природа были повреждены, то задача человеческой личности состоит в том, чтобы путем своих *личностных*, интеллектуально-нравственных

усилий, а не каких-то внешних магических средств преодолеть эту поврежденность и достигнуть *обожения*, то есть стать *«причастником Божественного естества»* (2 Петр. 1:4). Однако не только достигнуть этой цели, но даже двигаться в ее сторону совершенно невозможно без встречной помощи самого Господа, который общается с человеком в свободном взаимодействии (синергии) своей и человеческой воли. Свобода человека позволяет ему открыться Господу и идти ему навстречу, а также отвернуться от него, и сам Господь периодически «останавливает свою свободу» перед свободой человека, чтобы дать ему возможность самостоятельно совершать выбор между разными решениями, как нейтральными в этическом смысле, так и соотнесенными с добром и злом. Если бы человек не был свободен, то его предпочтение добра злу не имело бы никакой этической ценности, это было бы механическое действие заведенного робота, а также его бессмысленно было бы судить Господу, как бессмысленно судить неразумных животных.

В философской терминологии признание онтологической ценности личности называется «персонализмом» (от латинского слова person). Однако языческое сознание далеко не сразу смогло воспринять смысл этого понятия, потому что латинское person — это «маска» в буквальном или переносном смысле. Правда, в римском праве категория «person» означает социальное положение человека в государстве, что принципиально отличается от таких категорий, как caput — человек как единица обложения и homo — человек как экземпляр вида человека. Поэтому христианским богословам очень важно было подчеркнуть, что для них личность (person) — это не просто социальное, правовое или театральное понятие, а ценность, обладающая онтологическим значением, что она существует до того, как возникает само общество и само мироздание, потому что Личностью является сам Бог. О том, как эта проблема была решена, мы вспомним в дальнейшем, но можем сразу сказать, что император Константин имел к этому решению непосредственное отношение, выступая не только как политик, но и как богослов и философ.

Сейчас важно отметить то, что именно *персонализм* христианского вероучения существенно отличал его от всего мирового язычества, причем в такой степени, что в самой античной философии не нашлось таких понятий, которые могли бы с полной адекватностью описать это отличие. Многие язычники интуитивно понимали, что отличие их мировоззрения от христианского не заканчивается на различении количества богов или отношении к материальному миру, потому что в

противном случае христианство можно было представить лишь как очередную версию язычества, но их картина мира была настолько имперсоналистской (безличностной), что понять и признать существование Бога-Личности им было не очень легко.

В связи с этим вполне можно спросить: а неужели язычники не знали о том, что они личности, и представляли своих богов не как личностей? Так в том-то вся проблема, что для того, чтобы признать существование личности на уровне концептуального осмысления, необходим такой понятийный аппарат, который бы это позволял, а у древних римлян person означал не совсем то, что христиане понимают под личностью, а точнее даже, совсем не то. И это действительно было связано с самодовлеющей безличностью их религиозной мифологии.

Если можно найти какой-то общий знаменатель всех языческих учений, это не что иное, как *имперсонализм* как в представлении о богах, так и о людях. Дело в том, что языческие боги — это не личности, потому что они не обладают настоящей свободой воли, это определенные *космические функции*, участвующие в общем процессе циклического развития и угасания природных стихий, и насколько бы могущественными они ни были, их власть ограничена их функциональным предназначением. Например, бог морских вод Нептун может быть сколько угодно сильным, хитрым и заносчивым по отношению к другим богам, но он только бог морских вод, и его существование полностью вписано в общеприродные циклы, на которых основана вся языческая историософия — от «золотого века» к «железному» и обратно. Поэтому для того, чтобы у таких богов-функций получить что-то нужное для себя, к ним нужно обращаться не с молитвой, а с заклинанием — произнесением определенных сакральных формул, которые вызывают у них неизбежную энергийную реакцию, подобно гипнотическому внушению. *Молитва* — это обращение личности к личности, которое может получить непредсказуемый ответ или не получить его вовсе, а *заклинание* — это введение необходимого кода в определенную программу, работающую по заранее заведенному алгоритму. Когда мы говорим о том, что языческие боги возникли как определенные «персонификации» тех или иных природных, социальных или психологических явлений, то здесь речь идет о «персонах» скорее как о масках, чем как о личностях. Язычники надевали на эти явления разнообразные «маски», чтобы легче с ними взаимодействовать, поскольку общаться с себе подобными легче, чем общаться с деревьями или камнями. При этом, разумеется, эти маски все больше наделялись личностными свойствами, поскольку сами люди были личностями и они

переносили на безличные явления свои собственные качества. Когда же языческие философы, по преимуществу платоники, стали сводить своих богов к одному единому божеству, то его *безличностность* стала для них принципиально важным условием.

В истории религиозной философии мы часто можем встретить тезис о том, что поскольку античная философия эволюционировала в сторону монотеизма и трансценденции, то она тем самым подготовила почву для христианства и сама чуть ли не вплотную подошла к христианскому мировоззрению.

В этом тезисе есть определенный смысл, потому что античная философия в целом действительно внесла основной вклад и преодоление примитивного суеверия необразованных масс, в «расколдование мира» античной мифологии, как сказал бы немецкий социолог Макс Вебер. Достаточно сказать, что сам Платон резко негативно оценивал содержательную сторону греческой мифологической поэзии, и в частности самого Гомера, за ее лживость, противоречивость и аморальность, а самих поэтов, как пробуждающих худшую сторону души и губящих ее разумное начало, он бы изгнал из своей утопии («Государство», 605Ь). Таким образом, так же как римское право сыграло основную роль в преодолении тирании и анархии, так и греческая философия, помимо иных своих достоинств, сыграла основную роль в разоблачении античного язычества. Однако если мы внимательно посмотрим на претензии греческих философов к языческим богам, то увидим, что для них они «слишком человечны», как сказал бы Ницше, слишком антропоморфны и поэтому не могут быть настоящими богами, поскольку, с их точки зрения, абсолютность божественного начала должна противоречить любым свойствам, которые можно обнаружить у человека, — не только такие, как ненависть, жестокость или презрение, но также такие, как любовь, милосердие или сострадание. Неоплатоникам было стыдно, что у них есть тело, но если развить этот тезис, то можно сказать, что им было стыдно, что они остаются людьми. В этом плане они бы солидаризировались с точкой зрения того же Ницше, «что человек есть нечто, что следует преодолеть». Основная причина этой античеловеческой установки античного неоплатонизма, а также и иных религиозно-философских учений того времени заключалась в отождествлении негативных свойств человеческого бытия с самим человеческим бытием.

С христианской точки зрения зло в мире возникало в результате свободного человеческого волеизъявления, как следствие человеческого греха, но это зло можно исправить.

С точки зрения языческой философии зло возникало в результате безличного онтологического процесса, в котором все люди были лишь пассивной жертвой, и преодолеть его можно было только переставая быть человеком, то есть развоплотившись. Поэтому бог языческого монотеизма, будучи абсолютно единым и абсолютно трансцендентным, был вместе с тем и абсолютно безличным, а все существующее бытие было лишь его *проявлением* (манифестацией) с соответствующими градациями на более высокие и более низкие уровни, вплоть до самого низменного уровня грубой материи. Если во всех языческих религиях можно найти какой-то общий знаменатель, кроме *имперсонализма*, то это идея мира как продолжения безличной божественной природы, пусть даже очень низкого качества. В такой картине мира, которую лучше всего назвать *манифестационизмом,* или *пантеизмом*, нет представления о частной, автономной, индивидуальной реальности, здесь все является пассивной частью божественно-космической природы, от любых «телодвижений» которой автоматически зависит судьба всех элементов этого «тела». Поэтому также в такой картине мира нет и не может быть никакой свободы, если только не в качестве глупой и трагической иллюзии. При этом очень важно подчеркнуть, что само проявление Единого божественного начала во всех языческих доктринах объясняется некоей необходимостью его внутренней природы, и в этом смысле само это божественное начало совершенно несвободно и порождает такую же несвободную реальность, где нет места свободному существу.

Справедливости ради надо сказать, что два философских учения Античности все-таки проявили определенную интуицию индивидуального и, что самое интересное, эти учения находились в наиболее остром конфликте с языческой религиозностью. Во-первых, это теория атомизма, полагающая, что мир состоит из неделимых частиц (атомов), которые философ Эпикур наделил свободой. Во-вторых, это несравнимо более влиятельная философия Аристотеля, который ввел понятие «ипостаси», весьма пригодившееся христианской теологии для формулирования своего учения о личности, о чем мы, как было обещано, еще вспомним.

9. Мир без творца

Если языческий имперсонализм был логически связан с идеей мира как продолжения природы безличного божественного начала, то в христианском мировоззрении это было невозможно, потому что абсолютный Бог-Личность Библии не проявляет мир из своей природы, а творит его из ничего (ex nihilo).

Христианское учение о творении мира «из ничего», называемое *креационизмом*, непосредственно связано с представлением о Боге как абсолютной Личности.

Если бы мир был проявлением и продолжением Божественной природы, то живущие в нем люди, будучи органической частью этой природы с самого начала своего существования, а не восприняв ее в результате свободного совершенствования, были бы несвободны и поэтому бессмысленны, и тогда невозможно было бы объяснить возникновение зла, если только не приписывать зло самому Богу, как это делают некоторые нехристианские учения, например определенная разновидность гностицизма. Кроме того, если это проявление продиктовано внутренней необходимостью божественной природы, то это уже природа не абсолютного Бога, а ограниченного божка, каковым являются все языческие боги. Бог ничего не делает по необходимости, иначе он не Бог. Одновременно с этим, когда мы говорим, что Бог сотворил мир «из ничего», сама эта формула остается лишь удобной фигурой речи, потому что до творения мира не было и не могло быть параллельно с Богом какой-то природы, из которой он мог бы что-то сотворить, потому что такая природа ограничивала бы его существование и тогда он также не был бы Богом. Иными словами, нет того нечто, «из чего» Бог мог сотворить мир, и поэтому сотворение мира было результатом его абсолютно свободного волеизъявления: *«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет»* (Быт. 1: 3). Здесь также важно отметить, что поскольку с христианской точки зрения Бог сотворил мир не из своей природы и не из какой-то параллельно существующей природы, то мы не можем сказать, что он сотворил мир как нечто внешнее по отношению к себе, подобно тому как мать рожает ребенка или художник рисует картину. Сотворяя мир, Бог творит саму природу, из которой состоит этот мир, которая, по определению, абсолютно несовершенна по сравнению с абсолютно совершенной природой Бога. Как очень точно сказал по этому поводу Отец Церкви св. Иоанн Дамаскин (VIII в.), все сотворенное *отстоит от Бога не местом, но природой.* Поэтому бессмысленно искать Бога

как некий материальный предмет в пространстве, поскольку он вне материи, вне пространства и вне времени: он их Творец. Можно сказать, что сотворение мира было не проявление Божественной природы, а проявлением Божественной свободы.

Отсюда возникает принципиальное для библейской религиозности понимание источника истинного знания о Боге. Для всех языческих религий истинное знание об истинном божественном мире коренится в той информации, которая безличное божественное начало сохраняет о себе в самой природе и в культуре соответствующего языческого народа, и только особо избранные или особо посвященные люди, жрецы и прорицатели, могут «расшифровать» эту информацию. Такой тип получения знания называется *традицией* (некоторые языческие авторы пишут это слово с большой буквы — *Традицией*), то есть трансляцией знания от одного поколения к другому, от одного посвященного к другому посвящаемому. Поскольку мир является продолжением безличного божественного начала, то в самом мире уже есть информация об этом начале, из чего следует логичный вывод, что чем какая-либо информация древнее, тем она подлиннее, а значит, истиннее. Соответственно, вся языческие религии соревнуются в том, какая из традиций древнее, то есть ближе к источнику бытия.

В авраамическом контексте источником бытия является Бог-Личность, сотворивший само это бытие «из ничего», и поэтому искать истинное знание об этом источнике в прошлом времени — это то же самое, что искать самого Бога в пространстве: Бог вне пространства и вне времени, и мы не можем сказать, что вот «здесь» Бога нет, а «там» он есть или что «вчера» он был, а «сегодня» его нет. Если Бог вне времени и пространства и творит само это время и пространство, то человек может получить истинное знание о нем только от него самого, а также о той информации о нем, которую оставили те люди, которые действительно имели с ним общение. Только к «традиции» эта информация никакого отношения не имеет, потому что срок давности этой информации ничего к ней не прибавляет, скорее наоборот, можно даже заподозрить, что кто-то эту информацию исказил.

Поэтому такой тип получения знания называется *Откровением*, какое мы можем наблюдать в Библии, когда Бог непосредственно обращается к людям сквозь все границы тварного бытия. Следовательно, если христианская картина мира основана на идеях Бога-Аичности, его Творения и его Откровения, то языческая картина мира основана на идеях безличного божественного начала, проявления им этого мира и оставления

им традиции знания о самом себе в этом проявленном мире.

В связи с этим очень интересно сравнить христианскую космогонию с тремя ведущими учениями античной философии — Платона, Аристотеля и неоплатонизма. С точки зрения Платона (427–347), источником бытия является мир вечных и неизменных божественных идей (эйдосов), которые мыслит бог-демиург (творец-ремесленник), но при этом он находится в подчиненном положении по отношению к ним, а наравне с ним существует мир вечной хаотической материи. Демиург воспринимает эти идеи как первообразы (парадигмы) и по их подобию творит все существующие вещи из этой хаотичной материи, выступая здесь в роли оформителя уже существующего мира и посредника между миром идей и миром материи. Таким образом, бог-демиург Платона, как явствует из самого его названия — это бог-творец, но только это не абсолютный Бог, а очень ограниченный и не свободный в своем творчестве. С точки зрения Аристотеля (384–322), радикально пересмотревшего философию своего учителя, бытие представляет собой иерархию форм, своеобразных аналогов платоновских эйдосов, возглавляемых первичной и вечной формой форм, называемой богом-перводвигателем. Как и у Платона, параллельно с этим богом-перводвигателем существует материя как некая вечная потенциальность, по отношению к которой бог-перводвигатель также выступает оформителем, приводя ее потенции в «актуальное» состояние с помощью форм, то есть буквально оформляя материю. Для этого этому богу-перводвигателю требуется некая целевая причина, причем совершенно необходимая, а не произвольная. Соответственно, бог-перводвигатель Аристотеля тоже бог-творец и тоже ограниченный в своем творчестве, как и бог-демиург Аристотеля, хотя, в отличие от платоновского бога-демиурга, он является абсолютной формой форм, не только распределителем, но и источником своих идей-первообразов.

Неоплатоники в значительной степени объединили платонизм и аристотелизм, и их божественное Единое абсолютно не потому, что это форма форм, венчающий иерархию форм, а потому что оно находится за пределами всех иерархий, благодаря чему многие считают абсолютное Единое неоплатонизма метафизическим аналогом абсолютного Бога в христианстве, но это грубая ошибка, потому что при всей своей трансцендентности и неограниченности Единое неоплатоников подчиняется внутренней необходимости и порождает в порядке истечений (эманаций) все существующее бытие вплоть до материи. Следовательно, в отличие от ограниченного платоновского бога-демиурга и «абсолютного» аристотелевского бога-перводвигателя,

Единое неоплатоников еще более «абсолютно», но не так, как абсолютен христианский Бог-Личность, потому что оно не является Творцом мира, а лишь его безличным божественным началом. Конечно, философия Платона и философия Аристотеля были кардинальным прорывом человеческого духа сквозь тоталитарный натурализм ранней греческой философии с ее представлениями о том, что все в этом мире произошло из воды (Фалес), воздуха (Анаксимен), огня (Гераклит), земли (Ксенофан) и т. д. и обречено вернуться в эту первостихию. Но в конечном счете в их философии на место одного натурализма пришел другой, поскольку их духовная реальность была частью общей мировой природы с ее жесткими законами необходимости и неизбежности и поэтому она не могла объяснить феномен человеческой Свободы, без которой любая мораль становится относительной. Можно сказать, что тоталитаризм безличной материи подменялся здесь тоталитаризмом безличного духа и поэтому человеческая личность так и не получала своего *онтологического обоснования*.

10. Философия катастрофы

Неоплатонизм был последним словом античной философии и доминирующим направлением в *языческой* интеллектуальной культуре Римской империи III–V веков, оказавшим христианству существенное сопротивление, но при этом предоставившим ему чрезвычайно развитый понятийный аппарат, необходимый для изложения христианских догматов.

Менее разработанными в философском плане, но весьма популярными в эту эпоху среди образованных язычников были уже упомянутые религиозные школы *эпикуреизма, стоицизма* и *гностицизма*. В отличие от созерцательного неоплатонизма всем этим направлениям было свойственно катастрофическое видение мирового процесса, что будущие историки будут объяснять социально-психологической атмосферой веков «упадка и разложения Римской империи».

На самом деле все эти религиозно-философские направления имели довольно глубокие корни на протяжении всей античной истории, но другой вопрос, что именно в это время они стали своего рода интеллектуальной модой.

Эпикуреизм происходит от своего основателя, греческого философа Эпикура (341–271 до н. э.), который в 306 году до н. э. организовал свою школу в одном афинском саду, после чего она получила характерное название Сад. Эпикур был сторонником атомистической онтологии, наделившим атомы свободным движением, чем он отличался от других атомистов. Поскольку все существо человека состоит из атомов, то с их распадом наступает его абсолютная смерть, что не должно волновать человека, а должно научить его любить жизнь, какая она есть и наслаждаться каждым мгновением, хотя и не без меры, потому что неумеренность в удовольствиях может принести к страданиям не меньшим, чем отсутствие удовольствия. Эпикуреец должен пребывать в состоянии атараксии (невозмутимости), а полноценное наслаждение он может получить только в изучении природы. Самый известный из эпикурейцев умер еще в I веке до н. э., это ученый Тит Лукреций Кар (95–55 до н. э.), автор поэмы «О природе вещей». В первые века эпикурейская философия больше не развивается как теория, но ее установки находят своих приверженцев, как нетрудно догадаться, из числа жизнелюбивой аристократии.

Значительно более популярной и развитой во всех отношениях была во многом противоположная эпикурейству философская школа стоицизма, основанная в 300 году до н. э.

греком Зеноном Китионским (334–262 до н. э.) в одной афинской галереи, иначе называемой портиком (*греч,* атоа), где Зенон впервые выступил с философской речью, почему сама школа получила название Портик (Стоя). С точки зрения стоицизма основу мироздания составлял вечно активный Огонь-Логос, ассоциируемый с Зевсом, который приводит в движение пассивную материю своими искрами-логосами, также именуемыми «сперматическими логосами». В стоической концепции весь мир существует в режиме циклического усиления и ослабления этого мирового Огня-Логоса, поэтому данная фаза истории означает не более чем промежуток между одной и другой вспышкой этого космического Огня, в которой погибнут все живые существа, представляющие собой не более чем эти самые искры-логосы. Как и эпикурейцы, стоики призывали жить согласно с природой, но только их видение мира было не таким «либеральным» и радостным, как у эпикурейцев, а весьма «тоталитарным» и трагическим. Счастье и наслаждение в этом мире, со стоической точки зрения, в принципе недостижимо, но зато можно прийти в более-менее уравновешенное состояние безразличия и апатии (бесчувствия), которое может быть наиболее адекватно наблюдаемому миру. В отличие от эпикурейцев, стоиков волновали социально-политические вопросы, но исключительно в плане организации наиболее оптимального порядка для жизни, «полиса разумных существ», иначе называемого «космополисом». Если философ достигает состояния апатии и при этом может познавать окружающий мир, различая в нем истину и ложь, добро и зло, то это единственное реальное счастье, которое можно достичь в этом тревожном мире. Поскольку же все люди — это «сперматические логосы», которые вышли из мирового Огня-Логоса и в него вернутся, то над жизнью человека довлеет абсолютный рок и все в этом мире предопределено. Важно отметить, что стоики II–I веков до н. э. (Панэтий, Посидоний) пытались влиять на политическую жизнь и даже выдвинули идею исторической миссии Рима, по которой постоянно расширяющаяся Империя призвана была вернуть весь мир к первозданному «золотому веку», известному по языческой мифологии и утопии Платона, и эта идея повлияла на таких столпов римской политической мысли, как Полибий и Цицерон. Тот факт, что эта идея явно противоречила изначальной трагической стоической онтологии, говорит лишь о том, что, как и во всех подобных философских направлениях, в стоицизме были разные тенденции, — сколько бы люди ни отворачивались от проблем этого мира в эпикурейской атараксии или стоической апатии, они все равно хотели его изменить. В I–III века стоицизм

обретает новое дыхание на римской почве и становится одним из главных врагов христианства. К римским стоикам относятся такие имена, как Сенека, Гиерокл, Музоний Руф, Эпиктет и, наконец, сам император Рима — Марк Аврелий Антонин (правил в 161–180 гг.), который именно в силу своего стоицизма оказался страшным гонителем христианства.

Самым агрессивным конкурентом христианства среди интеллектуалов было учение гностицизма, представленное в таком большом количестве различных вариаций, что изложить это учение в двух словах практически невозможно.

Гностицизм возник во II веке как совокупность различных религиозных сект, находящихся как в оппозиции примитивным народным культам, так и в оппозиции элитарному неоплатонизму и наступающему христианству. Если обобщить учения гностических сект, то из них можно вывести следующие положения: во-первых, существующий мир лежит во зле, потому что он создан злым богом-демиургом, скрывающим от людей истинное светлое бытие (плерома), с которым он по разным причинам находится в конфликте; во-вторых, истинное светлое бытие, скорее всего, представлено другим, истинным богом, который пытается проникнуть в этот мир и совершить в нем онтологическую революцию против злого демиурга либо сам по себе, либо с помощью людей, мистически связанных с ним каким-либо образом; в-третьих, спастись из этого мира можно только с помощью мистического знания о лучшем мире, которое скрывает злой демиург и которое можно получить разными магическими способами, но поскольку на это способны только избранные, то в гностическом космосе существует очень жестокая иерархия незнающих и знающих людей, то есть гностиков, достойных спасения.

К этому нужно добавить, что все гностические системы для объяснения логических и моральных противоречий своего учения все время усложняли свою картину мира, вводя новые уровни и новых богов, создавая фактически новую мифологию, включающую в себя элементы самых разных религий.

Если прямой противоположностью эпикуреизма был стоицизм, то прямой противоположностью гностицизма был неоплатонизм, так что даже главный неоплатоник Плотин написал против гностиков целый трактат, с некоторыми положениями которого вполне мог бы согласиться любой христианский богослов. У неоплатонизма и христианства была одна общая деталь: оба учения признавали зло онтологически несуществующим, поскольку бытие и благо изначально тождественны, в то время как гностики само бытие наделяли

качеством зла. Однако поскольку бытие неоплатоников от начала и до конца является проявлением божественного сверхбытия Единого, то объяснить феномен зла они практически не могли: если зло онтологически существует, то Единое не благо, а «обманывает» нас, подобно злому демиургу, но если Единое благо, то как тогда объяснить феномены зла в мире, где все является его продолжением? В христианстве этот вопрос решатся очень просто: Бог всемогущ и всеблаг, и сотворенный им мир благ, что отмечает сам Господь в процессе создания этого мира: — *«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хороги»* (Быт. 1: 3–4), но поскольку созданные Богом личности, то есть ангелы и люди, обладали свободой воли, то они могли отвернуться от Божественного бытия-блага и выбрать небытие-зло, что и произошло в падении главного ангела и в грехопадении Адама и Евы. Неоплатонизм отрицал существование личности и свободы воли и поэтому не мог объяснить возникновение зла.

В противоположность неоплатонизму гностицизм объяснял существование зла как порождение злого демиурга. Тем самым оба учения, при всей противоположности между ними, отрицали человеческий фактор в возникновении зла и снимали с человека ответственность за зло. При этом нельзя сказать, что христианство и неоплатонизм до конца солидарны друг с другом в своем неприятии гностицизма, потому что в одном вопросе христиане и гностики находили большее понимание друг с другом, чем с неоплатониками, а именно — в вопросе о необходимости *участвовать* в динамике Божественного бытия, а не пассивно созерцать его. Только если гностики понимали это участие как совершение чисто внешних магических действий, то для христиан это участие предполагало *личностное* совершенство, нравственное и интеллектуальное, которое не может быть достигнуто формально-магическими процедурами. Точно так же христианство было солидарно с эпикуреизмом в том, что в мире есть свобода и нет тотальной предопределенности, о которой учили стоики, но вместе с этим христианство было солидарно со стоицизмом в том, что люди должны с терпением переживать свои страдания и не ставить целью своей жизни сплошное наслаждения, о которых учили эпикурейцы.

Таким образом, с каждым своим противником за души и умы людей христианство всегда имело нечто общее, что всегда учитывалось в миссионерской полемике с представителями каждой религии. Но если и гностики, и стоики, и эпикурейцы ничего полезного не могли привнести в опыт Церкви, то

неоплатоники обладали одним очень важным «оружием», а именно — хорошо разработанным философски аппаратом, без использования которого христианство в принципе не могло донести свои позиции в пространстве греко-римской интеллектуальной культуры.

11. Александрийский прорыв

В сравнении со всеми другими направлениями поздней античной мысли неоплатонизм был наиболее отвлеченным и рафинированным, и можно прямо сказать, что история метафизики поздней Античности — это по преимуществу история неоплатонизма. Однако если мы внимательнее посмотрим на развитие неоплатонических и других идей языческой философии того времени, то мы увидим в них примечательную инверсию — если с самого начала неоплатонизм выступает как сугубо спекулятивная метафизическая философия, которой нет дела до презренного материального мира с его религиями, государствами и народами, то под конец он выступает как конкретное религиозное учение со всеми атрибутами настоящего культа, призванное спасти греко-римскую языческую культуру от побеждающего христианства.

Объясняется эта инверсия очень просто — реакцией на само христианство. Вначале языческие мыслители относились к христианству свысока, полагая его весьма странным культом какого-то еврейского пророка, проповедовавшего совершенно максималистскую и нежизнеспособную этику, оправдывающую страдания при жизни и обещающую телесное воскресение в своем Царстве. Как высоколобые и высокомерные римские интеллектуалы, нагруженные веками античной философии, риторики и поэзии, парящие в поднебесье абсолютов и эйдосов, могли согласиться с тем, что какой-то еврейский человек, убитый самой позорной смертью в далекой захолустной Иудее по требованию своих же единоплеменников, может стать для них хоть каким-то авторитетом, а не то что «альфой и омегой» их бытия?

Поэтому первичная реакция на христианство со стороны философских кругов Римской империи была связана с критикой самой фигуры Христа как обычного человека, не мудреца и не политика, о котором слишком много возомнили его приверженцы и который, «конечно», не стоит серьезного внимания со стороны тех, кто читает Платона и Аристотеля.

Что касается метафизики христианства, то она была практически неизвестна и абсолютно непонятна, а что касается ее этики, то она противоречит всем основным ценностям античного человека, с точки зрения интеллектуальной элиты первых веков. Полноценный гражданин Римской империи должен был быть добротным семьянином, продолжателем своего рода, выносливым воином и образцом для будущих поколений таких же семьянинов

и воинов, поэтому его основные ценности — здоровье, сила и красота, а также богатство, успех и престиж. Для христианства все эти ценности представлялись преходящими и вторичными, если о них вообще можно было говорить серьезно как о ценностях, в то время как люди больные, слабые, уродливые, нищие, безуспешные и маргинальные вызывали не только сочувствие, но даже благоговение, если они шли за Христом на смерть и распространяли христианство по всему миру. Но при этом, несмотря на «очевидную» для многих античных интеллектуалов «несостоятельность» христианства, оно все время только распространялось, о нем все больше говорили, жены и дети богатых и властных сановников приходили в Церковь, а самое главное — появились такие философы, которые почему-то отвергали светил греческой мысли и признавали этого еврейского пророка, распятого во времена Тиберия, самим Богом.

Если не углубляться в доктринальные положения христианства, о которых мы уже поговорили и будем дальше говорить, а вспомнить только чисто внешнюю, «техническую» сторону христианского движения в I — начале IV века, то можно заметить, что у него, при всей кажущейся неотмирности и аморфности были существенные преимущества перед любым религиознофилософским учением, начиная с самого неоплатонизма.

Во-первых, христианство не было философией в смысле постоянно развивающейся концептуальной теории, христианство было, религией, основанной на вере в абсолютного Бога и факт Боговоплощения, произошедшего в конкретное время в конкретной стране, а поскольку вера в Бога сама по себе не нуждается в подробной теоретической проработке и не может автоматически разрушиться из-за каких-либо аргументов, то бороться с ней несравнимо сложнее, чем с какой-либо теорией.

Во-вторых, у христиан было то, что не было ни у кого, у них была — Церковь, то есть достаточно дисциплинированная иерархическая организация, основанная самим Богом Иисусом Христом на возможности причащаться его Крови и Плоти, что позволяет христианам сохранять и увеличивать организованное единство вопреки любым внутренним и внешним угрозам.

В-третьих, у христиан были свои авторитетные тексты, имеющие всеобщеобязательное значение, и в первую очередь Библия — Священное Писание, состоящая из множества книг Ветхого Завета и Нового Завета, окончательно собранных в единый канон в IV веке. До того, как какие-либо тексты Священного Писания входили в его состав, они обладали статусом Священного Предания, то есть наиболее авторитетных

для Церкви текстов, написанных наиболее авторитетными для Церкви людьми. Впоследствии Священное Предание — это совокупность писаний всех Отцов Церкви, то есть самых признанных христианских авторов, чье учение повлияло на официальное церковное богословие. Священное Писание и Священное Предание составляют единое учение Церкви, и чтобы христианину пояснить для себя смысл любых слов в Писании, ему необходимо учесть ту интерпретацию, которая изложена в Предании, если она там есть, а не придумывать собственные версии с нуля. Эта схема позволила христианам систематизировать свое мировоззрение и избегать влияния нехристианских и преходящих учений со стороны.

В-четвертых, содержание христианской картины мира было настолько подробно изложено в Библии и у Отцов Церкви, что с ним не могла сравниться ни одна религия и философия поздней Античности. Достаточно вспомнить, что одно только Пятикнижие Моисеево представляет собой глобальный рассказ об истории мира с момента его сотворения, а если прочесть всю Библию, этот рассказ будет продолжаться до апостольских времен, даже после распятия и воскресения Христа. Никакая «Илиада» и «Энеида» не могла сравниться с таким объемом, и если христианин еще не знал, как можно точнее описать картину мироздания на языке современной философии, то он уже знал саму *историю* мироздания от начала и до его времен.

В этом контексте нельзя не отметить такой существенный признак христианского мировоззрения, как историзм, непосредственно связанный и с его персонализмом, и с его креационизмом. Сотворяя мир, Бог творит само время, и мы можем отсчитывать его ход, представляя мировой процесс как единую линию от начала до конца. Как мы уже заметили, в язычестве мировой процесс движется циклически, и не только люди, но сами боги остаются пассивными жертвами этого циклического процесса, поэтому языческому мировосприятию не так свойственно чувство линейного необратимого времени, как оно свойственно христианству. Христианство не знает никаких «космических циклов истории», никаких «золотых» и «железных веков», оно видит историю мира как свободное взаимодействие свободных воль Бога и людей, которое называется *Промыслом,* и его ни в коем случае не надо путать с языческим *предопределением.*

Все эти внешние свойства христианского сообщества в I — начале IV века колоссально усиливали его в качественном и количественном отношении, и очень скоро языческим интеллектуалам пришлось несколько поубавить свою спесь и

задуматься над «симметричным» ответом христианству. Основным прорывом христианской мысли в пространстве греко-римской интеллектуальной культуры, который невозможно было не заметить образованному человеку III–IV веков, была значительная христианизация Александрийской платонической школы, породив такое переходное явление, как «христианский платонизм» или «христианский неоплатонизм».

Однако относительно победоносный блицкриг Александрии со стороны христиан был возможен потому, что там уже была подготовлена определенная почва не кем-нибудь, а именно иудейской диаспорой, давно и в большом количестве поселившейся в столице Египта и создавшей там прецедент уникального иудео-эллинистического синтеза, весьма благоприятного для принятия христианства. Вообще, еврейский фактор в становлении христианства первых поколений часто вытесняется из описания этого процесса, потому что первым противником христианства оказался сам иудаизм, то есть религия того народа, который в первую очередь должен был бы принять Христа, и поэтому отношения христианства и иудаизма I века часто рассматриваются исключительно в свете их известного конфликта. Но необходимо помнить, что поскольку Христос проповедовал среди иудейского народа, и все апостолы были иудеями по рождению, и все содержание Нового Завета наследовало Ветхий Завет и отсылало к нему, то первая «целевая группа» христианства, говоря социологическим языком, была представлена именно иудейскими общинами, внутри которых к этому времени шла жесткая полемика между двумя движениями — зелотами и эллинистами. Зелоты это ревнители национальнорелигиозных иудейских традиций, активно сопротивляющиеся любому иностранному влиянию, в первую очередь греческому и римскому, которые готовы были идти до конца в свержении римской власти, пришедшей в Палестину с Помпеем в 63 году до н. э. До того момента, пока не пришел Иисус Христос и зелоты не могли слышать о нем, христианская историософия вполне солидарна с ними, подобно тому как христиане отмечают память восстания еврейских патриотов Маккавеев против Селевкидской оккупации в 165 году до н. э. (14 августа по н.с.), о которой нам известно из трех Маккавейских книг Ветхого Завета. Также мы помним, что среди двенадцати апостолов Христа был Симон по прозвищу Зилот *(греч. Кананит),* мученически погибший во время миссии в Северо-Восточном Причерноморье. Если он был участником зелотского движения иудеев, то такое его прозвище тем более оправданно с точки зрения Церкви, потому что, пойдя за Христом, он сделал то, что

должны были сделать все иудеи, правильно понимающие религию своих отцов. Как последовательные антиязычники, зелоты могли вызывать только уважение у первых христиан, но проблема в том, что, как это очень часто бывает, ревность многих из них в большей степени касалась национальной идентичности и независимости своего народа, чем религиозной истины, и поэтому те зелоты, которые не приняли Христа, на деле были гораздо агрессивнее расположены к Церкви, чем умеренные коллаборационисты, готовые сотрудничать с римскими властями. Между тем, несмотря на очевидный и принципиальный конфликт христианства и иудаизма, который уже с I века начал предпринимать меры против распространения Церкви, общие ветхозаветные основы были еще очень дороги для многих христиан еврейского происхождения, и они сохраняли многие элементы национальной традиции, почему такие общины I века принято называть иудеохристианскими. И нельзя сказать, что Церковь с первых же шагов игнорировала синагогальные традиции, если они прямо не противоречили ее мировоззрению. Например, корпус текстов Ветхого Завета был окончательно подтвержден только в 90 году на иудейском синедрионе в городе Ямнии (Галилея), и христианская Церковь признала этот корпус, и мы сегодня видим его в Библии, где более 75 % текста занимает Ветхий Завет. Согласие Церкви по этому вопросу вовсе не означает, что иудейские общины оставались для христиан авторитетными в чем-либо, просто эти тексты уже имели значение для самой Церкви, — все они в той или иной степени были прологом к Новому Завету и в каких-то деталях использовались в богослужебных текстах Эллинисты в строгом смысле слова — это даже не движение, а просто общая совокупность всех иудеев, которые поддались обаянию античной культуры и в большей или меньшей степени стали приверженцами каких-либо идей, ценностей и традиций этой культуры. Естественно, этому влиянию больше поддались иудеи, живущие в диаспоре, в крупных городах Империи и почувствовавших преимущества этой жизни. Так как эти люди постепенно удалялись от традиций Ветхого Завета, то они всегда испытывали риск принять языческую религию или философию, и поэтому особой симпатии со стороны первых христиан они не вызывали, но у них был одно преимущество — они были относительно открыты новым идеям и не страдали зелотским национализмом, и поэтому эллинизированные иудеи принимали христианство психологически проще, чем зелотствующие.

Одновременно с этим, благодаря возникшему иудео-эллинистическому синтезу, происходил встречный процесс

открытия и восприятия ветхозаветной еврейской традиции со стороны греческих и римских язычников, и если они уже принимали какие-либо постулаты ветхозаветного мировоззрения, то принять христианство им было проще, чем тем язычникам, которые открывали его с нуля. Действительно, принятие Христа для любого язычника предполагало принятие всего библейского мировоззрения, и поэтому христианским миссионерам приходилось объяснять язычникам гораздо больше, чем иудеям. Например, для того, чтобы признать Христа Мессией, Искупителем, Спасителем и самим Богом, нужно сначала иметь представление о том, что такое библейский Бог, что такое Мессия, Искупление и Спасение и зачем они нужны. Поэтому открытие Христа для любого язычника означало открытие всей библейской парадигмы, от самой идеи Бога-Личности и творения мира «из ничего», которых не знало ни одно языческое учение.

Учитывая все возможные трудности распространения христианской Церкви по странам Средиземноморья в I веке, начиная от временных интервалов путешествия по морю и по суши в те времена и заканчивая агрессивным сопротивлением христианам изнутри иудейского народа и извне, нет ничего удивительного в том, что открытие Христа со стороны грекоримской интеллектуальной элиты произошло далеко не сразу, а не то что принятие христианства. В первой половине I века христианство в основном распространялось среди иудейских общин и воспринималось со стороны как очередное направление внутри иудейской религии, и поэтому не стоит удивляться тому, что в греческой и латинской литературе того времени мы практически не встречаем ни одного упоминания о Христе и христианах, и только потом, когда христиане выделились из иудейской общины и людей нееврейского происхождения среди них стало значительно больше, они стали заметны как фактор римского общества. Если же взять интеллектуальный аспект христианской миссии, то ключевую роль здесь сыграла Александрия.

В столице птолемеевского Египта Александрии уже в III веке до н. э. образовалась крупнейшая иудейская диаспора, настолько эллинизированная, что уже забывающая язык предков, и поэтому в ее среде возникла идея перевода Торы (Пятикнижия Моисеева), а впоследствии и других текстов ветхозаветного корпуса, на греческий язык. По другой версии, эта идея исходила от самого царя Птолемея II Филадельфа (правил в 285–146 гг. до н. э.), основателя Александрийской библиотеки, решившего пополнить ее священным писанием иудеев на языке своего государства. Для осуществления этой ответственной задачи, по преданию,

параллельно работали семьдесят два ученых раввина, поэтому уже в 271 году до н. э. в Александрии появилось Пятикнижие Моисеево на греческом языке, называемое «Перевод семидесяти толковников», или Септуагинта, что дало серьезный импульс для развития библейско-эллинистического культурного взаимодействия задолго до возникновения христианства.

Во II веке до н. э. эллинизированный иудей Аристобул Александрийский, упомянутый в Библии учитель Птолемея XI (2 Мак. 1:10), выдвинул идею, что вся греческая философия — это лишь переработанный плагиат Торы, где все философские смыслы уже были изложены аллегорическим языком. Самый известный представитель эллинизированного иудаизма, философ Филон Александрийский (I в. до н. э. — I в), современник Христа, был уж не столь презрителен к греческой философии и попытался с ее помощью осмыслить саму Тору. Именно впервые в истории предложил ассоциировать библейского Бога Иегову с абсолютными категориями платонизма — Благом, Единым, Монадой, а также отождествил Божественное Слово со стоической категорией Логоса, благодаря чему греки называли Бога-Сына термином Логос. Вспомним первые слова Евангелия от Иоанна: *«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».* Кстати, именно Филон первый высказал тезис о том, что философия должна быть «служанкой теологии». Поэтому трудно себе представить более благодатную почву для развития христианской теологии, чем александрийские интеллектуальные круги, для которых и Библия, и греческая философия были одинаково внятны.

Уже в 120 году в Александрии христианин Пантен из Сицилии основывает двухуровневую христианскую катехизическую школу по образцу иудейских: Бет-Соферим (огласительную) и Бет-Мидрашим (разъяснительную), с которой начинается традиция александрийского христианского богословия. Существенным признаком этого богословия была особая любовь к мистическому аспекту христианской религиозности и поэтико-аллегорическое толкование Библии, корни которого мы можем наблюдать еще у Аристобула с его постулатом о том, что в Библии все философские смыслы уже высказаны, но только на языке аллегорий. Ученик Пантена и его преемник во главе этой школы, Климент Александрийский (150–216), совершил первую попытку написать развернутый христианский катехизис с непритязательным названием «Строматы» («Лоскутный ковер»), где впервые было изложено христианское богословие на языке греческой философии, правда, с определенными издержками, какие могли быть свойственны

этому первому опыту. Можно сказать, что Климент сделал для христианства то, что Филон сделал для иудаизма, и Александрия была здесь связующим центром.

Ученик и преемник самого Климента по имени Ориген (185–254) сделал следующий шаг и написал первое в истории Церкви систематическое изложение основ христианского догматического богословия с уже более притязательным названием «О началах», вполне в жанре античной философии. Что весьма важно, Ориген учился также у платоника Аммония Саккаса, другим учеником которого был сам Плотин, основатель неоплатонизма, и в этом смысле находился в эпицентре греческой философской традиции. Однако издержки оригеновского опыта были еще более серьезными, так что уже при жизни у него начались большие проблемы с Церковью: сначала его обличал епископ Димитрий Александрийский, а в 231 году Александрийский Собор лишил его сана. Между тем прецедент оригеновского синтеза был настолько внушительным, что на много поколений вперед даже самые безупречные богословы, признанные Отцами Церкви, считали его своим учителем, пока V Вселенский Собор в 553 году не осудил целый ряд идей Оригена, так что ссылаться на него стало уже не принято. Все эти идеи — это следы языческой религиозной философии, в первую очередь платонической, а именно: идея предсуществования душ, идея множественности сотворенных миров, идущих друг за другом во времени, идея всеспасения (апокатастасиса) и др. Идея апокатастасиса была явным отголоском платонизма: если источник Бытия благ и все Бытие рано или поздно вернется к этому источнику, то все неизбежно обретет благое состояние. Проецируя эту модель на христианство, мы получаем идею всеспасения, которая очевидно снижает уровень моральных требований к людям и несколько обессмысливает идею Страшного Суда. Таким образом, оригенизм явил собой прецедент, характерного для Александрии, христианско-платонического синтеза, и в дальнейшем церковным богословам придется преодолевать не только языческие учения, достаточно очевидные для любого христианина, но и подобные оригенизму синтезы, которые могут быть не сразу заметны невнимательному исследователю. В то же время Ориген провел настолько большую работу в освоении античного философского языка для изложения христианского мировоззрения, что его плодами Церковь не могла не воспользоваться, так что немало богословских определений восходит именно к Оригену.

В результате «александрийского синтеза» христианство к концу III века представляло собой уже весьма развитую интеллектуальную традицию, не говоря уже о ее внешних

преимуществах, о которых мы уже сказали, и поэтому греко-римские интеллектуалы того времени уже не могли попрекать христиан в излишней примитивности и нежизнеспособности их религии, почему с античными философскими школами происходит любопытная метаморфоза — они сами начинают превращаться в религию, причем не просто в очередную языческую религию, а откровенно подражая Церкви в ее преимуществах. В эту новую эпоху неоплатоническая школа, центром которой продолжала быть платоновская Академия в Афинах, начинает называть Платона «божественным», совершает «канонизацию» его текстов, ужесточает свою организацию в иерархическом отношении и т. д.

Ученик Плотина Порфирий (232–301) начинает уделять больше внимания практической стороне неоплатонического созерцания Единого, фактически разрабатывая новую религиозную практику, причем выделяет высшее созерцание для философа и низшее для простых людей (теургию); далее он возрождает интерес к философу Пифагору как главе религиозного культа и пытается придать платоновской Академии образ этого культа; наконец, он заявляет о том, что источником его философии были оракулы, отсюда его книга «О философии из оракулов. Против христиан».

Ученик Порфирия Ямвлих (245–325) уже полностью погружается в ритуально-мистическую сторону неоплатонизма, привлекая сюда магию, астрологию, мантику, опыт египетских мистерий и т. д. Если Платон, Аристотель и Плотин были чистыми метафизиками и весьма скептически относились к языческой мифологии, то неоплатоники III–V веков подробно обсуждают космические функции греческих богов и составляют им пантеоны. Поздний неоплатонизм борется уже не за трансцендентное «Единое», а за спасение античного язычества, наблюдая его повсеместный кризис. Это была попытка симметричного ответа христианству, но она провалилась как минимум потому, что была слишком надуманной. Интересно обратить внимание на то, что и в иудаизме с III века начинается эпоха новой самоорганизации, когда возникает своего рода священное предание в виде Талмуда как собрания самых авторитетных комментариев Торы и иных религиозных текстов.

Таким образом, с III века христианство не только распространяется по миру, но и вынуждает своих оппонентов реагировать на него со всей серьезностью.

12. Римские культы

До сих пор мы говорили о религиозно-философских течениях I–IV веков, то есть об интеллектуальном язычестве, в то время как основную массу язычников составляли сторонники народных или пришедших из Азии культов, не столь озабоченных собственным концептуальным оформлением. Количество этих культов и их типологическое разнообразие было таким большим, что описать их все в сравнении с религиознофилософскими школами решительно невозможно, да и не имеет особого смысла, потому что ни один из них сам по себе не был столь опасен для христианства *в долгосрочной перспективе*, как любая из религиозно-философских школ — платонизм, гностицизм, эпикурейство или стоицизм. Именно потому, что эти культы апеллировали к чувствам, а не к разуму, но при этом в абсолютном большинстве случаев не имели ни своей четкой жреческой иерархии, подобно Церкви, ни своих всеобщеобязательных священных текстов, подобно Библии, ни столь подробно изложенной историософии и онтологии, как в христианских текстах, они были относительно аморфны и невнятны. Однако рядовые миссионеры имели дело с представителями именно этих культов, и поэтому стоит вспомнить самые заметные из них.

Прежде всего нельзя не сказать о самом главном, официальном культе Римской империи, а именно — *культе императора*, который для христиан будет иметь самое роковое значение. Как мы помним, Юлий Цезарь соединил в своем лице одновременно функции императора и великого понтифика, то есть главу военно-административной иерархии и жреческой иерархии, чем стал похож на типичного царя-жреца самых архаических культов, включая римский, потому что царь Древнего Рима одновременно был главным понтификом, «священным царем» (rexsacrorum). Слово pontifex переводится как «строитель мостов», что может иметь два взаимодополняемых объяснения.

Во-первых, есть устойчивая версия, что так стали называть жрецов в очень древние времена, потому что только они, как самая образованная часть общества, могли строить мосты — слишком важные конструкции, чтобы доверить их людям, не знакомым со сложными физико-математическими вычислениями.

Во-вторых, жрец действительно призван «наводить мост» между посюсторонним и потусторонним мирами, так что это название вполне оправданно. Заметим, что должность великого

понтифика — самая древняя из всех, существующих в современной Европе, поскольку так стали титуловаться римские папы. Преемник Цезаря Октавиан тоже объединил титул великого понтифика и императора в одном лице, но этого ему было мало, и он назвал себя Августом, «возвеличенным богами». И Цезарь, и Август возводили свой род к богам и сами были обожествлены после смерти. Справедливости ради надо сказать, что сам Август не имел в виду обожествление фигуры императора как таковой, речь шла о введении культа императорского *гения* — того таинственного божества, которое должно быть у каждого человека и каждого места и покровительствовать ему, подобно загадочному даймону Сократа и весьма похоже на христианских ангелов-хранителей. Отсюда возникло современное слово «гений». Но большинство людей не вникало в теологические различения, и поэтому культ императорского гения, коему даже была написана особая клятва, очень быстро превратился в культ самого императора со своими жрецами и ритуалами, и в дальнейшем многие римские императоры стали обожествляться после своей смерти по признанию Сената. Впрочем, самому Августу на востоке Империи строили храмы уже при жизни, а также храмы городу Риму как отдельному божеству.

Существует широко распространенная точка зрения, что обожествление императора, как и вообще сакрализация монархической власти, пришла в Рим с Востока, в первую очередь из Персидского царства, где с VI века до н. э. господствовала религия зороастризма, с точки зрения которой царь Персии, он же «царь царей» (шахиншах), получал свою власть от светлого бога Ахурамазды в виде мистического нимба власти (хварно) и эта особая благодать царства лежала на всей династии Ахеменидов. На Востоке было принято перед царями совершать ритуал коленопреклонения (проскинезы), что для греков и римлян было совершенно невозможно, потому что кланяться молено было только богам, а не людям, — именно поэтому и по причине иных признаков излишнего почитания персидского царя европейцы решили, что в Персии и вообще на Востоке царей считают богами, но это далеко не всегда так.

На самом деле истинные корни культа императора нужно искать в самом Риме, где еще до Цезаря наиболее выдающихся консулов уже пытались сравнять с богами, как это хотели сделать со Сципионом Африканским и как сами себя провозглашали «Новым Дионисом» Марий и «Любимцем Афродиты» Сулла. Нет смысла обращаться на далекий Восток, чтобы не увидеть в самих римских правителях стремление прибавить легитимности и популярности своей власти за счет ее приближения к

божественному статусу. Поскольку речь идет о языческом государстве, то усиление власти в нем всегда предполагает определенную сакрализацию, апогеем которой должно быть признание богом. При этом необходимо понимать, что культ императора в Римской империи был призван не только тешить тщеславие самих правителей, но выполнять очень важную функцию морально-идеологического единства государства, ради которого можно пожертвовать любой истиной. Ценность единого централизованного государства в Риме была настолько велика, что под нее подгонялись любые идеи и мифы. Обратим внимание, что римские жреческие коллегии не имели самостоятельного мистического значения, подобно христианской Церкви, а работали в качестве персонала, обслуживающего религиозные культы, и не более того. Государственная римская религия не была слишком требовательна, она, скорее, служила приложением к римской государственности, но в то же время ради поддержания необходимого политеса каждый гражданин должен был демонстрировать свою преданность этой религии и культу императора в первую очередь. Вообще, как это ни странно на первый взгляд, само по себе римское язычество было одной из самых примитивных и невыразительных религиозных систем Древнего мира и в этом отношении резко отличалось греческого язычества. Объясняется это обстоятельство тем, что все элементы римской религиозной мифологии призваны были выполнять сугубо утилитарные функции, чисто бытового или социального плана. И только их объединение с аналогичными элементами греческих религиозно-мифологических традиций начиная со II века до н. э. придало им больше философских смыслов и эстетического обаяния.

В своем собственном доме римлянин особо почитал *ларов*, божеств домашнего очага и теплой семьи, которые также должны были его охранять во время полевых работ и путешествий. Вместе с ларами существовали *пенаты*, хранители целого рода, которых Эней перевез из Трои в Лациум. В быту римлянин боялся столкновения с духами умерших, *манами*, особенно если это были духи злых мертвецов, *лемурами*, по каким-либо причинам решившими потревожить живых людей, а для того, чтобы этих духов задобрить и прогнать, устраивались специальные праздники «лемурии». Еще страшнее лемуров были *ларвы*, злые духи подземного мира, мучающие умерших грешников, подобно демонам. Естественно, как это очень часто было в языческих традициях, всех этих божеств и духов могли путать и называть одним и тем же именем.

Фактическим основателем государственного римского культа

был второй римский царь Нума Помпилий, основавший культ богини всех домашних очагов *Весты*, главный храм которой стоял на форуме и в нем поддерживался «вечный огонь», символизирующий вечность и благополучие Рима. Именно отсюда возникла традиция устраивать «вечные огни» в честь великих событий. Интенсивность огня поддерживали *весталки*, коллегии девственных жриц, одной из которых, как мы помним по легенде, стала мать Ромула и Рема Рея Сильвия. Параллельно с Вестой символами общегосударственной стабильности были верховные Пенаты и двуликий Янус. Но еще более важным, чем культ Весты, стал основанный Нумом Помпилием культ трех богов — Юпитера, Марса и Квирина, символизирующих три сословные функции: царя, воина и домохозяина. Именно Помпилий учредил коллегию двух типов государственных жрецов — понтификов, служителей государственного культа, и фециалов, занимающихся сакральным оформлением международно-правовых акций, например объявления войны. Жрецы каждого отдельного бога назывались фламиниями, как, например, Юлий Цезарь был фламинием Юпитера. После Нумы Помпилия Тарквинии реформировали культ трех главных богов и заменили Марса на Юнону, а Квирина на Минерву. Храмы Юпитера, Юноны и Минервы стояли на Капитолийском холме, почему их назвают «Капитолийской троицей». В начале V века до н. э. диктатор Авл Постумий на Авентинском холме воздвигает храмы новой триаде богов, менее важных по статусу: Церере *(греч.* Деметре), Либеру *(греч.* Дионису) и Либере *(греч.* Коре), так что римский пантеон стал еще более женским. Заметим, что само латинское слово Roma (Рим) женского рода и тоже означает богиню.

Характерной особенностью римского язычества, подчеркивающей его утилитарную природу, была страсть к девинации (от devinicio — «связывать, подчинять»), то есть церемониальной магии, имеющей в большей степени этрусское происхождение. Прежде всего речь идет о гадании, причем очень специфическом — не по звездам, как это делали на Ближнем Востоке, а по поведению птиц (аусписции) и по внутренностям жертвенных животных (гаруспиции). Первыми занимались специальные жрецы-авгуры, вторыми — жрецы-гаруспики. Вместе с понтификами, фециалами, весталками и фламиниями авгуры и гаруспики составляли основу жреческого сословия в Древнем Риме.

Отношение к этим гаданиям было настолько серьезным, что по их результатам могли начинать или отменять сражения, признавать или не признавать чью-то власть и т. д. Правда, наиболее трезвомыслящие люди иногда игнорировали эти

магические ритуалы и доказывали их несостоятельность. Сам Цицерон, избранный однажды авгуром, писал: *«Удивительно, как могут два предсказателя воздержаться от смеха, глядя друг другу в глаза»* («О природе богов»).

Другими видами церемониальной магии были, конечно, жертвоприношения, а также весьма характерные для античной культуры в целом предсказания оракулов. Жертвоприношениями сопровождались практически все сакральные праздники (фесты), каковых было слишком много, чтобы их перечислять. Достаточно сказать, что каждые пять лет ради сакрального «очищения» Рима на Марсовом поле проходило торжественное жертвоприношение быка, кабана и барана. Впрочем, жертвоприношения были общим местом абсолютного большинства религий во все времена, но римское и греческое язычество выгодно отличалось от многих других тем, что не допускало принесение в жертву людей, и встреча с карфагенским варварством в этом отношении очень напугала римлян. Поэтому среди греков и римлян был очень популярен миф об Ифигении — дочери царя Агамемнона, которая должна была быть принесена в жертву богине охоты Артемиде *(лат.* Диане), потому что Агамемнон убил на охоте ее священную лань. Артемида подменила эту страшную жертву самой себе на лань, а саму Ифигению перенесла в Тавриду (современный Крым), где спасенная девушка стала ее жрицей. При этом, в самой Тавриде живут уже не греки, а варвары, которые требуют от Ифигении приносить в жертву богини всех чужестранцев. Таким образом, миф об Ифигении содержал в себе важные моральные смыслы: во-первых, правильным богам не нужны человеческие жертвы, во-вторых, человеческие жертвоприношения свойственны именно варварам.

Практика обращения к оракулам (от ого — «говорю», прошу) имела в античной истории очень большое значение. Сами оракулы были очень разными по своему типу и виду, но в целом это были святилища какого-то бога, где особо подготовленные жрецы теми или иными способами узнавали ответы на заданные вопросы. Наиболее известными были оракулы Аполлона, особенно в греческом городе Дельфы. По легенде, Аполлон в Дельфах убил с помощью солнечных лучей и испепелил древнего змея Пифона, сына богини Земли Геи, а его пепел собрал в саркофаг, на месте которого основал собственное святилище, где жрецы и жрицы не только служили ему, но и обрели особую способность прорицать. В эпоху греческого колониализма Дельфы стали подлинным политическим центром Эллады, куда обращались по всем серьезным вопросам, но, что характерно, дельфийское жречество стало использовать это положение и

превратилось в настоящий религиозно-политический орден, желающий обогащаться и контролировать политическую жизнь. В эпоху Греко-персидских войн Дельфийский оракул занял сторону Персии, поскольку его жрецы ошиблись в своей политической ставке и хотели стать главными советниками при персидском царе, и после этого его авторитет начал падать.

Но между тем дельфийские жрецы породили несколько аналогичных оракулов по всему Средиземноморью, один из которых находился в италийском городе Кумы, где уже известная нам Сивилла проводила Энея в царство мертвых. Сивиллы — это жрицы-прорицательницы, узнающие различные тайны, как правило, путем экстаза, до которого они себя доводят, по всей видимости, не без наркотических средств, хотя и не обязательно. Всего известных Сивилл было десять, но в Риме самым большим авторитетом пользовалась Кумекая Сивилла, не только в силу ее географического расположения, но и потому, что она оставила после себя пророческие книги, ставшие одним из самых интересных источников по античному мистицизму. Миф о Кумской Сивилле говорит о том, что она продала царю Тарквинию Гордому несколько Сивиллиных Книг, одним из авторов которых была она сама, и царь положил их в храме Юпитера на Капитолии, после чего к ним могли обращаться разные люди, но при определенных условиях. И только книги Кумской Сивиллы могли быть прочитаны специальной «коллегией пятнадцати», поскольку в них хранились особо серьезные тайны. В 83 году до н. э. храм Юпитера сгорел, а вместе с ним и Книги Сивилл, содержание которых пришлось восстанавливать с нуля, собирая сведения по всем концам Средиземноморья, в особенности из Эритреи, где был оракул своей Сивиллы и где местные жрецы могли подробнее прочих знать, о чем было написано в этих книгах. Первоначальная редакция Книг Сивилл была составлена крупнейшим римским ученым I века до н. э. Марком Терренцием Варроном, но она также не сохранилась, и ее содержание частично восстанавливает христианский историк IV века Лактанций. Однако помимо этого до нас дошла еще одна редакция Книг Сивилл, по легенде написанная Палестинской Сивиллой Саббой и исполненная очевидного влияние иудейской профетической (пророческой) традиции. Текст Палестинской Сивиллы наилучшим образом отражает тот иудео-эллинистический синтез, который состоялся на почве александрийской учености, и поэтому нет ничего удивительного в том, что он может представлять интерес и в контексте иудеохристианской историософии, хотя некоторые положения книг Кумской Сивиллы также обратили на себя

внимание христианских авторов. Достаточно сказать, что сам император Константин апеллировал к Сивиллиным Книгам, о чем мы обязательно вспомним. Вполне можно сказать, что генезис содержания Сивиллиных Книг — это самый интригующий сюжет на фоне весьма скромного пейзажа римского язычества, пока оно не подверглось греческим и азиатским влияниям.

13. Мистерии смерти

Своего рода вечным оппонентом массового культа Аполлона-Феба в народном восприятии был не менее популярный культ Диониса-Либера.

Вообще, отношения между языческими богами не часто могут служить примером для подражания, поскольку ничто человеческое им никогда не было чуждо, а история взаимоотношения античных богов вполне может быть представлена как многосерийная трагикомедия о незамысловатых отношениях внутри одной большой семьи, где все друг друга недолюбливают, но в то же время нуждаются друг в друге, потому что каждый на своем месте приносит какую-то пользу. Многим язычникам импонировала эта узнаваемая человечность, хотя, при этом несовершенства богов вызывали опасения и нагоняли тоску: если боги готовы обижать друг друга, подобно людям, то какие же они тогда боги? Тем более если они готовы это делать с участием самих людей, заведомо делая их жертвой своего конфликта? Так, например, в Троянской войне на стороне ахейцев была Гера, Афина, Посейдон, Гермес и Гефест, а на стороне троянцев — Афродита, Артемида, Латона, Аполлон, Арес и речной бог Ксанф. Причем повод к этой войне был совсем несерьезным: богиня раздора Эрида, не приглашенная на очередной пир богов, решила отомстить им тем, что подбросила на стол яблоко с надписью «Прекраснейшей», после чего Гера, Афина и Афродита поссорились между собой в вопросе о том, кому предназначалось это «яблоко раздора». Определить красавицу пригласили троянского принца Париса, которому каждая богиня много обещала, и в частности Афродита, посулившая ему любовь спартанской царицы Елены Прекрасной. Парис выбрал Афродиту, после чего богини спроецировали свой конфликт на жизнь людей…

На этом фоне конфликт культов Аполлона и Диониса выглядит даже несколько концептуально, поскольку отражает оппозицию двух типов. Аполлон — бог светлого, солнечного порядка, бог иерархии и разума. Дионис — бог веселья и похмелья, бог карнавала и иррациональной стихии. Античные язычники поклонялись обоим богам, но некоторые из них отдавали предпочтение одному из них и тем самым обрекали себя на напряженные отношения с другим. Между тем оба культа имели своего рода промежуточную альтернативу в виде орфизма, культа бога Орфея, который, так же как Аполлон, был просветленным красивым юношей, поющим под лиру и чуждым

какого-либо хаоса, но зато, так же как Дионис, был окружен лесными животными, оказался жертвой взбесившихся вакханок, был растерзан ими и воскрес в виде созвездия. Особенно Орфей был знаменит тем, что вывел из подземного царства свою жену Эвридику, то есть «воскресил» ее, хотя и ненадолго. Соотношения образов Аполлона, Диониса и Орфея наглядно показывает, что языческие боги могли символизировать разные аспекты бытия, перетекать друг в друга и создавать новые синкретические образы, преодолевающие прежние оппозиции.

Никакой более-менее законченной системы в их отношениях не было, если только не принимать на веру те надуманные схемы, которые пытались приписать им языческие философы поздней Античности типа Порфирия, Ямвлиха или Прокла, стремящиеся укрепить свою мифологию в противовес наступающему христианству.

Популярность культа Диониса объясняется далеко не только своей карнавальной сущностью. Дело в том, что о Дионисе ходили мифы, что это *воскресший* бог, что однажды он был убит, а потом воскрес. Субверсией этого культа был миф Диониса-Загрея, который еще, будучи маленьким ребенком взобрался на трон Зевса и некоторое время развлекался своей властью, пока его оттуда не свергли титаны и не убили, после чего его тело было восстановлено различными способами, в том числе самостоятельно.

С этим мифом было связано тревожное представление, что власть самого Зевса-Юпитера рано или поздно, а может быть даже и очень скоро, падет, и на его место придет новый бог и наступит новый век, то ли лучший, то ли худший. В конце концов, если сам Зевс-Юпитер пришел к власти над миром путем свержения своего отца Сатурна, который в свою очередь сверг своего отца Урана, то почему бы самого громовержца не постигла участь своих предков? *«Все течет, все изменяется»*, — предсказывал еще древнегреческий философ Гераклит, и господствующие боги языческого пантеона совсем не всесильны — можно вспомнить много случаев, когда они оказывались в зависимости даже от людей, одна только история с Парисом чего стоит. Поэтому все возможные центробежные процессы, сотрясающие космос Римской империи I–III веков извне и изнутри, идеально ложились на языческие представления о вечном разладе среди богов и неизбежном наступлении нового космического цикла. Особую энергетику катастрофическим настроениям придавали, с одной стороны, периодические атаки чудовищных варваров на северные границы государства, а с другой стороны, хлынувшие бурным потоком в Римскую империю азиатские религиозные культы и

учения, одним из которых было само христианство, воспринимавшееся римлянами поначалу как очередная восточная экзотика. В эту эпоху, когда на примере сменяющих друг друга римских императоров и карьерных виражей скороспелых политиков бренность земной славы была особенно очевидна, наиболее востребованным стала тема *смерти* и *воскресения из мертвых*. Отсюда с наибольшей силой развивалась популярность именно тех местных и пришлых культов, которые обещали воскресение из мертвых, как, например, культ Диониса-Загрея.

Здесь можно задать законный вопрос: а разве традиционная римская и греческая религия не гарантировала воскресение из мертвых? Во-первых, представление о загробной жизни в греческом и тем более римском традиционном язычестве было не очень внятным и никогда не вызывало никакой надежды. После смерти душа человека должна была направляться в общее для всех подземное царство мертвых, которым правил Аид (*лат.* Плутон), и было совершенно очевидно, что лучше жить на земле, чем оказаться в этом всегда мрачном месте, если только речь не идет об «элитарном» гностицизме и неоплатонизме с их презрением к земному существованию. Правда, где-то на западном краю земли есть еще языческий рай, блаженное пространство Элизиум, где правят сам бог времен Хронос и справедливый царь Радамант и куда попадают только особо отличившиеся герои и праведники, так что мечтать о нем среднему человеку не приходится. Во-вторых, образ жизни в Аиде, неизбежном для абсолютного большинства людей, описывался на столько примитивно, что он был скорее похож на ту же самую земную жизнь, но только сильно ухудшенную в материально-эстетическом отношении: это почти та же самая жизнь, только без света и лишних удовольствий. У самих римлян существовало представление, что после смерти жизненные условия людей почти копируют земные, вплоть до архитектурных особенностей посмертных жилищ, и добропорядочным гражданам надо ежегодно приносить жертвы своим предкам-ларам, иначе их жизнь на том свете станет хуже или они вообще исчезнут. Римские язычники кремировали тела умерших, но со II века их начали хоронить в землю и строить им некрополи, что разрешалось только за чертой города, поэтому вдоль знаменитой Аппиевой дороги, идущей из Рима в Брундизий, можно встретить очень много этих красивых сооружений. Таким образом, смерть воспринималась как качественное ухудшение жизненных условий, можно сказать, как «переезд на этаж ниже», в темные катакомбы, где нет света и комфорта.

Разумеется, очень многих людей такое грубое видение

посмертной участи не могло удовлетворить, и они обращались к культам, где было представление о воскресении и более сложном образе посмертного существования. Существенной особенностью этих культов было прохождение ритуалов «инициации», то есть мистического посвящения неофита в истинную религию, которая сама по себе уже была прообразом определенного «воскрешения», причем эти инициации могли продолжаться на протяжении всей жизни. Поэтому причастность к таким культам предполагала не пассивное пребывание в рамках некоей формальной и непритязательной традиции, как это было в римском язычестве, а весьма активное соучастие в общей сакральной жизни соответствующей общины и достаточно частое прохождение общих инициатических церемоний, которые также назывались мистериями (от *греч.* rrrucxripiov — «таинство»), потому что к ним могли быть допущены только посвященные люди, достойные открывать для себя все новые и новые тайны этого культа. Хранителями этих тайн, конечно, были жрецы и основатели этих культов.

Если взять греческое язычество, то к этой категории мистериальных культов, помимо уже упомянутого культа Диониса-Загрея, относились так называемые Элевсинские мистерии, проходящие неподалеку от Афин и посвященные богине Персефоне *(лат.* Прозерпине), которая каждый год, по общей договоренности, уходила от своего мужа Аида на землю к матери Деметре и возвращалась обратно. Надо ли говорить, что подобные культы «умирающих» и «воскрешающих» божеств имели явную астрологическую и земледельческую подоплеку.

Все остальные мистериальные культы первых веков были результатом эллинистического синкретизма, то есть стихийного объединения некоторых греко-римских культов с «варварскими», пришедшими в первую очередь из Малой Азии, Сирии, Персии и Египта. К таким культам можно отнести мистерии «великой матери» Кибелы и ее возлюбленного Аттиса; мистерии богини Изиды и ее воскресшего мужа Осириса; мистерии бога Сераписа, искусственно придуманного Птолемеями ради объединения египетского и греческого божеств Осириса и Аписа; мистерии бога Сабазия, убивающего змей и врачующего людей, а также отождествляемого с самыми разными богами, от Юпитера и Диониса до самого иудейского Яхве, и т. д.

Стоит обратить внимание на то, что участие во многих подобных мистериях предполагало доведение себя до крайних психофизических состояний, от взаимного бичевания и кастрации до разнузданных оргий, почему эти мистерии еще называли оргиастическими.

Среди всех этих культов самым большим влиянием пользовались мистерии бога Митры Непобедимого — солярного бога порядка и согласия, имеющего индоиранское происхождение. В иранской мифологии Митра был богом-посредником между светлым Ахурамаздой и темным Ариманом, но с реформами Заратустры был вытеснен из персидского пантеона и, можно сказать, «отправился на Запад». В Европе культ Митры впервые появляется в конце I века и обретает те специфические черты, которые отличают его от своего восточного прошлого. Главный миф о Митре говорит о том, что он убил созданного Ахурамаздой первого быка, олицетворявшего все мировое зло, — в греко-римской версии он это сделал по приказу Аполлона. Вместе с этим его часто изображают не только убивающим быка, но и с головой льва. Причины успешного распространения культа Митры в Римской империи заключались в том, что, во-первых, подобно христианству, в митраизме было представление о моральной чистоте и воскресении души, а во-вторых, потому, что акцентуированная апология договорной справедливости хорошо соответствовала римской правовой культуре. Правда, понимание этой чистоты и справедливости было довольно своеобразным, как и во всех инициатических мистериях. Нам известен сюжет так называемого митраистского объятия, отражающего один из этапов инициации этого культа, где Митра в виде льва насилует быка или другую парнокопытную жертву, а в другой вариации этой же сцены жертва представляет собой юношу, который при этом должен пройти обряд кастрации. Первичное инициатическое очищение адепта Митры проходило в бычьей крови, обряде тауроболио.

Вот такая религия была одним из первых соперников христианства в Римской империи. Как и во всех подобных случаях, это извращение, естественно, оправдывалось высшей «духовной» необходимостью и наделялось самыми разными утонченными смыслами. При этом стоит отметить, что культ Митры пользовался особенно большим успехом именно в армейской среде, поскольку он также считался богом военных побед, а в географическом отношении он некоторое время процветал на западе Империи, где интеллектуальная и религиозная жизнь всегда была значительно беднее, чем на востоке Империи, пресыщенном всеми возможными культами и философиями.

Из всего вышеизложенного следует, что у многонационального населения Римской империи не было однозначно доминирующей религии и поэтому в первые три века своего существования Церкви пришлось столкнуться с

бесконечным миром различных доктрин и культов. Вместе с отвлеченными религиозно-философскими учениями греко-римских интеллектуалов и традиционными этническими культами, экстатические мистерии первых веков составляли настоящий языческий хаос Античности, подобно тому самому Хаосу, из которого родились все остальные боги греческого пантеона. И сколько бы ни был разнообразен этот хаос, все его невольные участники считали человека лишь частью мировой космической природы, чье существование полностью подчинено природной необходимости, и поэтому не могли до конца объяснить, откуда у человека возникает свобода и почему он должен отвечать за эту свободу, если он всегда остается лишь жертвой внешних «объективных» процессов.

Но мысли о жизни и смерти не оставляли в покое никого из думающих и чувствующих людей. Как сказал в IV веке персидский царевич Ормизда, ему все нравится в прекрасном городе Риме, кроме того, что и в нем все люди тоже смертны.

Часть 3. МУЧИТЕЛИ И МУЧЕНИКИ

14. Когда умножились ученики

Первые три столетия своей истории, до реформ императора Константина, Церковь существовала в Римской империи как одна из многочисленных религиозных организаций, периодически испытывающая давление государственной власти и других религий, но при этом неуклонно растущая и в количественном, и в качественном отношениях.

Все эти годы перед постоянно расширяющейся и усложняющейся Церковью стояли два основных вопроса — вопрос о доктринально-каноническом оформлении своего вероучения и вопрос о социально-канонической самоорганизации, позволяющей ей сохранить свое единство и продолжать свою экспансию. Оба вопроса были непосредственно взаимосвязаны: чтобы решить вопрос о самоорганизации Церкви, это решение должно было быть оправдано с догматической точки зрения, по определению уже существующей, но чтобы сослаться на любой догмат, он должен быть утвержден самой Церковью, уже каким-то образом организованной.

Эта проблема хорошо известна философии права: любое правовое государство основывает свою власть на праве, но само это право обретает силу только благодаря тому, что ее признает само государство. Подобную ситуацию в лучшем случае можно сравнить с лентой Мебиуса, а в худшем — с замкнутым кругом. В секулярном, то есть светском, государстве эта проблема решается своими путями, если она вообще решается, но для Церкви она никогда не была фатальной, потому что с христианской точки зрения и сама церковная доктрина, и сама церковная организация имеют своим источником не человеческие договоренности, а самого Господа Бога, всесильной и всеблагой воле которого доверяют все сознательные христиане.

Принимая святое крещение, человек добровольно признает авторитет Церкви по всему кругу вероучительных вопросов, потому что этот авторитет основан на неизменном действии в Церкви Святого Духа и апостольском преемстве церковного священноначалия. В противном случае он либо отрицает святость самой Церкви и в этом смысле открыто отказывается от христианства, либо считает ее псевдоцерковью, как это делали все раскольники во все времена, объявляя «истинными церквями» только свои расколы. В любом случае такой человек тем самым ставит себя за пределами Церкви как единого сообщества свободных личностей, выбравших *жизнь в Боге*, почему само понятие Церкви в греческом языке звучит как εκκλησία (лат.

ecclesia), то есть *собрание*.

Отсюда название специальной богословской дисциплины, изучающей вопросы церковного устроения, — экклезилогия. Экклезиологические вопросы, как мы уже заметили, непосредственно упирались в догматические, а догматические вопросы на официальном церковном уровне могли быть решены только после решения сугубо экклезиологического вопроса о том, кто внутри Церкви может быть гарантом общецерковной позиции: кто может в Церкви ставить последнюю точку в любом вопросе?

В первые века этот вопрос был наиболее острым: все христиане признавали, что Церковь всегда права, но кто в самой Церкви может быть гарантом и выразителем этой правоты? Уже с первых шагов Церкви внутри ее начались определенные споры по разным вопросам, многие из которых были совершенно непринципиальны, а иные имели абсолютное значение. Сами по себе эти разноречия были естественны: все церковные люди были свободными личностями и могли задаваться любыми вопросами, тем более когда сама Церковь как земная организация людей еще не дала на эти вопросы однозначного ответа. Поэтому вопрос об истине в Церкви упирался в неизбежный вопрос о *критериях* самой истины: какими абсолютными мировоззренческими принципами должна руководствоваться Церковь при решении любых вопросов и кто в самой Церкви имеет право выносить эти решения, чтобы можно было ссылаться на его безусловный авторитет?

Иными словами, встал вопрос о формулировании общецерковных *догматов*, то есть истинных мировоззренческих положений Церкви, и общецерковных *канонах*, то есть дисциплинарных правилах жизнедеятельности в Церкви. В догматах и канонах была зафиксирована официальная позиция Церкви, а соответственно, правильная позиция для всех ее членов. Такая позиция называлась «ортодоксальной», то есть в буквальном переводе с греческого «православной».

Поэтому само понятие «православие» (*греч.* ορθοδοξία, *лат.* orthodoxia) означает не какую-то отдельную религию, а правильное понимание этой религии, в данном случае христианства. В этом смысле все организации, называющие себя христианскими церквами, считают себя православными, но только одна из них может быть действительно Православной Церковью.

Какой бы аморфной ни казалась Церковь первых поколений своего существования для внешнего наблюдателя, в ней уже было принципиально важное иерархическое разделение на клир и мир, то есть на священнослужителей (клириков) и простых членов

Церкви (мирян). Это разделение восходило к самому Иисусу Христу, который отобрал для своего служения двенадцать апостолов, передал им на Тайной Вечери возможность совершать евхаристию, то есть превращать хлеб и вино в Плоть и Кровь Христа для причастия, а после вознесения Христа на апостолов спустился Святой Дух, что знаменовало собой рождение Церкви Христовой, отмечаемое в праздник Пятидесятницы. Все остальные люди отныне могли получить свое крещение и причащение только от апостолов либо от тех людей, которым этот дар передали сами апостолы, то есть рукоположенных священнослужителей Церкви. В свою очередь, эти священнослужители могли также рукополагать других людей, и, таким образом, священство Церкви увеличивалось в огромном количестве.

Вот эта причастность к цепочке рукоположений, восходящих к самим апостолам, и называется апостольским преемством — основой существования всей церковной иерархии. В обязанности священству вменялось, во-первых, совершать церковные священнодействия, во-вторых, просвещать свою паству и обращать к Христу новых людей, в-третьих, управлять самой Церковью. Одновременно с этим внутри самого священства произошло разделение на три степени служения — епископство, пресвитерство и диаконство.

Связана эта стратификация исключительно с управленческой функцией клира. Дело в том, что уже в I веке церковные общины настолько разрастались, что для их эффективного управления и евхаристического окормления очень быстро потребовалось назначать главного священнослужителя, который бы мог управлять всей общиной, как правило, в масштабах одного города и его окрестностей. Тема города здесь не случайна — христианство преимущественно распространялось именно по городам и только потом находило понимание в сельской местности, где отказ от языческих суеверий, в основном связанных с аграрноприродным циклом, проходил значительно медленнее. В итоге таким главным священнослужителем, управляющим всей местной иерархией, стал епископ, обладающий исключительным правом совершать два основных священнодействия, обеспечивающие Церкви ее количественный рост.

Во-первых, епископ может рукополагать пресвитеров и диаконов, а двое епископов могут рукополагать нового епископа.

Во-вторых, епископ может освящать антимнис, специальный матерчатый плат, на котором можно совершать Литургию — главное церковное богослужение, смыслом которого является

евхаристия. Не случайно впоследствии епископов станут называть «князьями Церкви».

В отличие от епископа, пресвитер не может никого рукополагать или освящать антимнис, но он может выполнять все остальные священнодействия: и крещение, и евхаристию, и венчание, и отпевание и т. д. Если все епископы — это архиереи, то пресвитеры — это просто иереи, то есть священники в собственном смысле слова. Однако в связи с этой необходимой стратификацией в раннем христианстве периодически возникал спор о том, насколько епископ может представлять всю полноту своей поместной Церкви или он обязательно должен советоваться со всеми пресвитерами своей епархии и по всем вопросам выступать вместе с ними. Неудивительно, что вульгарно-политический взгляд на этот вопрос со стороны некоторых либеральных и марксистских исследователей интерпретирует это противоречие как конфликт «церковной аристократии» и «церковной демократии», хотя в действительности речь шла именно об эффективном управлении Церковью, которая в условиях постоянных внешних и внутренних угроз не могла себе позволить паралич безвластия. В конце концов, в любой епархии может найтись много несогласных священников по любому вопросу, и если бесконечно согласовывать с ними каждое решение, то никакие решения в принципе не будут приняты, а о принятии общецерковных догматов и канонов можно и не мечтать. Поэтому Церковь очень рано пошла по пути епископского управления, что колоссально упростило принятие решений на местах и общецерковное общение между разными епархиями.

Весьма показателен повод, заставивший Церковь ввести третий священный сан — диаконский, о котором вспоминается в Деяниях Апостолов: *«В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова»* (Деян. 6:1–4). Еллинисты — это те самые эллинизированные евреи, образ жизни которых порядком отличался от тех, кто не принимал эллинизацию. Здесь мы видим, что даже в первом поколении христиан евреев, непосредственно общающихся с апостолами, уже были конфликты между собой на почве этнокультурой идентичности, так что даже одних вдов кормили

меньше, чем других. Этот сюжет свидетельствует нам о том, что далеко не только возвышенными богословскими вопросами пришлось заниматься первым организаторам Церкви, но также преодолевать конфликты столь низменного характера, и этим во все времена придется заниматься Вселенской Церкви в мире, который лежит во зле (1 Ин. 5:19).

Между тем диаконы стали далеко не только попечителями «о столах», а главными помощниками епископов и пресвитеров во всех богослужениях, выполняющими самые разные ритуальные функции, а служение в сане диакона стало необходимым этапом для всех, кто хочет стать пресвитером и епископом соответственно.

Итак, уже на самом раннем этапе Церковь четко иерархизировала свою структуру, определив три уровня священства — диаконство, пресвитерство и епископство. Все остальные церковные звания уже не имеют никакой сакраментальной, то есть сакрально-ритуальной, функции, неотъемлемой для Церкви, а обусловлены все теми же задачами управления Церковью.

Например, когда епископий стало слишком много, то был введен титул *архиепископа*, «первого среди равных» епископа, который служил в столичном городе данного региона и мог в административно-экономическом смысле управлять подчиненными епископиями.

Так же появился титул *митрополита* — епископа митрополии, крупнейшего города, который мог быть столицей целой страны. При этом впоследствии возведение в сан епископа, а также получение титулов архиепископа и митрополита далеко не всегда предполагало наличие собственной территории, а могло быть особой наградой с какими-либо дополнительными обязанностями и привилегиями.

Наконец, в V веке появляется самый главный титул патриарха — главы всей Поместной Церкви как автокефальной (самоуправляемой) части единой Вселенской Церкви. Патриарший титул позволяет соответствующей Поместной Церкви окончательно закрепить свою суверенность, после чего она уже никогда не может произвольно оказаться частью другой Поместной Церкви.

Но это все будет потом, когда Церковь благодаря Константину и его последователям обретет воистину имперское могущество, — в первые три века Вселенская Церковь представляла собой своеобразную «конфедерацию» городских епископий, разбросанных по всему Средиземноморью и за его пределами, подобно многочисленным колониям, у которых нет и

практически не может быть одного центра.

Вместе с этим ни в коем случае нельзя сказать, что главой Церковью были епископы, как впоследствии архиепископы, митрополиты или патриархи. Главой Церковью христиане считают только самого Господа Иисуса Христа, в то время как епископы — это только наследники апостолов, управляющие не всей Церковью в целом, а конкретной иерархией на конкретной территории.

Источником общецерковной власти является церковный Собор, на котором решаются все возможные вопросы и его постановления имеют всеобщеобязательную силу для тех, кто в нем участвовал, а также силу весьма авторитетного прецедентного права для всех остальных членов Церкви. Если не считать первое собрание одиннадцати апостолов для избрания двенадцатого апостола Матфея вместо отпавшего Иуды (Деян. 1:13–26) и упомянутого нами собрания для постановления семи диаконов (Деян. 6:1–6), то первым большим Собором в истории Церкви был так называемый Апостольский Собор в Иерусалиме 49 года (Деян. 15: 1–34), на котором после определенной дискуссии было решено отказаться христианам от соблюдения целого ряда иудейских канонов (обрезания и др.), сохранить которые требовала группа христиан из обратившихся фарисеев. Иерусалимский Собор знаменовал собой разрыв с иудаизмом и начало систематической самоорганизации Церкви.

В дальнейшем таких Соборов было очень много, они собирались в самых разных городах по самым разным поводам, ссылались друг на друга и противоречили друг другу, образуя своего рода коалиции различных епископий, далеко не всегда мотивированных исключительно богословскими соображениями. Конечно, в соорганизации подобных коалиций определенную роль нередко играли чисто секулярные факторы — влияние местных богословских школ, сходство региональных интересов, этнокультурная идентичность, ситуативная солидарность по разным причинам вплоть до личных, карьерных и психологических проблем тех или иных членов Церкви. Но чем больше становилась Церковь, тем труднее было навязать ей какое-либо непопулярное мнение или безусловный авторитет какого-либо одного богослова — ставшая одной из масштабных религиозных организаций всей Римской империи благодаря своему неуклонному миссионерству, христианская Церковь сама начала мыслить в еще более масштабных «имперских» категориях и не могла себе позволить расколоться из-за каких-либо маргинальных веяний.

Даже удивительно, что за три первых столетия развития

христианства, весьма тяжелых в сравнении с последующими временами, ни одно внутрицерковное движение деструктивного характера, каковые всегда были, не возобладало настолько, чтобы произвести в Церкви масштабный раскол. Во многом это можно объяснить атмосферой постоянного выживания и риска, заставляющей христиан консолидировать свои силы больше, чем разобщать, и оставлять решение сложных догматических вопросов на потом. Ведь не надо забывать, что первые три века в истории Церкви — это не только эпоха миссионерской экспансии, но и эпоха спорадических гонений на Церковь, устраиваемых римскими властями в ответ на эту экспансию. Поэтому любая христианская община все время испытывала опасность с двух сторон — извне, со стороны языческого государства и общества, и изнутри, со стороны периодически возникающих фанатичных раскольников, превратно понимающих сущность и задачи церковной жизни.

В этом смысле исследователь эпохи раннего христианства, как, впрочем, и других эпох, всегда стоит перед проблемой различения подлинных христиан того времени и тех экстремистски настроенных неофитов, которых тогда часто можно было встретить в различных экстатических мистериях и которые приняли Церковь Христову за очередную такую «мистерию» и навязывали ей суицидально-истерическое отношение к реальности. Разумеется, никто из этих квазизелотских групп, исполненных ревности не по разуму (Рим. 10: 2), не мог повлиять на всю Церковь, но они могли изрядно испортить жизнь любому приходу, провоцируя негативное отношение к Церкви со стороны других людей, которые могли принять ее за очередную восточную секту, со дня на день ожидающую конца света и уродующую своих адептов. В более-менее спокойные времена процент таких людей понижался, но в любой кризисный момент их число возрастало, и иным клирикам приходилось в большей степени успокаивать этих радикалов, чем защищать Церковь от внешних нападок. Еще хуже было, если подобный контингент проникал в церковную иерархию и достигал епископства, но таких случаев было немного. Между тем христиан не так легко было найти и тем более осудить на законных основаниях — средний христианин, как правило, ничем не выделялся на фоне общей римской толпы, он был нормальным добропорядочным гражданином, был готов служить в армии, участвовать в общественной жизни, содержать семью и заниматься своей профессией. Единственное, что можно было заметить, — это то, что он периодически удаляется в места собрания христиан и проведения Литургии, а также читает

молитвы, крестится, постится по-своему и не выражает особого почтения к богам и к императору, позволяя себе сомнения в адрес их величия, за что мог даже получить упреки в «безбожии» и «богохульстве», в чем обвиняли многих философов, начиная с Сократа. Иное дело, если этот христианин распространял свою веру, и трудно было не узнать о том, что он действительно не чтит Юпитера и Августа и верит в того самого «еврейского Спасителя», о котором все больше говорят на праздничных рынках и в римских термах, — вот в этом случае никто не мог гарантировать благополучный исход его жизни.

Религиозные сообщества Римской империи часто прикрывали свою деятельность под маской «коллегий» — своего рода структурных единиц римского общества, представляющих собой профессиональные корпорации в какой-либо сфере. Для регистрации одной коллегии требовалось не менее трех лиц, отсюда возникла латинская поговорка «Трое — уже коллегия» (Tres faciut collegium). Важным преимуществом коллегии была легальная возможность снимать помещения, проводить праздники и хоронить своих членов. Поэтому многие религиозные группы оформляли себя как коллегии и успешно пользовались этим статусом, так что всем была известна их религиозная природа. Христиане не могли себе позволить такой роскоши, но они объединялись в специальную разновидность коллегий, а именно попечительские коллегии (collegia tenuiorum), предназначенные для помощи малоимущим, особенно в вопросе о легальных погребениях, стоящих определенных денег. Такая маскировка позволяла христианам на законных основаниях устраивать благотворительные мероприятия для своих членов и хоронить их по своему обряду, ведь это непосредственно входило в задачи каждой церковной общины. Если же говорить о нелегальных собраниях христиан, то они обычно проходили в катакомбах, то есть подземных помещениях разного назначения, какими весьма славилась римская архитектура. Катакомбное существование было крайне дискомфортным и опасным, но к нему привыкали целые поколения членов Церкви, даже не мечтающих о том, что когда-нибудь их единоверцам разрешат строить целые храмы, да еще подобные Иерусалимскому Храму, разрушенному в 70 году в результате Римско-иудейской войны. Между прочим, это весьма сказалось на психологии некоторых христиан, которые в эпоху легализации и торжества христианства уже не могли привыкнуть к новой жизни. В то же время необходимо помнить, что гонения на христиан не были всеобщим и постоянным явлением со времен апостолов и до прихода Константина, — все зависело от личной воли правящего

императора и его окружения, что на самом деле только увеличивает ответственность каждого из них. Безусловно, гонения I — начала IV века против христианства были самыми страшными периодами в его истории, и они основательно запомнились Церкви на будущее, когда аналогичные ужасы приходилось переживать Церкви во время иноверческой оккупации или большевистских репрессиях в XX веке. Невозможно на нескольких страницах описать всю историю того морального падения Римской империи и того взлета христианского духа, которые мы наблюдаем в эпоху первых мучеников Церкви и их августейших мучителей, но если не знать этой истории, то тогда будет трудно понять, что означало для христиан появление императора Константина.

Христианство было самой безобидной и самой беззащитной религией Римской империи, что прекрасно понимали его враги, и это понимание еще больше их раздражало, поскольку лишало весомых аргументов против Церкви. Практически все религии в основе своей были связаны определенной этнической идентичностью, но у христиан не было даже этого козыря, поэтому они не могли взять себе в союзники чьи-либо патриотические и националистические настроения. Если же были какие-то религии условно-космополитического характера, то они всегда опирались на определенные социальные страты, как, например, религия Митры Непобедимого — ведущий соперник христианства на определенном этапе — опиралась на военное сословие. У христианства даже в этом отношении не было своей «электоральной базы», говоря современным политическим языком, потому что ничьи социальные интересы оно не выражало, на что натыкаются все исследователи социально-детерминистского толка, от позитивистов до марксистов.

Как очень точно сказал историк Церкви Борис Мелиоранский (1870–1906), социально-экономический элемент в христианской проповеди «блистает своим отсутствием».

Увидеть в христианстве первых веков проявление чьих-либо политических интересов совершенно невозможно, что придавало ему определенную загадочность, а последняя вызывала страх — ведь если сознание человека привыкло к мысли о том, что любое общественное явление всегда должно выражать чьи-то низменные интересы, то в случае отсутствия этих интересов их начинают приписывать этому явлению. С другой стороны, многие язычники вполне допускали мысль о том, что христиане исповедуют какого-то реального бога, подобно любому языческому богу с маленькой буквы, но это был очень странный бог, не требующий жертв и не приемлющий никакой магии. Возможно, это говорило об особом

могуществе этого бога, совсем не сравнимом с другими богами, но неужели это означает, что нужно бросить всех этих богов и поверить только в этого? Иные язычники приходили именно к этому выводу.

Каковы были основные причины гонений на христианство в Римской империи? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что римский мир абсолютно неоднороден и христианами могли быть недовольны разные части этого мира, и поэтому нужно различать мотивацию каждой из них. Речь идет о трех основных источниках обвинений против Церкви — во-первых, самой римской власти, во-вторых, простом народе, в-третьих, каких-либо иных религиозных группах, значение коих в этом процессе весьма недооценивается.

Сама по себе государственная власть Римской империи, как бы неожиданно это ни звучало на первый взгляд, не имела и в принципе не могла иметь никаких претензий к христианству. Мы не случайно посвятили столько страниц описанию исторического генезиса римской политической мифологии, чтобы показать, насколько она была зациклена на идее имперского величия Рима и насколько глуха к мировоззренческим тонкостям обоснования этого величия. Даже влияние греческой философии не очень трогало римские власти, и только первый император Октавиан Август решил оформить римский миф в более-менее стройную историософскую концепцию, для чего ему поэт потребовался больше, чем философ. При этом у римской цивилизации было одно колоссальное преимущество, а именно то, что на фоне других его можно почти считать настоящим «правовым обществом» Древнего мира, где не так легко было властям разделаться со своими политическими противниками, как в других государствах. В этом плане мы вполне можем допустить мысль о *промыслительности* римской оккупации Древней Иудеи и рождении Христа именно в это время, о чем будут писать очень многие христианские авторы. Справедливости ради вспомним, что римская власть в лице прокуратора Иудеи Понтия Пилата не была не только заказчиком, но даже не была сторонником казни Иисуса Христа, а выполняла лишь функции легального суда на оккупированной территории, уважающего традиции местного судопроизводства. Пилат до самого конца не хотел осуждать Иисуса, потому что *«ничего достойного смерти не нашел в нем»* (Ак. 23: 22), но он решил пойти на поводу у Синедриона и у простого народа, которые дважды приговорили Иисуса к смерти. Заметим, что мотивацией приговора Иисусу со стороны Пилата было, во-первых, желание *«сделать угодное народу»* (Мк. 5: 15), а во-вторых, согласие с очевидно провокационным

противопоставлением Иисуса римскому кесарю (Ин. 19:12), усиленным откровенным подхалимажем первосвященников: *«нет у нас царя, кроме кесаря»* (Ин. 19:15). Как и другие библейские истории, этот сюжет можно считать парадигмальным для очень многих последующих расправ над христианами, какие мы знаем в истории. Первичным субъектом этой расправы выступает сознательно антихристианская группа, которая сначала заводит простых незамысловатых людей «из народа», а потом вместе с этими простыми людьми провоцирует существующую власть репрессировать христиан, и с этой схемой Церковь не раз столкнется. Сам Пилат не хотел казни Иисуса не потому, что он был особо нравственным человеком, — в конце концов, признание невиновности Христа не требовало никаких особых нравственных усилий, но он был воспитан в римской правовой культуре и понимал, что для смертной казни нужны веские причины. Аналогичным образом римское право напоминало о себе и в других случаях: например, поскольку апостол Павел был гражданином Рима, то власть относилась к нему соответствующе, и это отразилось даже на его смерти, поскольку Павлу, как римского гражданину, отрубили голову мечом, не распяли на кресте, что было самой позорной пыткой в Римской империи. Однако снимать ответственность с римской власти за эту казнь, конечно же, невозможно: именно Пилат как прокуратор Иудеи имел «власть распять и власть отпустить» (Ин. 19:10) осужденного Синедрионом, именно за ним было окончательное решение, и именно римские воины пытали Христа и распяли его на Голгофе. Также и во всех случаях государственных гонений на христиан: как бы ни велико было влияние антихристианских лобби в римской власти, именно эта власть принимала решение о гонениях и осуществляла их от начала и до конца.

Как мы уже отметили, государственная власть Рима сама по себе не могла иметь к христианам никаких претензий, но одно ее свойство породило неизбежный конфликт с Церковью — это известный нам культ императорского гения, поклоняться которому заставляли всех граждан. Причем этот культ возник как раз с зарождением христианства, и обе религии очевидно противоречили друг другу. На отказе поклоняться императорскому гению можно было поймать кого угодно, и это существенно ограничивало христиан в возможности влиять на власть в Риме. Если христианин отказывался принести жертву перед изваянием императора, то его обвиняли в одном из двух преступлений — либо в преступлении против религии, либо в оскорблении императора. Разницы для него никакой не было, потому что в любом случае за этим следовала смертная казнь.

Интересно обратить внимание на то, что в более безопасном положении оказывались женщины, мнение которых по религиозным вопросам патриархальной римской властью воспринималось не очень серьезно. Поэтому женщинам легче было признаваться в своем христианстве, и уже со времен самого Понтия Пилата, жена которого, по преданию, уверовала во Христа (Мф. 27:19), среди матерей, жен, подруг и дочерей римских вельмож встречались христианки, влиявшие на их религиозную политику. Разумеется, введенный Августом культ императора был самым большим пороком римской власти в сознании христиан, он превращал саму эту власть в языческий культ, а Империю в оплот язычества.

Что же касается простого народа, то его отношение к христианству было пропорционально степени его осведомленности об этой религии и способности вестись на провокации сознательных противников Церкви.

Первая претензия языческого простонародья к христианам была похожа на претензии ко многим философам — отказ от почитания народных богов и следования народным традициям. Практически это было обвинение в «атеизме», хотя ближайшее знакомство с христианами свидетельствовало о том, что эти люди просто верят в другого бога, слишком странного для поклонников Аполлона и Диониса. Поскольку же в языческом сознании отношение богов к отдельным членам общества вполне могло проецироваться на все это общество, то присутствие христиан казалось опасным для жизни, и их изгоняли подальше от гнева местных идолов.

Вторая претензия — излишняя изолированность и «элитарность» христианских обществ, чьи убеждения слишком конспиративны, а богослужения совершенно непонятны, и о них ходят неприятные сплетни. На самом деле эта претензия была следствием глубокой аберрации восприятия реального христианства. По своей сути, христианство было самой открытой религией, к тому же постоянно занимающейся миссионерством и вовлекающей к себе все больше людей, но именно гонения на Церковь, в том числе христианские погромы со стороны языческого простонародья, вынуждали христиан скрывать места своих общих собраний и богослужений, в то время как во всем остальном они были весьма открыты. Так как язычники не знали о том, что реально происходит на литургиях, то они придавали им собственные фантазии, особенно усугубляющиеся за счет того, что в иных религиозных мистериях инициатического типа, о которых мы говорили, действительно могло твориться все, что угодно. Впрочем, подобные домыслы существовали всегда и

везде, где Церковь находилась в полузапретном состоянии. Даже в наше время, когда все храмы открыты и вся информация о жизни Церкви находится в широком доступе, существует много людей, чье представление о христианстве и христианах не многим отличается от тех самых римских язычников.

К этому нужно добавить, что, как только язычники узнавали мнение христиан о мирских благах и посмертной судьбе неверующих во Христа, они обвиняли их в снобизме и чуть ли не «ненависти к человеческому роду» (odium generis humani).

Особенно раздражали язычников довольно беззаботное отношение христиан к различным катастрофам и, более того, их радость от того, что этому миру скоро придет конец. Да, действительно, первым поколениям христиан ожидание Второго Пришествия как очень скорого события было весьма свойственно, и люди экзальтированного типа, скорее бы прижившиеся в каких-нибудь гностических сектах или суицидальных мистериях, заражали церковные общины постоянным апокалипсическим пафосом. Гонения на Церковь только усиливали этот пафос и как будто бы доказывали правоту этих людей. В этом смысле отношение многих христиан к миру и отношение мира к христианам представляло собой замкнутый круг: преследования христиан заставляли Церковь скрывать свои богослужения, а сам факт этой конспирации провоцировал язычников еще больше преследовать христиан; государственные гонения провоцировали в Церкви апокалипсические настроения, а сами эти настроения усиливали готовность власти к новым гонениям.

Наконец, третий и весьма недооцененный субъект антихристианских репрессий в Римской империи — это любые религиозно-политические группы, для которых христианство было реальным соперником и кому оно действительно мешало самим фактом своего существования. Все эти группы были правы в том, что христианство составляет им конкуренцию, но они немножко ошибались, воспринимая ее как конкуренцию за власть, потому что сама Церковь в целом была достаточно аполитична и нам почти неизвестны факты, когда до эпохи Константина какие-либо клирики или миряне сознательно ставили своей целью победу христианства в качестве государственной религии Империи. Скорее, они могли пытаться влиять на власть с целью смягчения нравов и прекращения гонений, но о том, чтобы христианизировать Империю «сверху», мало кто думал. Конечно, Церковь ставила своей задачей полную христианизацию Империи, но это должно было произойти «снизу», за счет большого количества прихожан. Точнее даже, речь шла не об обращении самой Римской империи как

конкретного государства, а об обращении всех людей, живущих во всем мире. О том же, что на самом деле христианизация Империи произойдет именно «сверху», невозможно было себе представить даже за несколько лет до начала этого процесса в IV веке.

15. Гонения I века

С агрессивным отношением к своей проповеди Церковь столкнулась уже с первых шагов. Вспомним, что все апостолы Христа, кроме Иоанна Богослова, спасенного самим Господом, претерпели мученическую кончину. Открывает череду гонений на Церковь император Нерон (правил в 54–68 гг.), чье имя стало нарицательным. В 64 году в Риме вспыхнул огромный пожар, охвативший большую часть города и инспирированный самим Нероном, но поскольку некоторые христиане восприняли его как начало Конца Мира и не столь печалились, то это дало повод императору обвинить в поджоге Рима именно христиан, что привело к первым массовым репрессиям против членов Церкви. Причем основное обвинение состояло в той самой «ненависти к человеческому роду». Отметим, что описание этого события у историка Публия Корнелия Тацита было первым упоминанием христиан во всей латиноязычной литературе (Анналы, XV,44 (116 г.). В те же времена были казнены в Риме апостолы Петр и Павел. Сам Нерон покончил собой во время восстания против него, что в христианском сознании было вполне естественной кончиной для любого тирана, которого хочет покарать Господь. После гонений Нерона, кои могли застать даже современники Христа, Церкви стало понятно, что подобное может повториться в любой момент и не один раз.

Следующим событием I века, не имеющим отношения к гонениям против христиан, но существенно сказавшимся на церковной историософии, было разрушение Иерусалимского Храма войсками военачальника Тита, старшего сына императора Веспасиана (правил в 69–79 гг.) в 70 году. Само разрушение было следствием тяжелой Римско-иудейской войны, спровоцированной восстанием зелотов и завершившейся полным поражением Иудеи. В ветхозаветной традиции Иерусалимский Храм был единственным в мире, в нем приносились животные жертвоприношения, и он был религиозно-политическим центром всего еврейского народа. Также и для многих иудеохристиан I века, сохраняющих традиции предков, этот храм имел очень важное символическое значение. Разрушение Иерусалимского Храма было расценено христианами как окончательный знак Господа, что Ему больше не нужны жертвы иудеев и их религия отныне мертва. Вместе с этим многие иудеохристианские общины Палестины, до сих пор держащиеся этого храма, эмигрировали в другие города Средиземноморья, в том числе в Рим, что составило отдельную большую волну распространения Церкви.

Недолго пришлось ждать христианам повторения нероновщины: младший сын Веспасиана, император Домициан (правил 81–96 гг.), при жизни объявил себя богом и подвергал казни всех, кто отказывался приносить ему жертвы. Естественно, в первую очередь это касалось христиан, и их казни стали настолько многочисленны, что репрессии Нерона запомнились как разовый эксцесс. Наиболее знаменитым мучеником этого времени был епископ Пергамский Антипа (+68), которого языческие жрецы за отказ поклониться идолам доставили в храм Артемиды и бросили его внутрь медного вола, предназначенного для сожжения жертв, а снизу этой жуткой печи подожгли огонь — вполне в духе карфагенских жертвоприношений. Священномученик Антипа был учеником апостола Иоанна, сосланного в то время на остров Патмос, где он написал Апокалипсис и упомянул в нем своего ученика Антипу: *«И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа»* (Откр. 2:12–13). Гонения Домициана показали несовместимость христианства с языческим миром, в котором сама религия не позволяет верующим во Христа чувствовать себя в безопасности. Для очень многих людей соблюдение культа императора, как, впрочем, и других языческих культов, не обязательно предполагало веру, а было данью принятым условностям. Для христиан же такое отношение было невозможно, потому что именно в христианстве истинная, внутренняя мотивация человеческой личности, закрытая для других людей, но зато всегда известная Богу, имеет не меньшее значение, чем ее внешние действия. Ведь языческие боги, а уж тем более император вряд ли знают, о чем на самом деле думает человек — им нужны внешние проявления, поклоны и жертвы, а что творится у человека в душе, им не очень интересно… В итоге своей кровавой политики Домициан был убит заговорщиками в собственной спальне, а Сенат потребовал стереть его имя со всех сооружений.

16. Гонения II века

Гонения II века открывает император Траян (правил в 98–117 гг.), прославившийся тем, что отказался принимать бесконечные доносы жителей Римской империи, которые давно научились таким образом расправляться друг с другом, а особенно с христианами, легко попадающимися на отказе поклоняться императорскому гению. Однако это не очень помогло Церкви: в 104 году. Траян запретил все тайные общества, под которыми подразумевались в том числе попечительские коллегии христиан. Фактически это означало запрет христианства, хотя еще не в явной форме. Известна переписка Траяна с наместником Вифинии, провинции на севере Малой Азии, Плинием Младшим, где император говорит ему о том, что не стоит специально преследовать христиан, но если кто-то обвиняет христианина и это обвинение доказано, то наказание необходимо. Кроме того, если обвиняемый отречется от христианства и докажет это на деле, то есть «помолится нашим богам», то его нужно помиловать (Письма Плиния Младшего, X, 97). Для своего времени политика Траяна считалась вершиной римской цивилизованности, но для Церкви она означала настоящие притеснения, в которые пострадало много святых мучеников, в частности папа римский Климент (+101), изгнанный из Рима на каменоломни Херсонеса; епископ Антиохийский Игнатий Богоносец (+ 107), растерзанный львами в Колизее на потеху публике; епископ Иерусалимский Симеон (+107), распятый на кресте в столетнем возрасте, и др.

Троюродный брат Траяна, император Адриан (правил 117–138 гг.), остановивший территориальную экспансию Рима и начавший призывать в армию варваров, закрепил правило не наказывать христиан без суда и следствия, чем прославился еще более предшественника. Однако это не означало, что преследования христиан закончились: в его эпоху в тюрьме умер от голода священномученик Кодрат (+130), автор первой в истории защитительной речи в оправдание Церкви к римскому императору, то есть первой «Апологии», написанную им для Адриана в 126 году. Кодрат стал основателем христианской апологетики, которая до эпохи Константина была одним из ведущих жанров церковной письменности. В истории христианской философии даже различают эпоху *апологетики* II–III веков, когда основной упор делался на защите Церкви перед языческим миром, от эпохи *патристики* IV–VIII вв., то есть учений Отцов Церкви, внесших вклад в развитие догматического

богословия. Другими мучениками за веру в эпоху Адриана и по причине его жестокости стали три сестры Вера, Надежда, Любовь и мать их София (+137). Когда их привели к императору, то он приказал им принести жертву Артемиде, а за отказ приговорил к зверским пыткам, продолжавшимся очень долго, потому что сестры все еще оставались живы, но потом они были обезглавлены.

Качественно новым этапом гонений на Церковь были репрессии императора Марка Аврелия (правил в 161–180 гг.). Марк Аврелий весьма известен как философ на троне, оставивший после себя двенадцать «Размышлений к самому себе», хорошо отражающих морально-психологический аспект стоической философии. Размышления Марка Аврелия проникнуты пафосом умеренности и размеренности, стремлением согласовать разумное начало в себе с разумным началом в космосе — том самом Огне-Логосе. И так же как многие интеллектуалы, восторгаясь этим императором из «блистательной» династии Антонинов, не обращают внимания на онтологическую подоплеку его стоической этики, так же они забывают, что этот невозмутимый философ был одним из самых страшных гонителей христианства всех времен. Именно он был первым римским императором, издавшим официальный указ о запрете христианства в 177 году, — до него репрессии против Церкви проходили с помощью тех законов, по которым можно было осудить далеко не только христиан, теперь же сам факт исповедания христианства стал преступлением. Во многом этот указ был связан с пилатовским желанием «угодить народу», поскольку в это время в Галлии и Малой Азии сильно увеличилось число антихристианских погромов со стороны языческого простонародья, но все-таки личный идейный стоицизм императора имел принципиальное значение. Это была вторая крупнейшая волна гонений после Домициана, и среди ее жертв был, между прочим, первый христианский философ — Иустин Философ со своими учениками (+165), обезглавленные за свои убеждения, что очень характеризует режим философа Марка Аврелия. Также при Марке Аврелии был замучен епископ Поликарп Смирнский (+167), ведущий богослов христианского Востока того времени, заживо сожженный на восемьдесят шестом году жизни; особенно запомнились Церкви массовые пытки и казни в Лионе и Вене, после которых остался подробный мартиролог (от *греч.* цартид — «свидетель»), то есть перечень мучеников, своей смертью свидетельствовавших о Христе. Сам Марк Аврелий умер от чумы во время военного похода на Дунае.

Парадоксальным явлением римской истории остается сын

Марка Аврелия, император Коммод (правил в 180–192 гг.), про которого верно писали, что «он был скорее гладиатором, чем императором», потому что в отличие своего «благородного» отца-философа Антонин Коммод занимался преимущественно тем, что устраивал гладиаторские бои для собственного участия в них, глубоко запустив дела Империи. Марк Аврелий очень хотел оставить после себя достойного наследника и, разумеется, обращал свои «Размышления» не в последнюю очередь именно к нему, но, узнав уже его образ жизни, он страшно страдал, и это было для него гораздо большим наказанием, чем смерть от чумы. Коммод был во всем не похож на отца — своим сумасбродством он воспроизводил худшие образцы римских правителей типа Калигулы и Нерона, но одним он отличался от отца в лучшую сторону: он практически не преследовал христиан. Объяснялось это не столько равнодушием к мировоззренческой политике, свойственной подобным натурам, сколько его любовной связью с христианской Марцией, влияющей на него в пользу Церкви. Но между тем под конец его своеобразного правления был замучен сам сенатор Аполлоний (+192), обвиненный своим рабом в христианстве. При этом после казни Аполлония был казнен и его раб за доносительство. Стоит ли говорить, что Коммод был убит заговорщиками и Сенат в очередной раз приказал стереть имя императора со всех сооружений, что бы и произошло, если бы к власти не пришел новый император по имени Септимий Север (правил в 193–211 гг.), ненавидящий Сенат и вообще всю аристократию.

17. Гонения III века

Исторический эпизод прихода к власти Септимия Севера обращает на себя внимание тем, что он наиболее ярко демонстрирует механику смены императорской власти в Риме, которая была свойственна первым трем векам. Как мы помним, Октавиан Август ввел институт преторианской гвардии, которая должна была охранять императора, но быстро обрела собственную политическую субъектность и непосредственно влияла на выбор нового властителя. После убийства Коммода, на котором поучительно оборвалась «блистательная» династия Антонинов, преторианцы обнаглели настолько, что предложили продать власть императора любому, кто готов заплатить за это наибольшую сумму.

Очевидно, что подобный эксцесс был возможен только при полном падении правового порядка, когда все институты власти утратили свой авторитет.

Многие объясняют эту «революцию» стражников тем, что во II веке армия Империи наполнилась варварами, не знающими благородного воспитания в духе римского права, но о каком правовом порядке можно говорить, если сами императоры стремительно превращали другие органы власти в пассивных штамповальщиков издаваемых ими законов? Если политик основывает свою власть на грубой физической силе, а не на авторитете закона, то нет никаких гарантий, что эта сила рано или поздно не обратится против него самого. Таким образом, в результате разгоревшейся борьбы за власть императорский трон занял варвар с африканским акцентом Септимий Север, откровенно говоривший, что для сохранения власти достаточно ублажать воинов и ни на кого больше не обращать внимания. Однако в отличие Коммода новый император не только любил оружие, но и вплотную занялся религиозной политикой, подтвердив указы Марка Аврелия о христианах и издав в 201 году новый рескрипт о запрещении перехода язычников в христианство.

В результате этой новой волны репрессий начала III века погибло много мучеников и среди них такие, как Отец Церкви епископ Лионский Ириней (+202), знаменитый своими «Пятью книгами против ересей» и борьбой за единство Церкви, которому отсекли голову мечом; отец Оригена Леонид (+202); девица Потамиена, брошенная в кипящую смолу; девица Фивия Перпетуя, брошенная к зверям в цирке и добитая мечом; епископ Магнезийский Харлампий (+202), глубокий старец, которого

несколько раз пытали до полного изнеможения, но при этом, наблюдая его мучения, многие сами приняли Христа и среди них — сама дочь Септимия Севера Галина, дважды разгромившая идолов в языческих храмах. Вообще, обращение мучителей к Христу во время наблюдения за поведением мучеников было не редким событием, и уже далеко не каждый легионер или тюремщик соглашались участвовать в этих мучениях.

Старший сын Септимия Севера, император Каракалла (Септимий Бассиан, правил в 211–217 гг.), был первым правителем Рима, не стеснявшимся своих варварских корней и окружившим себя германцами, которые с этого времени были крупной этнической группой в армии. Больше всего он знаменит тем, что в 212 году даровал всему свободному населению Римской империи гражданство, что, с одной стороны, было существенным проявлением цивилизаторской миссии Рима, а с другой — еще больше способствовало изменению этнокультурного облика самого Рима. Правда, нужно иметь в виду, что от количества граждан зависело количество налогов, большим потоком хлынувших в казну, так что в этом жесте императора были очевидные утилитарные мотивы. Как варвар африканского происхождения, Каракалла поклонялся египетской богине Изиде и даже построил ей храм в Риме, что для самих «наследников Энея» было абсолютным нонсенсом — для них уж лучше, чтобы императоры величали себя богами при жизни, чем поклонялись «варварским богам». Еще большим нонсенсом было понимание Каракаллой задач своего правления, когда он решил проехаться по Империи как единоличный хозяин, а точнее, как варвар-кочевник по степи, обкрадывая и насилуя каждый новый регион. Как мы понимаем, это несколько противоречило цивилизаторской миссия Рима. Наибольшее моральное сопротивление своему походу он встретил в рафинированной Александрии, после чего устроил в ней настоящую карательную операцию, особенно настаивая на разрушении сисситиев — домов, где собирались философы, почему жившему там Оригену пришлось бежать в Кесарию Палестинскую. При власти Каракаллы юристом Ульпианом была совершена кодификация всех законов против христиан, что обеспечило антихристианские репрессии более основательной юридической базой. Несмотря на свою варварскую политику, Каракалла прославился в столице построением гигантских роскошных терм, то есть красивых каменных бань, бывших в Риме своего рода отдельными культурными центрами, где были даже музеи и библиотеки.

В итоге своего недолгого правления Каракалла был убит начальником преторианской гвардии Макрином, сделавшим

самый последовательный вывод из своего положения — самому стать императором, и хотя Сенат с радостью признал его как избавителя от прежнего кошмара, сам Макрин вскоре был убит во время похода против парфян.

После этого варваризация Рима усилилась в превосходной степени: сестра жены Каракаллы по имени Меза решила привести к власти своего четырнадцатилетнего внука Вария Авита Бассиана и путем подкупа легионеров и других интриг добилась почти невозможного — этот мальчик, абсолютно далекий и от политики, и от римской культуры, был объявлен внебрачным сыном Каракаллы, взошел на престол под очередным длинным императорским именем Цезарь Марк Аврелий Антонин Август, однако в историю он вошел под именем Гелиогабал (правил в 218–222 гг.), потому что все свое существование посвятил сирийскому культу бога-солнца Гелиогабалу (или Элагбалу), постоянно принося ему жертвы и танцуя вокруг его капища. За всю свою историю римская власть не ведала большего позора и шока от того, как такое вообще могло случиться. Весь императорский двор превратился в одно сплошное ритуальное пространство этого азиатского бога, все обязаны были участвовать в поклонении ему, а тех, кто выразил свое неудовольствие, император-подросток приказал казнить. Не будем перечислять, какими «инициатическими» извращениями сопровождалось пребывание в этой экстравагантной для Рима религии, но отметим только ее самые жуткие элементы — это принесение в жертву богу молодых и красивых мальчиков, которых Гелиогабал собирал для этой цели со всей Италии. В то же время этот юный тиран не считал все остальные религии абсолютно ложными, что, как мы уже отмечали, никогда не было свойственно язычеству, — он просто решил подчинить всех других богов своему и поэтому хотел объединить все существующие религии, включая иудаизм и христианство, вокруг культа Гелиогабала, чтобы узнать их «тайны» и использовать в этом культе. Поэтому, как ни странно, специальных гонений против Церкви Гелиогабал не устраивал, хотя любой христианин, отказавшийся поклониться этому сирийскому богу, был обречен на смерть.

Стоит ли удивляться тому, что молодой император был убит преторианцами вместе со своей матерью, но что достойно удивления, так это что его бабка Меза не только избежала преследований, но даже вновь решила повлиять на власть и поставила на престол своего другого внука, тринадцатилетнего Александра Севера (Алексиана Бассиана, правил в 222–235 гг.), отличавшегося исключительно гуманной политикой на фоне всех

своих предшественников в III веке. Определяющим фактором этой гуманности было воспитание нового императора, мать которого, Юлия Мамея, была поклонницей философии Оригена, хотя сама не принимала крещения. Подобно многим другим язычникам, юный Александр признавал Христа как одного из богов, но при этом, в отличие от своего троюродного брата Гелиогабала, он не подчинял его другим богам, а ввел в собственный пантеон наряду с такими «богами», как Аполлон, Орфей и… Авраам. Для эпохи всеобщего синкретизма это было совершенно естественно — многие язычники готовы были признать существование чужих богов, как подданные одного царства признают существование царя из другого царства, совершенно не понимая метафизической разницы между богами своих пантеонов и Богом Библии, низводя его до уровня очередного этнорегионального культа. Но при этом, узнав о том, что какие-то народы и религии весьма почитают каких-то исторических личностей, они с тем же успехом возводились у них в степень очередного божества, и поэтому у них — и Христос мог быть богом с маленькой буквы, и Авраам, и Моисей, и пророк Илия, и Иоанн Предтеча, и кто угодно другой. Из этой логики следовало, что человек может поклоняться Христу, но также должен поклоняться и другим богам, что и происходило в относительно «вегетарианскую» эпоху Александра Севера. Среди мучеников этой эпохи была святая Татьяна (+226), происходившая из знатной и при этом христианской семьи, что к этому времени уже не было большой редкостью. За то, что она отказалась поклоняться языческим богам и, по преданию, разрушала их изваяния своими молитвами, святая Татьяна многократно подвергалась пыткам, пока вместе со своим отцом не была приговорена к усекновению главы мечом, как все римские граждане.

Правление Александра Севера закончилось так же трагично, как и его предшественников, — его властная мать потребовала по своему усмотрению перебросить войска из Германии на Восток, что привело к восстанию легионеров, убивших и самого императора, и его мать.

Разумеется, уроженцам Центральной и Восточной Европы было удобнее охранять Империю в своих регионах, чем на непредсказуемом и чуждом Востоке. В качестве нового императора сами легионеры провозгласили своего командующего Максимина Фракийца (правил в 235–238 гг.), ненавидящего христиан из чувства мести к Александру и его матери, якобы покровительствующих Церкви. Вернулись наиболее мрачные времена одновременно и для Церкви, и для Империи. Фракиец издал специальный эдикт против христиан, особенно против

иерархов Церкви, представлявших в глазах антицерковно настроенных правителей «параллельную власть» над христианами. Будучи весьма чуждым Риму, Фракиец все время проводил в дальних походах, а антицерковные репрессии успели разразиться только в Понте и Каппадокии, то есть в Малой Азии. В этот период погиб Отец Церкви, епископ Римский Ипполит († 236), или иначе папа римский, как именовались с самого начала римские епископы. После святого Иринея Лионского Ипполит Римский является самым крупным обличителем ересей, который был сослан на рудники «чумного острова» Сардиния, где он и принял мученическую смерть.

Недолгой была относительная передышка при Александре, но недолгой был ужас при Максимине Фракийце, убитом своими же солдатами за его жестокость, тут же провозгласившими нового императора, престарелого Гордиана (правил в 238–244 гг.), славного определенным затишьем в отношении различного рода карательных операций, столь свойственных III веку.

После Гордиана императором стал Филипп I Араб (правил в 244–249 гг.), происхождение которого отразилось в его имени. Филипп Араб был префектом претория, то есть начальником военного гарнизона, направленного в 241 году с весьма удачным походом против самого главного и, можно сказать, вечного противника Рима на Востоке — Персидского царства. Легионеры очень любили Филиппа Араба и сделали его регентом при малолетнем внуке Гордиана, а фактически новым императором. Хотя он не отличался миролюбием Александра Севера или Гордиана, он очень хорошо относился христианам, так что существует устойчивое мнение, что Филипп Араб был чуть ли не первым христианином на римском троне. При его правлении в Империи произошло знаменательное событие — в 248 году Рим отпраздновал свое тысячелетие, после чего даже на монетах его стали называть «Вечным городом» (Roma aeterna). И если все римские язычники воспрянули духом, то христиане не предали этому событию особенного значения, чем обрекли себя на целую серию погромов с известными обвинениями в «ненависти к человеческому роду», к которым теперь еще примешались и упреки в антиримских позициях. Филипп пытался остановить этот произвол, но был убит начальником дунайского легиона Децием, желавшим захватить власть по преторианской схеме.

Для Церкви правление Деция Траяна (249–251) ознаменовалось самым чудовищным гонением со времен Марка Аврелия. Деций настойчиво возрождал постепенно забываемый культ императорского гения и приказал всем участвовать в соответствующих жертвоприношениях, а также в 250 году

реанимировал эдикт Максимина Фракийца. Причинами этой нетерпимости, если не считать желания насадить везде культ императора, были ненависть к политике предшественника и советы гражданского наместника Деция в Риме, сенатора Валериана, принципиального антихристианина.

В походе против готов на Балканах Деций утонул в болоте, и его место тут же занял Валериан (правил в 253–260 гг.), решивший управлять столь большим государством не в одиночку, а взяв себе в соправители сына Галлиена (правил в 253–268 гг.). Если на антихристианство Деция влиял Валериан, то на самого Валериана влиял египетский маг Маркиан, видевший в последователях Христа своих главных врагов. В это время среди многочисленных мучеников был сам Ориген (+254), погибший от пыток в тюрьме города Трира. В 257 году Валериан издал дополнительный эдикт, специально запрещающий христианские собрания и предписывающий арестовывать священнослужителей, но этого ему было мало, и в 258 году он издал указ о том, что священнослужителей нужно казнить, христианам из высшего сословия отрубать голову мечом, христианок из высшего сословия высылать в далекие тюрьмы, а исповедующих христианство слуг отдавать в императорские поместья. Среди жертв этого террора был Отец Церкви, епископ Карфагенский Киприан (+ 258), которого сначала отправили в ссылку, а потом казнили на глазах у своих прихожан. На этой фигуре стоит остановиться отдельно.

В период гонений Деция и Валериана особенно остро встал вопрос о единстве Церкви, потому что столь агрессивные репрессии породили две противоположные тенденции, раскалывающие христианские общины изнутри. В определенном смысле эти тенденции воспроизводили противоречия между зелотами и эллинистами I века. С одной стороны, среди христиан появилось много людей, не выдерживающих пыток, а иногда даже и малейших притеснений, что совершенно естественно, потому что если человек принял крещение, то из этого еще не следует, что он стал святым. Однако после того, как репрессии прекращались, многие из них возвращались в Церковь, а если это были бывшие священнослужители, то они даже просили вернуть себе сан. Возникал неизбежный вопрос: как принимать этих людей и принимать ли вообще?

С другой стороны, появились ревнители, жестко выступающие против любых послаблений отпавшим и считающие их навсегда лишенными всякого спасения. Еще будучи пресвитером в Карфагене, Киприан проповедовал, что возвращение отпавших возможно, но только через основательное

покаяние и повторное крещение. В принципе, для сознательного христианина такая мера никогда не может быть унизительной, но по этому поводу возникали не только психологические, но и чисто физические проблемы, потому что таковых людей было слишком много и отдельно взятые приходы не могли справиться с таким количеством отпавших. Кроме того, излишняя недоверчивость и скрупулезность в вопросе о процедуре возвращения отпавших несколько девальвировала мистическую природу Церкви — ведь реальное прощение грехов и крещение происходят силою Святого Духа, которому сознательный христианин уж никак не может не доверять.

Поэтому для большинства пастырей стало ясно, что есть две крайности: не принимать отпавших вообще, чем лишать их надежды на спасение, и принимать всех подряд без всякого покаяния, чем откровенно профанировать саму Церковь, — и обе крайности очевидно нехристианские. Поэтому для одних позиция Киприана была слишком либеральной, а для других слишком зелотской. Когда в 248 году Киприан был выбран епископом Карфагена, то его конкурент, пресвитер Новат, вместе с пятью другими пресвитерами не признал это избрание и откололся от Карфагенской епископии, а после этого совершил еще более страшный поступок — самочинно рукоположил диакона Филициссима, достаточно влиятельного человека в городе. В период гонений Деция Киприан бежал из Карфагена, чем дал повод расколу Новата и Филициссима хозяйничать в Карфагене на правах епископии. Когда в 251 году Киприан вернулся, то состоялся Собор африканских епископов, осудивших раскольников. Тогда сам Новат бежал в Рим, где в это же время произошел другой раскол, но только по противоположной причине. В том же 251 году епископом Римским был выбран пресвитер Корнилий, готовый принимать отпавших не столь строго, как его конкурент, пресвитер Новациан. В итоге Новациан откололся от Римской епископии и образовал собственный раскол. Что весьма показательно в этом процессе, так это то, что более «либеральный» раскольник Новат объединился с более «зелотским» раскольником Новацианом, а объясняется этот парадокс тем, что помимо чисто богословских споров о приеме отпавших обе партии выступали против власти епископов над пресвитерами, считая пресвитерство достаточным для полноты Церкви. Не вдаваясь в тонкости этого вопроса, можно совершенно точно сказать, что в организационном плане для Церкви, постоянно страдающей от внешних гонений и, при этом постоянно расширяющей свое влияние, епископский принцип власти был так же предпочтительнее, как для сражающейся

армии единое командование. Гонители Церкви это очень хорошо понимали и поэтому основной своей мишенью выбирали именно епископов.

А ведь кроме раскольников-пресвитериан, вроде бы во всем православных и только отрицающих власть епископов над собой, были еще и радикальные еретические секты, которые считали себя христианскими, но уже выступали не только против «князей Церкви», но и против самой иерархии. Подобные секты исходили из того, что церковное священство совершенно не обязательно нуждается в каком-либо апостольском преемстве и рукоположениях, а должно быть основано на свободном вдохновении Святым Духом, наделяющим тех или иных людей особой духовной харизмой, позволяющей им выступать от имени Бога без какой-либо внешней санкции.

Ярким примером таких еретиков-харизматиков во II–IV веках было движение монтанитов, названного по имени его основателя, языческого жреца из Фригии Монтана, объявившего себя тем самым Духом-Утешителем (Параклетом), которого обещал Христос и который в его лице пришел всем проповедовать истину, минуя всякую церковную иерархию. И как это часто бывает, у самозваного «утешителя» нашлось много поклонников, называющих себя христианами, но отрицающих любую церковную иерархию, а не то что епископов. Поэтому сторонники сильной и организованной Церкви постоянно сталкивались то с новацианской агитацией, то с монтанистской пропагандой, оказывающими очень большую услугу всем, кто хотел исчезновения христианской Церкви как таковой.

В 260 году император Валериан попал в плен к персам и был там убит. Правление его сына Галлиена было относительной передышкой для Церкви. Хотя сам император находился под влиянием философа Плотина, но зато издал два эдикта, объявляющие христиан свободными гражданами и возвращающие им конфискованное имущество, что было серьезным знаком для Церкви — времена меняются, и христианство становится объективным фактором общественной жизни Империи. Вместе с этим правление Галлиена стало апофеозом того глобального процесса «чехарды тиранов», который историки назвали «кризисом III века». В этот момент Римская империя буквально начала распадаться на глазах, потому что региональные военачальники и царьки почувствовали общую децентрализацию государства, стали провозглашать себя императорами. От Империи фактически откололись Азия, Греция, Западные Балканы, Египет, Галлия, а в Малую Азию вторглись скифы. Историк Требеллий Полион (IV в.) назвал эту эпоху «правлением

тридцати тиранов» по аналогии с режимом Афин 404–403 годов до н. э., хотя реально всех узурпаторов было не более двадцати. В это время сама Церковь представляла собой более организованную структуру, чем Империя.

В 268 году Галлиен был убит заговорщиками, и армия провозгласила новым императором на редкость авторитетного среди римлян полководца Клавдия, рекомендованного при жизни самим Галлиеном и прославившегося разгромом наступающих готов, за что его стали именовать Клавдием II Готским (правил в 268–270 гг.).

Сам Клавдий скоро умер от чумы в Паннонии (Венгрии), и после некоторого замешательства войска признали новым императором Домиция Аврелиана (правил в 270–275 гг.), сумевшего сделать то, что не успел Клавдий, — собрать Империю, во многом в силу своего необычайно воинственного настроя. Про него говорили: «Столько вина не выпить, сколько крови пролил Аврелиан». Вместе с этим он решил найти для Империи объединяющую религию, что само по себе вполне оправданно — такое огромное государство со времен покорения Карфагена нуждалось в общей системе ценностей и общей геополитической миссии, а мифологические конструкции Августа интересовали только тех, кто готов был считать себя наследником Трои, то есть абсолютное меньшинство населения. Но какая вера могла объединить государство, религиозная карта которого напоминала лоскутное одеяло? И Аврелиан не нашел ничего лучше, как, оказавшись со своими войсками в Финикии в 270 году, где он разбил персов, обратиться к тому самому Гелиогабалу, якобы всеобщему богу солнца, способному объединить язычников от Финикии до Испании. Как и печальной памяти Варий Авит Бассиан, Аврелиан начал приносить жертвы Гелиогабалу и построил ему отдельный храм в Риме, а чтобы не сильно уступать новому божеству, надел богато украшенную корону, объявил себя господином (dominus) и самим богом (deus). Фактически Аврелиан завершил те тенденции сакрализации монархической власти, которые восходят к Августу и выражались в эксцессе Гелиогабала. Самообожествление императора сопровождалось введением восточных обычаев поклонения царю и явно контрастировало с римской традицией.

Справедливости ради надо заметить, что желание обнаружить верховного бога, физически сравнимого с солнцем как источником всемирного света, было шагом навстречу монотеизму, хотя и откровенно языческому. Подобная «солярная монотеизация» уже встречалась в истории человечества, достаточно вспомнить неудавшегося реформатора египетского

политеизма, фараона Эхнатона (Аменхотепа IV), правившего в 1351–1334 годах до н. э. и установившего поклонение богу солнечного диска Атону.

Но ошибка Аврелиана была в том, что культ Гелиогабала, как и любого другого бога-солнца, был рядоположен всем остальным языческим культам и не имел за собой никакого философско-метафизического обоснования. Между прочим, вспомним, что самым популярным языческим культом в римской армии того времени был культ солнечного бога Митры Непобедимого, и в этом смысле вполне можно сказать, что накануне победы христианства в Римской империи конкурировали два солярных бога — солярный бог арийского происхождения Митра и солярный бог семитского происхождения Гелиогабал. Гипотетически, если бы неоплатоники III века осознали этот общественный «заказ» на «солярный монотеизм», они вполне могли бы обеспечить его необходимой и относительно непротиворечивой метафизической системой, в которой нашлось бы место и для интеллектуальной элиты, созерцающей безличное световое Единое, и для военно-политического сословия, поклоняющегося более милитаристскому образу бога-солнца, и для простого народа, которому бы объяснили, что все его фольклорные боги никуда не делись, но они лишь определенные «ипостаси» бога-солнца. И можно быть уверенным, что такие проекты существовали, — во всяком случае, то, что мы наблюдаем в Платоновской Академии начиная с Порфирия, вполне похоже на такие попытки. Но какими бы стройными и красивыми ни казались подобные проекты их собственным авторам, все они упирались в неизбежную искусственность и натянутость любого подобного синтеза. Мир античного язычества представлял собой хаос, и сколько бы ни складывать элементы этого хаоса в единую доктрину, она неизбежно распадается на свои слагаемые.

Стремясь утихомирить все религиозные общества, Аврелий даже дошел до того, что поддержал Церковь в деле имущественного спора в городе Антиохии в 272 году, где низложенный за еретические взгляды епископ Павел Самосатский, которого мы еще вспомним, не отдавал свой храм и дом новому епископу, а император стал играть не на раскол Церкви, а на усмирение и решил этот конфликт в пользу законного епископа. Между тем навязывание нового культа требовало жертв, и в 275 году Аврелиан объявил преследование христиан, но не успел развернуть настоящий террор, потому что вскоре был убит заговорщиками. Из погибших в гонения Аврелиана можно вспомнить подвижника Маманта (+275),

прославившегося тем, что натравливаемые на него дикие звери не трогали его, как это уже было и с другими мучениками, за что один языческий жрец заколол его ритуальным трезубцем. В периоды гонений на Церковь языческие вожди чувствовали себя весьма вольготно, потому гораздо больше были заинтересованы в исчезновении христианства, чем сами императоры.

После убийства Аврелиана и связанного с этим замешательства в Сенате легионеры провозгласили императором успешного полководца Проба (правил в 275–282 гг.), довершившего собирание римских территорий и направившего свои легионы на земледельческие и строительные работы, во-первых, потому, что экономику Империи надо было восстанавливать после многолетнего хаоса, а во-вторых, потому, что считал безделье армии в мирное время опасно и по-своему был прав, если вспомнить политическую роль легионеров в III веке, фактически ставших основным источником реальной власти. Но его метод канализации армейской энергии получил обратный эффект, и недовольные легионеры убили его, когда он приказал им рыть водоемы для осушения болот в Паннонии.

Войска признали своим императором префекта претория по имени Кар (сентябрь 282 — июль 283), который тут же назначил себе в преемники сыновей Карина и Нумериана и вместе с последним сыном организовал победоносный поход в Персию, перешел реку Тигр и вдруг был убит молнией.

Сенат признал его наследников императорами, причем Карин по повелению отца уже правил западной частью, а Нумериану оставалась восточная.

Когда Нумериан возвращался из Персии, у него сильно заболели глаза, и он остановился на берегу Босфора, в Халкидоне, где его тайно убил собственный тесть, префект претория Аррий Апт, очередной охотник за императорской властью, скрывавший труп зятя от охраны. Но подлость Апта была раскрыта, и легионеры провозгласили новым императора Диокла, наместника Мезии (район нижнего Дуная), который в знак своей справедливости убил мечом схваченного Апта.

Поселившийся в Риме Карин не признал в Диокле своего коллегу, и они отправились на войну друг с другом и встретились в балканской стране Мезии (нижний Дунай) при Марге, где Карин был разбит войсками Диокла. Надо сказать, что Карин был совсем не популярен в армии, поскольку все свое время в Риме проводил в разврате и издевательстве над подданными, в частности, отнимал у них жен и почему-то думал, что это непотребство будет продолжаться вечно.

История римской власти от Максимина Фракийца до Диокла

называется эпохой «солдатских императоров» (235–284 гг.), а иначе тем самым «кризисом III века», обнажившим варварскую во всех смыслах этого слова сущность государственной системы, основанной на произволе карательного аппарата, а не на общеобязательных законах и нравственных традициях. Как и все части общества, Церковь была одной из жертв этого произвола, но вместе с этим его победительницей, потому что люди, осознающие невозможность такого правопорядка для человеческого существования, все больше обращались именно к христианству.

С концом III века мучения христиан не закончились — их ожидал новый этап выживания и сопротивления, но на сей раз последний.

18. Основание тетрархии

Начиная с Клавдия II Готского, то есть с 268 года, все римские императоры по происхождению были иллирийцами, хотя и не были связаны родственными узами, почему их собирательно называют «иллирийской династией». Иллирия — это территория Западных Балкан, омываемая Адриатическим морем, то есть непосредственный сосед Греции и Италии, где-то даже посредник между ними, а потому сами иллирийцы воспринимались как варвары, наиболее близкие к цивилизованному миру. Правда, необходимо учитывать, что к концу III века, когда уже все свободное население Римской империи выросло в осознании себя римскими гражданами, а на римском престоле успели побывать варвары со всех континентов, само понятие «варварства» существенно размывалось, а равным образом и само представление об истинно римской идентичности. Поэтому то, что еще сто лет назад было невозможно себе представить, теперь было в порядке вещей, как, например, многолетняя череда иллирийцев в качестве «гарантов римской государственности». Иллирийцем был и Диокл, при восшествии на престол сменивший свое имя на подобающее римскому императору — Гай Аврелий Виктор Диоклетиан (правил в 384–305 гг.), и хотя многие воспринимали его как очередного временщика, он продержался у власти более двадцати лет и даже ушел по собственной воле, проживя еще восемь. Подобных рекордов Империя не знала со времен Антонинов, после которых большинство императоров правило не более трех лет, а меньшинство не более шести. Забегая вперед, можно сразу сказать, что Диоклетиан был одним из самых талантливых и одновременно умных правителей Империи за всю ее историю, но при этом весьма противоречивым в своих действиях, вплоть до того, что, имея все шансы остаться в памяти Церкви как настоящий, Богом данный царь, он дискредитировал свое имя чудовищными и практически ничем не объяснимыми гонениями на христиан.

Секрет успеха Диоклетиана заключался в том, что вопреки «священной» традиции при захвате власти каждого нового императора устраивать акцию тотального унижения и ограбления их бывших неприятелей Диоклетиан в этой смуте не отнял ни у кого «ни имущества, ни славы», как писал о нем историк Аврелий Виктор (IV в.). При довольно либеральном отношении к подданным, во всяком случае на фоне предшествующих узурпаторов, Диоклетиан вдруг совершил то, что вполне ожидали от любого нового правителя в те времена, а именно — объявил

себя единоличным правителем Империи и отменил принципат, как смешную фикцию. Действительно, если уже скоро как три столетия звание «первого среди равных» консула означает пустую формальность, то зачем обманывать себя и других людей? Мы можем вспомнить, что многие императоры начинали и заканчивали свое правление с самопревозношения до небес, но все они действовали в рамках фиктивного права и сохраняли его преемникам.

Диоклетиан отменяет эту фикцию и вводит новую систему, которую историки назовут «доминат» от основного обращения, которое новый правитель вслед за Аврелианом ввел в отношении себя — dominus, то есть «господин» или «государь», предполагающую на тот момент, что все остальные люди становятся его слугами и рабами. Конечно, это был полный конец западного римского республиканизма и максимальное приближение к восточному деспотизму. Обращаться к себе формулой «dominus et deus» («господин и бог») требовали еще Домициан и Аврелиан, но у Диоклетиана это стало официальной традицией. В этой связи само понятие «император» отходит на второй план, поскольку оно все-таки имеет республиканское происхождение и означает держателя «империума», а не «божественного василевса» в азиатском смысле слова как наместника божественной воли на земле и посредника между миром людей и богов. Иными словами, такие понятия, как imperator, ceasar, princeps, — это республиканские функции, предполагающие существование определенного гражданского права. Dominus — это религиозное понятие, предполагающее существование соответствующей онтологии.

В подтверждение своего нового статуса бывший сын вольноотпущенника Диоклетиан практически скопировал этикет и эстетический антураж своего двора с восточных монархий, подобно тому, как это уже делали правители эллинистических государств. Из чисто римских элементов его нового пышного костюма можно отметить разве что пурпурный плащ — атрибут императора. В придворный церемониал отныне входило обязательное падение перед «господином и богом» ниц и целование края его одежды. Отныне комитет по сборам налогов также назывался «комитетом священных щедрот» (sacrarum largitionum).

Так Римское государство через триста лет после Августа восстановило то, чего так боялись во все его времена, что всячески прятали за другими названиями, — восстановило Римское царство. Правда, с чисто юридической точки зрения это не совсем так, потому что сама система магистратов сохранилась

и Диоклетиан, соблюдая эти формальности, был девять раз консулом и двадцать два раза трибуном, но какое и для кого это имело теперь значение? Другая правда заключается в том, что это новое царство нельзя в полной мере назвать римским — резиденция Диоклетиана находилась в Никомедии, столице Вифинии в Малой Азии, том самом городе, где юный Цезарь учился восточному этикету у царя Никомеда. Сам Рим Диоклетиан не любил и практически не бывал там, хотя много сделал для собирания и укрепления его территорий.

Однако при всем декларативном монархизме Диоклетиана уже в 285 году он официально объявляет при себе… *цезаря*, которым становится его давний соратник и единоплеменник Максимиан, а в следующем, 286 году за подавление восстания багаудов (крестьян-повстанцев) в Галлии новый цезарь получает титул августа. Поскольку сам Диоклетиан прибавил к своему длинному императорскому имени величание Jovius (Юпитеров), а август Максимиан величание Herculius (Геркулесов), то последний известен также по имени Максимиан Геркулий. Подобно иным своим предшественникам, оба августа разделили Империю пополам: Диоклетиан, естественно, решил управлять восточной частью с центром в Никомедии, а Максимиану Геркулию предложил западную часть с центром в городе Медиолане (Милане). Как мы помним, в истории Рима не раз случались подобные разделения сфер влияния, и с управленческой точки зрения они абсолютно оправданны — Римская империя была слишком обширным государством, чтобы одновременно успевать думать о том, что происходит на ее разных концах в эпоху, когда кроме лошадей и парусных кораблей более быстрого способа передвижения по земле не существовало. Более того, есть еще одно обстоятельство, вынуждавшее политическое пространство Средиземноморья периодически раскалываться на две части, — это лингвистическая разница между его Востоком и Западом. Греция, Фракия и все азиатские провинции Империи говорили на греческом, а вся Западная Европа и Иллирия, соответственно, на латинском языке. Греческий язык также преобладал на юго-восточном побережье Италии и Сицилии, сохранившись с тех пор, когда эти территории назывались «Великой Греций». На Африканском континенте Египет и Ливия говорили на греческом, а Карфаген и Мавритания на латинском. Заметим, что географическая и лингвистическая обособленность Средиземноморского Запада от греко-восточного, эллинистического мира имела своим последствием, с одной стороны, его большую защищенность от азиатских культурных влияний, а с другой — длительное отставание от грекоязычного

мира в философско-богословском контексте. Даже такие столпы Западной Церкви III века, как святой Ириней Лионский и святой Ипполит Римский, писали по-гречески, а сама Библия была переведена на латынь только в 384 году святым Иеронимом Стридонским. Поэтому даже на уровне интеллектуальной культуры между Востоком и Западом Средиземноморья пролагала существенная граница.

В 293 году Диоклетиан осуществляет фундаментальное нововведение, которое в гораздо большей степени повлияет на ход европейской истории, чем все его реформы, вместе взятые, — он делит Империю уже не на две, а на четыре зоны ответственности, что называется «тетрархией» (власть четырех). Для этого Диоклетиан и Максимиан пригласили себе в соправители двух самых авторитетных полководцев римской армии, назначенных отныне *цезарями*, — Галерия и Констанция Хлора, отца будущего императора Константина. Самое интригующее в этом неожиданном нововведении было обещание Диоклетиана уйти в отставку вместе с Максимианом через двадцать лет и передать власть новым цезарям. Предполагалось, что отныне каждые двадцать лет бывшие цезари будут становиться августами, назначать новых цезарей, а через двадцать лет делать их августами и уходить в отставку, в то время как новые августы будут еще на двадцать лет назначать новых цезарей, и эта система преемственности тетрархии обеспечит Империи стабильность.

Для закрепления политического единства каждый полководец должен был развестись со своей женой и породниться с августами, что для эпохи династических отношений было в порядке вещей: если интересы безличного государства, народа, рода по определению важнее личных отношений, то пожертвовать одной женой и обрести другую считалось вполне нормальным. Да и кто из политиков языческой страны мог упрекнуть их в том, что ради головокружительного повышения социального статуса они отказались от своих жен?

Галерий развелся со своей супругой и женился на дочери Диоклетиана Валерии, получив в управление Иллирию, а фактически все Балканы. Констанций Хлор развелся со своей супругой Еленой — матерью Константина — и женился на падчерице Максимиана Феодоре, получив в управление Галлию и Британию.

Таким образом, непосредственная территория ответственности восточного августа Диоклетиана и западного августа Максимиана сократилась, а к ним добавилась власть восточного цезаря Галерия и западного цезаря Констанция Хлора.

Столицей территории Констанция Хлора был город Августа Треверорум, известный сейчас как Трир (на самом западе Германии, у границ с Люксембургом). Как и все геополитические решения, выбор Трира был не случайным. Здесь проходила фактическая граница между римско-галльским и германским миром, откуда в отношении Римской империи исходили постоянные угрозы варварских нашествий. К этому времени галлы были уже более романизированы, чем германцы, хотя проблемы с ними еще будут. Именно поэтому в этом городе уже была столица так называемой Галльской империи — очередного сепаратистского образования, просуществовавшего в недавнюю эпоху «тридцати тиранов» с 260 по 274 год, когда последний галльский император Тетрик сдался собирателю римских колоний Аврелиану. Отныне эта территория называлась префектурой Галлия, включающей в себя также Британию, Германию и Испанию. Британским форпостом Империи был город Эборак на севере Англии, ныне известный как Йорк. Столицей территории Галерия был город Сирмий, ныне сербский город Сремска-Митровица, рядом с Белградом, а префектура Иллирия охватывала Балканско-дунайский регион, откуда Римской империи постоянно угрожали своими нашествиями воинственные готы. Столицей территории Максимиана был Медиолан (Милан) на севере Италии, а в его префектуру входили Италия и Африка. Столицей территории самого Диоклетиана оставалась Никомедия, и ему фактически принадлежало все Восточное Средиземноморье — самая культурная и одновременно самая сложная во всех отношениях часть Империи.

Каждая префектура была разделена на *диоцезы*, изначально означавшие городские округа, но теперь превратившиеся в более крупные территории, включающие в себя несколько городских округов. При Диоклетиане было двенадцать диоцезов, впоследствии их станет пятнадцать. В свою очередь, каждый диоцез делился на *провинции*, которые раньше были самыми крупными административными единицами Империи, а теперь самыми мелкими. Всего в Империи насчитывалось около ста провинций, и их число периодически менялось. А что же Рим? Рим оставался номинальной столицей единого государства, но фактически он уже никогда не будет его реальной столицей, представляя собой скорее символ политической власти, чем саму власть. Реально Рим подчинялся префекту города (praefectus urbis), но в случае каких-либо указаний, конечно, должен был слушаться Максимиана, а также самого «господина и бога Диоклетиана».

Таким образом, систему Диоклетиана мы одновременно

называем и доминатом, и тетрархией, в чем кроется очевидное противоречие, скорее уж ее можно назвать системой «четырех доминатов». Ведь во времена принципата ни один человек, кроме императора, не получал столько власти, сколько было у Максимиана, Галерия и Констанция на своих территориях, если только не вспомнить отдельные случаи временных разделений сфер влияния (из последних — между сыновьями Кара в 282–283 гг.). Последствия разделения Империи на четыре префектуры были весьма противоречивы. С одной стороны, оно было абсолютно оправдано с точки зрения управленческой эффективности, но, с другой стороны, полномочия соправителей были настолько широки, что фактически мы имеем дело с четырьмя царствами (кесарствами) в рамках одной Империи, как это можно было наблюдать в империи Александра Македонского. Подобная система целиком и полностью зиждилась на доверии августов и цезарей друг к другу, и, к удивлению многих, это доверие действительно было, во всяком случае, до отставки Диоклетиана, которого все они очень уважали за такие роскошные подарки, и правильно делали, — если власть подарена, то всегда нужно помнить дарителя. Но были две явные проблемы, которые тут же скажутся после ухода дарителя. Во-первых, доверие к дарителю не означало доверия к другим обладателям столь щедрых подарков, и никаких гарантий их взаимной поддержки в дальнейшем не было. Мысль о том, что она будет держаться на родственных связях, была вопиющей наивностью: если человек предал свою прежнюю жену ради власти, то уж предать родственников новой жены, обретенной исключительно ради этой самой власти, ему ничего не стоит. Во-вторых, колоссальным недочетом тетрархии было отсутствие четко прочерченных демаркаций между префектурами в тех местах, где естественных границ между ними не было, — в Центральной и Восточной Европе, а также Африке. В итоге разделение Империи на четыре части, мотивированное самыми благими соображениями, заложило геополитические основы ее будущего распада.

Усложнение системы имперской власти и в иерархическом, и в территориальном отношении, а также введение Диоклетианом новой системы налогообложения потребовало развития большого бюрократического аппарата, так что, по словам христианского историка Аактанция, число сборщиков податей превысило число тех, кто должен был платить эти подати. Другой особенностью правления Диоклетиана была, по словам того же автора, безудержная страсть к строительству в крупных городах за счет провинций, причем если императору не нравились построенные

здания, то он приказывал их перестраивать, прежде всего в Никомедии, которую он стремился уподобить Риму. В самом Риме император построил сохранившиеся до наших дней термы, которые по своей красоте и роскоши сравнивают только с термами Каракаллы. Однако какие бы мы ни перечислили достижения и провалы политики Диоклетиана, для христиан его имя связано с одной из самых страшных страниц в истории Церкви.

19. Гонения Диоклетиана

Семнадцать лет относительно стабильного правления Диоклетиана Церковь не испытывала от него никаких особых притеснений, а если отсчитывать от предсмертного эксцесса Аврелиана в 275 году, то все двадцать семь лет христиане чувствовали себя в Римской империи так, как и в любой иноверческой стране, где их не очень любят, но терпят.

Начало религиозно-политической активности Диоклетиана мы наблюдаем в 296 году, когда он в особом указе проконсулу Африки запрещает религию активизировавшихся там манихеев. Во всех странах манихеев преследовали очень жестко, но это неудивительно, потому что сама их религия была абсолютно опасной для любого общества, и можно только представить себе, как бы они преследовали оппозицию, если бы политическое манихейство когда-либо пришло к власти. Название этой религии происходит от имени своего основателя, перса Мани (216–273), создавшего своеобразный синтез буддийско-зороастрийско-вавилонских религиозных элементов, который на авраамической почве стал чрезвычайно близким самому экстремистскому гностицизму, так их вполне можно спутать. Из своеобразной философии манихейства следовало, что в основе бытия заключен радикальный дуализм мира света и мира тьмы, в котором первый фактически отождествляется с духовными началами, а второй с материальными, поэтому само существование человека в этом мире является большой трагедией, и для того, чтобы «спастись», нужно вести ультрааскетический и совершенно асоциальный, изолированный образ жизни. Онтологизация зла в манихействе достигает своего предела. Мир духа привносит в мир материи своих мессий, среди которых последним был сам Мани, а до него… библейские праотцы. Дело в том, что манихейство удачно использовало элементы многих религий и поэтому его пропаганда имела большой успех. Уход в секту манихеев означал для многих полное отречение от окружающего мира, понимаемое не по-христиански, а сугубо по-язычески — как отречение от самой материи. Но еще опаснее, если какой-то манихей захочет не уйти из этого мира, а изменить его, называя злом реально существующих людей, народы и государства.

Именно поэтому в тоталитарных идеологиях XX века часто ищут манихейско-гностические корни. Важно отметить, что всегда находились христиане, воспринимающие свою веру абсолютно по-манихейски, что также сказывалось на специфической интерпретации библейской картины мира и

историософии. Манихейский дуализм идеально ложился на самое экстравагантное направление в гностицизме — маркионизм, получившее свое название от имени гностика Маркиона (85–160), спроецировавшего гностический дуализм на христианское вероучение и получившего на выходе радикальную оппозицию Ветхого и Нового Завета. По Маркиону, Христос явился в этот злой мир для того, чтобы свергнуть власть его создателя, злого демиурга, который отождествлялся им с Богом-Творцом Ветхого Завета. Из этого следовало, что официальное христианство представляет собой искажение в пользу ветхозаветного злого демиурга, а истинная маркионитская церковь всегда будет бороться с этим миром, а не идти с ним ни на какие компромиссы.

Необходимо понимать, что в первые века христианства, когда его догматика не была систематически изложена и утверждена на общецерковном уровне, среди самих членов Церкви, а тем более их противников представления о сущности христианства вполне могли быть похожи на манихейские и маркионитские мифы, что наносило огромный вред Церкви.

Вполне возможно, что Диоклетиан, равно как и многие другие гонители христианства, имел о нем соответствующие представления как о какой-то асоциальной секте по типу манихейской. Плохо, когда политик не разбирается в религии, которую собирается преследовать. Но еще хуже, когда представители этой религии своими декларациями и поведением дают ему превратные представления о ней.

В III веке был один показательный прецедент такого поведения, когда в 211 году на раздаче подарков по поводу вступления на престол нового императора Каракаллы один солдат-христиан пришел без церемониального венка на голове, не имеющего никакого религиозного значения, чем, безусловно, оскорбил императора. Все христиане тогда осудили его за это неадекватное поведение, и только такой ригористически настроенный богослов, как Тертуллиан из Карфагена, первый латиноязычный христианский автор, похвалил его в своей работе «О венке». Подобное отношение к земному миру прямо противоречило христианству и весьма походило на манихейские крайности. Именно этому автору принадлежит риторический вопрос: *«Что общего между Афинами и Иерусалимом*?», на который сам Тертуллиан (160–220) всей своей философией отвечает отрицательно. Но если между Афинами, то есть античной интеллектуальной культурой, и Иерусалимом, то есть христианской верой, нет ничего общего, то никакое богословие невозможно, а не то что формирование христианской

интеллектуальной культуры в целом. Не случайно сам Тертуллиан отпал от Церкви и стал приверженцем ереси монтанизма, где никакая рациональность совершенно не требуется. Конечно, не только в отрицании нехристианской философии, но и в ее недостаточно критическом восприятии для христианского богослова существует риск незаметно для самого себя впасть в ересь или вплотную приблизиться к ереси, как это случилось с великим мыслителем Оригеном. Однако если бы церковные богословы III—:1V веков пошли путем Тертуллиана, то они не смогли бы написать ни одного догмата, не говоря уже о том, что они не смогли бы достойно полемизировать с языческими философами, но они все-таки пошли путем Оригена, то есть путем того самого Александрийского прорыва и сквозь препятствия и неудачи составили то догматическое и социальное богословие, которым Церковь пользуется до сегодняшнего дня и которое привлекает к ней тысячи интеллектуалов. Поэтому те христиане, которые из ревности не по разуму (Рим. 10: 2) демонстрировали свое презрение к окружающему миру, совершенно в духе манихейства, искажали образ Церкви в восприятии других людей и тем самым делали Церкви только хуже. Нельзя сказать, что таких христиан в первые века было слишком много, сохранившаяся литература того времени не дает нам оснований так полагать, но даже один такой христиан, как тот солдат при Каракалле, мог спровоцировать очень большие проблемы у других своих братьев по вере и вместе с этим отпугнуть от Церкви таких людей, которые бы своим обращением ко Христу повлияли на обращение сотен других людей.

Между тем император Диоклетиан вполне мог иметь о христианстве искаженное представление, но не до такой степени, чтобы отождествлять его с какой-либо версией запрещенного в 296 году манихейства.

Во-первых, в окружении императорского двора христиане уже давно не были экзотикой, достаточно сказать, что не кто-нибудь, а сама жена Диоклетиана Приска и его дочь Валерия, супруга цезаря Галерия, были христианками и не скрывали этого, о других придворных можно и не вспоминать. Даже в самой армии, которая наравне с деревней была наиболее трудной средой для церковной миссии, вера в Христа была вполне нормальным явлением. И отличить нормального христианина от любого сектанта манихейского типа было совсем не сложно — эта разница бросалась в глаза, нужно было только их открыть.

Во-вторых, тот же приказ против манихеев Диоклетиан направил в далекую Африку, потому что именно там манихеи напомнили о себе, а христианство к концу III века было

распространено почти в любом более-менее крупном городе, и император не мог не знать, что это одна из самых активных религий Империи.

Имеет смысл задаться вопросом: Диоклетиан начал гонения на Церковь, потому что преследовал конкретные религиозноидеологические цели или потому что в какой-то момент увидел в Церкви опасность для своей власти и Империи в целом? Отношение Диоклетиана к религии как таковой остается вопросом.

Выдающийся церковный историк А.В. Лебедев (1845–1908) в своем исследовании «Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом» подробно доказывает тезис о том, что *«вся его жизнь, все его царствование носит религиозную окраску»* и что он *«в своей религиозности был истым римлянином, искавшим именно в древней римской религии пищи для своего духа».* По А.В. Лебедеву, Диоклетиан с самого начала задумал не только политическое восстановление Империи, но также восстановление ее духовных римско-языческих основ, для чего неизбежно пришлось бы расправиться с христианством, но *«борьба с христианством была заключительным звеном в программе реформирования римского государства, и это было потому, что Диоклетиан сначала хотел собраться с силами, а потом уже ринуться на христианство».* Если все это действительно так, то тогда Диоклетиан был с самого начала великим врагом христианства, гораздо более коварным и опасным, чем все другие гонители, и никакой снисходительный тон в его сторону со стороны христианских историков неуместен.

Но Диоклетиан не похож ни на миссионера какой-либо религии, подобно Гелиогабалу, ни на интеллектуала, подобно Марку Аврелию. Если он столь любил римскую национальнорелигиозную традицию, то почему он тогда фактической столицей империи сделал азиатскую Никомедию, практически не бывал в Риме, а весь церемониал своего двора срисовал с восточных образцов? Возможно, он не столько хотел возродить римскую религию, сколько найти некий римско-восточный синтез и чувствовал себя его жрецом, чем и объясняется его пристрастие к пышной ритуальной эстетике, не свойственной достаточно строгому на этот счет Риму? Кроме того, если он с самого начала задумал уничтожить Церковь, то почему довел дело до того, что христианство проникло в его семью и чуть ли не превращалось в придворную политическую силу, чего никогда не было раньше? Он мог не устраивать все эти семнадцать лет кровавые репрессии, но он мог ограничить

влияние Церкви любыми другими способами. При нем положение христиан достигло такого уровня, что некоторых членов Церкви из числа начальников и военачальников освобождали от обязанности присутствовать при принесении жертв языческим богам. Даже если допустить мысль о религиозно-политических устремлениях Диоклетиана, которые вполне могли быть, то его никак нельзя упрекнуть в той навязчивости этих устремлений окружающим, которые обычно бывают в таких случаях. Именно поэтому его гонения на Церковь были гораздо неожиданнее всех прочих. Даже про весьма толерантного Аврелиана христианам было известно, что он готовит утверждение нового религиозного культа.

Скорее всего, Диоклетиан оказался жертвой довольно длительного и убедительного влияния на него со стороны антихристианской партии в самом широком смысле этого слова, что, конечно, никак его не оправдывает. Диоклетиан действительно хотел Империи процветания и побед, но ему нужно было объяснить, почему далеко не все получается и откуда может прийти основная беда. Антихристианское лобби давало ему на этот вопрос готовый и незамысловатый ответ. Однажды на очередном гадательном жертвоприношении авгуры сказали ему, что не могут ничего узнать по печени принесенных в жертву животных, потому что кто-то из присутствующих придворных христиан перекрестился при виде этого зрелища. Тогда Диоклетиан обратился со своей просьбой к оракулу Аполлона Милетского, который обвинил в неудачах всех гаданий не кого-нибудь, а именно христиан. Если за Аполлона говорил не сам дьявол, то уж точно его жрецы, и нужно было слишком верить в этот культ, чтобы доверять такому ответу.

Существенную роль в настраивании Диоклетиана против Церкви сыграл Галерий, антихристианские убеждения которого не вызывают никаких сомнений, даром что женат на христианке (мы помним, почему он был женат на ней). Зато мать Галерия была почитательницей каких-то богов гор (римского Сильвана?) и резко выступала против христиан. Зиму 302 года Галерий проводит вместе с Диоклетианом в Никомедии, а в 303 году впервые за двадцать семь лет от имени римского императора против Церкви последовательно выходит целых три эдикта — первый предписывал разрушить все церкви, изъять все Библии и богослужебные книги, а также запретить все церковные собрания; второй предписывал арестовать всех священнослужителей; третий приказывал всем гражданам Империи совершить жертвоприношение языческим богам, а в случае отказа гарантировал смертную казнь. Первыми принести

жертвоприношения должны были люди из непосредственного окружения Диоклетиана и Галерия, и тогда христианки Приска и Валерия подчинились воле своих царственных мужей.

Аналогичный эдикт, уже четвертый по счету, вышел в 304 году. Так началось самое страшное гонение на Церковь за всю историю Римской империи. И так начинался IV век, о значении которого в истории христианства тогда никто не подозревал, потому что количество жертв этих гонений превысили каждое из предшествующих. Однако последствия эдиктов Диоклетиана касались не только его правления — они позволили всем остальным правителям имперских территорий, какие еще будут до Константина, также относиться к Церкви, как бы продолжая его религиозную политику. Ведь для всех них он был примером, подобным Августу.

Если мы откроем подробный православный календарь и посмотрим на даты смертей большинства русских новомучеников XX века, то увидим, что они, как правило, выпадают на 1937–1938 годы. Если мы посмотрим на годы смертей большинства древних мучеников, то они, как правило, выпадают на начало IV века, начиная с гонений Диоклетиана и заканчивая гонениями всех соперников Константина. Перечислять их придется долго. Из наиболее известных святых мучеников непосредственно при Диоклетиане были убиты за веру Прокопий Кесарийский (+303), Георгий Победоносец (+303), Евфимия Всехвальная (+304), Анастасия Узорешительница (+304), Параскева Пятница (+305) и многие другие. На территории августа Максимиана были убиты святые мученики Пантелеймон (+305), Екатерина (+305), Федор Тирон (+306), Димитрий Солунский (+306) и многие другие. Иных христиан, которых не пришлось убить, Диоклетиан посылал в Рим на строительство своих знаменитых терм.

При этом в Римской империи была одна территория, где никаких казней не было, — это самый запад Европы: Галлия, Британия и Испания, потому что ими управлял Констанций Хлор. Правда, для отчетности и отвода глаз верноподданных Диоклетиана ему пришлось разрушить несколько храмов, но никаких убийств христиан он не совершал. И тогда все христиане посмотрели в сторону цезаря Констанция Хлора.

Часть 4. ЦЕЗАРЬ ГАЛЛИИ

20. Откуда мы знаем о Константине

Как о любом историческом деятеле масштаба Константина Великого, об этом римском императоре написано очень много более или менее серьезных и интересных исследований. И так же как об очень многих исторических деятелях далекого прошлого, непосредственных источников о жизни Константина Великого очень мало. Авторы этих источников вспоминали только те события, которые имели историческое значение для Церкви и для Римской империи, что уже немало, но если мы попытаемся изложить всю оставшуюся информацию о нем без лишних рассуждений и интерпретаций на бумаге, то она займет несколько страниц, и часть этой информации мы уже прочли. Но вот только без рассуждений и интерпретаций понять эти страницы не получится. Абсолютное большинство непосредственной информации о жизни и деяниях императора Константина мы знаем из трех основных источников, за отсутствием которых он остался бы в истории полумифической фигурой наподобие легендарных основателей Рима. Эти три источника — «Жизнеописание блаженного василевса Константина» епископа Кесарийского Евсевия, «Церковная история» Сократа Схоластика и «О смертях преследователей» Лактанция. Все три текста написаны христианскими писателями, и все они являются крупнейшими классическими источниками не только по церковной истории IV века, но по истории поздней Античности вообще.

Самым подробным источником по истории жизни императора Константина остается его биография, написанная епископом Евсевием Кесарийским (260–240). Евсевий родился в Палестине и учился в христианских школах Иерусалима и Антиохии, столицы Сирии. Иногда Евсевия Кесарийского называют Евсевием Памфилом, якобы по имени его отца-священника, но на самом деле пресвитер Памфил — это его учитель, повлиявший на него, в частности, как большой поклонник Оригена. Впрочем, в III — начале IV века трудно было быть христианским интеллектуалом и не преклоняться перед беспрецедентным на тот момент философским гением этого автора в контексте развития христианского богословия. Служа в Кесарии Палестинской, Евсевий смог сохранить в период гонений Диоклетиана весь фонд местной церковной библиотеки, а также приобрел очень много документов по церковной истории во время вынужденного путешествия по Сирии, Египту и Фиваиде. В 313 году, то есть в год издания Медиоланского эдикта, о котором мы еще вспомним,

Евсевий стал епископом Кесарии. Самой известной работой всей его жизни является «Церковная история» в десяти книгах, повествующая об истории христианства с момента его возникновения и до 324 года. С этой большой работы начинается вся христианская историография, и она обеспечила Евсевию справедливое звание основателя жанра церковной истории. В качестве дополнения к этой работе можно считать и «Жизнеописание блаженного василевса Константина», к которому, в свою очередь, прилагаются два панегирика Константину — по случаю двадцатилетия его правления в 326 году и по случаю тридцатилетия его правления в 336 году. При этом в самом «Жизнеописании» Евсевий приводит другие свои речи, а также несколько речей самого императора Константина.

Отдельную проблему для исследователей, относящихся к Константину с предубеждением, составляет «Слово василевса Константина, написанное к сообществу святых», которое является самым крупным и на редкость подробным текстом, написанным от имени императора, обстоятельно излагающим его мировоззренческие позиции. С их точки зрения, этот важнейший текст был написан либо кем-то другим, например самим Евсевием, либо под определяющим влиянием кого-то другого, в первую очередь самого Евсевия. На самом деле в отношении самого Константина этот вопрос вообще ничего не меняет, потому что даже если представить себе, что это обращение от начала и до конца написано другим человеком, то император в любом случае ознакомился с ним и одобрил его, а поэтому цитировать «Слово к сообществу святых» в качестве изложения идей Константина абсолютно оправданно. В конце концов, функция спичрайтера в большой политике была всегда и поэтому вопрос надо ставить не столько о том, кто написал это обращение, сколько о том, в какой степени сам Константин придерживался изложенных в нем взглядов. Подозревать Константина в несогласии с этим обращением нет никаких оснований, ибо оно вполне отвечает умонастроению образованного политика Римской империи поздней Античности, принимающего христианство в зрелом возрасте. С нашей точки зрения, также нет никаких оснований считать, что эту речь написал не сам Константин.

Между тем, обращаясь к работе Евсевия, необходимо иметь в виду два крайне важных обстоятельства, характеризующие позиции этого автора.

Во-первых, Евсевию были свойственны чрезвычайный религиозный пафос и весьма напыщенная манера изложения, бросающиеся в глаза не только любому современному читателю, но даже его современникам. Можно сказать, что Евсевий был

одним из зачинателей стиля, специфического для восточнохристианской (византийской) словесности и во многом обусловленного встречей двух стихий — церковной проповеди и позднеантичной поэзии. Поэтому для вычленения чистой биографической информации в работе Евсевия читателю периодически приходится различать фактический материал и его гиперболизацию. Справедливости ради нужно сказать, что эта вычурная манера в большей степени свойственна именно «Жизнеописанию Константина», чем другим работам Евсевия, потому что сам предмет описания — император Римской империи и сам повод описания — подаренная им победа Церкви над язычеством — заставляют автора прибегать к жанру торжественной речи. В принципе, само «Жизнеописание Константина» уже представляет собой апологию Константина, после которого пространные панегирики в честь двадцатилетия и тридцатилетия правления императора читаются уже как продолжение того же самого текста.

Во-вторых, главная проблема в восприятии Евсевия как христианского автора состоит в том, что хотя он был основателем самого жанра церковной истории и подробнее других описал победу Церкви мучеников над вчерашними гонителями, его личная богословская позиция остается загадкой. В «Жизнеописание Константина» Евсевий с торжествующим пафосом описывает события Никейского Собора и победу православия над ересью арианства, но мы знаем, что сам автор на всех этапах борьбы никейцев и ариан в большей степени выступал на стороне последних, хотя радикальным арианином он не стал, но его вполне можно назвать полуарианином. Для православного сознания это довольно неутешительный факт, и получается, что в своей апологии Никейского Собора Евсевий то ли лукавит как придворный историк, вынужденный описывать поражение собственной «партии», то ли вообще не видит в этом конфликте серьезной богословской проблемы. Попытаемся несколько сгладить разочарования по этому поводу. Если Евсевий был арианином, то его биография Константина становится более объективным историческим источником, чем кажется на первый взгляд, потому что автору тогда не нужно добавлять «никейской партии» больше достоинств, чем у нее было, а также нет смысла придумывать лишние обвинения против ариан, — приходится лишь описывать то, что было на самом деле. Тем более это касается подробностей жизни и характера самого Константина, который и de facto, и de jure нанес арианству основное поражение, и ни один арианский и полуарианский автор не может к нему хорошо относиться после этого поражения. Из этого

следует, что, скорее всего, Евсевий относился к тем участникам православно-арианских споров IV века, которых они действительно не очень интересовали. Евсевий был в первую очередь историк, а не богослов и действительно мог не осознавать всей метафизической глубины, а вслед за ней и всей правоты антиарианской Позиции. Поэтому, каких бы арианских и полуарианских взглядов ни придерживался Евсевий, на его «Жизнеописании Константина» они никак не отразились. Заметим, что по вопросам биографии Константина нет более объемного исторического источника, чем «Жизнеописание блаженного василевса Константина», составленное Евсевием Кесарийским.

В начале «Церковной истории» Сократа Схоластика (380–439) сразу оговаривается, что эта работа представляет собой продолжение «Церковной истории» Евсевия, то есть начинается с 324 года, а заканчивается в 439 году. Также автор прямо высказывает недовольство манерой изложения Евсевия, который *«больше заботился о торжественности речи, чем о точном раскрытии событий»*, в то время как Сократ *«не будет заботиться о высокопарности языка»*. Свои принципы изложения исторического материала Сократ возводит к беспристрастному греческому историку Фукидиду, и, действительно, его текст выгодно отличатся от Евсвиева практически полным отсутствием лишних слов, но в то же время в плане вычленения чистой фактологии работа Сократа сильно уступает работе Евсевия. Учителями Сократа были неоплатоники-александрийцы Элладий и Аммоний, оказавшиеся в Константинополе, где все время жил сам Сократ. Есть версия, что в дальнейшем Сократ учился у софиста Троила. В любом случае о нем можно сказать, что он хорошо знал и уважал греческую философию и плохо знал догматическое церковное богословие, которое ему, по всей видимости, казалось слишком умозрительной. Подобное отношение к догматическому богословию роднит его с Евсевием, хотя именно они оставили нам подробное описание Никейского Собора. Его прозвище Схоластик в буквальным смысле означает представитель «схолы», то есть школы, что в эпоху поздней Античности могло подразумевать разные смыслы то ли философской школу, то ли юридическую контору. Обращают на себя внимание редкая для того времени независимость этого автора и относительная сухость его текста, что его резко отличает от абсолютно ангажированного текста Евсевия. Правда, выдвигается гипотеза о его приверженности к исчезающей в V веке группе новациан, поскольку он слишком вольно описывает деятельность епископов, но это только гипотеза. В своей работе

Сократ Схоластик высказывает много объясняющую мысль в церковной историографии: *«Когда Церковь в мире, церковному историку описывать нечего»*.

В отличие от Евсевия и Сократа, Луций Целий Фирмиан Лактанций (250, Африка — 325, Галлия) был не только историком, но и богословом, стремившимся не только к тому, чтобы изложить официальную церковно-имперскую историософию, как Евсевий Кесарийский, или, наоборот, беспристрастно представить объективный ряд фактов, как Сократ Схоластик, а еще тому, чтобы повлиять на умы современных ему интеллектуалов римской культуры. Лактанций был ритором и большим ценителем латинской литературы. Когда в 303 году Лактанций принял крещение и начал писать апологетические тексты в защиту христианского вероучения, то он внес огромный вклад в развитие латиноязычной церковной литературы, которая до сих пор существенно уступала греческой. Фактически Лактанций сделал то, что не смог и не захотел сделать основатель латиноязычного богословия Тертуллиан — найти общий язык между христианством и античной интеллектуальной культурой на латинской почве. Поставленных целей Лактанций добился настолько, что уже Отец Церкви Иероним Стридонский, переводчик Библии на латинский язык, называет его «христианским Цицероном» за изящество слога и следование классической «цицероновской» латыни. Так же как и Евсевий, Лактанций был приближен к Константину, когда в 317 году был приглашен в ставку императора в Трире, чтобы стать воспитателем сына Константина Криспа. Свое главное богословское произведение «Божественные установления» Лактанций посвящает именно Константину. Интересующее нас в этом контексте произведение «О смертях преследователей» (De mortibus persecutorum) — это история ухода из жизни таких гонителей Церкви, как Нерон, Домициан, Валериан, Диоклетиан, Галерий, Максенций и Максимин. В этом списке не случайно забыты Адриан и Марк Аврелий, что объясняется желанием Аактанция быть услышанным римскими интеллектуалами, для которых память этих императоров из династии Антонинов была неприкосновенна. Если работы Евсевия Кесарийского и Сократа Схоластика описывают жизнь Константина вплоть до его смерти и погребения, то книга Сократа Схоластика заканчивается на 313 годе, когда Константин издал Медиоланский эдикт.

Лактанций удачно обращается к сюжетам и цитатам из латинской литературы для выражения христианских смыслов и обнаружения культурной связи христианской и римской историософии, что с момента христианизации Империи станет

постоянной темой средневековой политической мысли. Например, Лактанций тонко намекает на то, что сумасбродные императоры-варвары III века, почти разрушившие Империю, являются наследниками Карфагена. Правда, он неосторожно забывает, что сам Константин по своему происхождению тоже «варвар», иллириец. Основная идея этого произведения — показать неизбежность прижизненного наказания любому правителю, который поднимет руку на Церковь. В христианской традиции эта идея хорошо известна еще по поучительным рассказам Ветхого Завета, ставшим универсальным образцом для всех последующих событий мировой истории. Из 52 глав книги 46 посвящены гонениям периода тетрархии и первым годам правления Константина, благодаря чему эта книга становится важным источником в изучении биографии Константина.

Среди других исторических источников, которые могут содержать оригинальную информацию о жизнедеятельности Константина Великого, можно вспомнить такие памятники христианской письменности, как «Церковная история» епископа Феодорита Кирского (393–457), «Церковная история» Эрмия Созомена Саламанского (400–450) и «История» Геласия Кизикского (V в.). Для полноты информации также имеет смысл обратиться к текстам языческих авторов, а именно — «О цезарях» и «Извлечения о жизни и нравах римских императоров» Аврелия Виктора (IV в.), «Деяния» Аммиана Марцеллина (IV в.), «Новая история» Зосимы (V в.), «Аноним Валезия» (VIII–IX вв.), а также «Церковной истории» арианина Филосторгия (IV–V вв.), сохраненной самим патриархом Константинопольским Фотием в IX веке.

Однако все эти тексты по объему информации о жизни Константина Великого не могут сравниться с работами Евсевия Кесарийского, Сократа Схоластика и Фирмиана Лактанция. Поскольку все эти источники о жизни императора Константина написаны христианскими авторами, то в них отражены преимущественно такие события, которые имели значение в контексте взаимоотношения Церкви и Империи. Евсевий в своем «Жизнеописании Константина» прямо признается в том, что умалчивает о многих его государственных распоряжениях, войнах, победах и трофеях, но повествует только о религиозной составляющей его жизни. Поэтому не стоит удивляться, что о религиозном аспекте жизнедеятельности Константина мы знаем больше, чем обо всем остальном.

21. Констанций I Хлор — отец Константина

1 мая 305 года Диоклетиан и Максимиан выполнили свое обещание двадцатилетней давности и сложили с себя власть, передав ее Галерию и Констанцию Хлору. Новые августы, в свою очередь, должны были назначить себе в помощники и преемники новых цезарей. Таким образом Констанций Хлор стал одним из двух императоров Римской империи. С Констанция начинается так называемая вторая династия Флавиев, или Констанциев. Флавии — это изначально плебейское родовое имя, известное еще в эпоху Республики. К первой династия Флавиев принадлежали императоры Веспасиан, Тит и Домициан (69–96). Вторая династия Флавиев начинается с Константина и заканчивается императором Юлианом II Отступником (305–363). Еще будет третья династия Флавиев от императора Валентиниана I до Валентиниана III (364–455).

Будущий император Цезарь Марк Флавий Валерий Констанций Август родился 31 марта 250 года в романизированной иллирийской семье в Верхней Мёзии, и в этом смысле продолжал «иллирийскую династию», как его сын. Существовало предание, что по материнской линии он был родственником доброй памяти Клавдия II Готского, хотя иные говорили, что эту легенду придумал Константин, в чем на самом деле не было никакой необходимости — легитимность власти держалась не на родственных связях, а на официальном преемстве, с чем и у Констанция, и у Константна было все в порядке. Со времен Цезаря власть могла быть передана через усыновление, а Констанций в 293 году стал не только зятем, но и «сыном» августа Максимиана.

Со своей первой женой Еленой Констанций познакомился в городе Дрепана в Вифинии (Малая Азия), во время перекладки лошадей в трактире, хозяином которого был ее отец. 27 февраля 272 года в иллирийском городе Наисс (ныне город Ниш на юго-востоке Сербии) Елена родила от Констанция сына — впоследствии Константина I Великого. Нетрудно догадаться, что он был назван именем Constantinus в честь своего отца. На латинском языке имя Constantinus означает «*постоянный, твердый*». Например, глагол consto означает «стою». Отсюда такие слова, как «константа», «констатация», «конституция». Будущий император оправдал это имя.

Констанций и Елена вместе прожили двадцать один год… В отличие от многих других военачальников «варварского» происхождения, Констанций отличался редкой скромностью и

обходительностью, и мы не знаем ни одного скандала, связанного с его именем. Прозвище Хлор он получил уже от византийских историков за бледный цвет лица. Как опытный полководец и удачный правитель Констанций проявил себя, будучи наместником в Далмации, балканской страны к северу от Иллирии. Став цезарем в Галлии и Британии, ему пришлось заниматься всем тем, чем триста лет назад отличился в таком же положении Юлий Цезарь, — подавлять мятежи и вторжения местных варваров.

Напомним, что коренное население современной Франции и Великобритании на этапе III–IV веков представляли собой кельты — одна из западных ветвей индоевропейского («арийского») происхожденя, среди которых на континенте выделялись галлы, а на острове — бритты. С самого начала своего соприкосновения с римлянами галлы наводили на них ужас — в 387 году до н. э. они захватили и разграбили Рим и в национальной памяти римлян это событие запомнилось надолго. Еще нужно представить себе манеру галлов наступать на врага в полуголом виде, раскрасив свое тело в синий цвет, а волосы в рыжий, — дикари они и есть дикари. Однако к концу III века галлы порядком отличались от своих предков, потому что уже подверглись определенной романизации и в их сознании кельтские боги прочно ассоциировались с грекоримскими. Основная беда галлов, как и многих других варваров, состояла в разобщенности их племен, чем их противники удачно пользовались, а именно Рим и германцы. Последние были представителями другой западной ветви того же индоевропейского происхождения, периодически вторгающимися на территорию Галлии с востока.

Германцы были менее романизированы и более воинственны, чем галлы, почему для самих римлян они представляли значительно большую опасность. Впоследствии германское племя франков оккупирует Галлию, откуда произойдет само название «Франция», а германские племена англов оккупируют Британию, откуда, соответственно, произойдет название «Англия».

В этот период некоторые галльские повстанцы хотели уже не столько отстоять национальную идентичность и избавиться от римского влияния, сколько создать собственное государство, во многом заимствовав опыт римлян, и если бы Констанций возглавил такое сопротивление, то у него бы это вполне получилось.

Сложнее было с Британией, которая в силу своей морской изолированности создавала гораздо больше проблем. Уже в 293 году Констанций разгромил при Булоне войска узурпатора Карузия, бывшего морского офицера, захватившего в 286 году

власть в Британии и на севере Франции и объявившего себя императором — рецидив Галльской империи эпохи «тридцати тиранов». Сам Карузий после этого поражения был убит своим казначеем Гаем Аллектом, захватившим его власть и организовавшим на юге Британии новое сепаратистское государство. В 296 году Констанций вместе со своим префектом Асклепидотом на двух флотилиях приплыли в Британию и победили армию Аллекта, после чего все римские территории на северо-западе были восстановлены. После этого Констанцию пришлось столкнуться с агрессивным германским племенем алеманов в галльском городе Лингон, где варвары устроили ему шестичасовую блокаду, пока не подоспели его легионеры. Но для полного изгнания алеманов в свои леса он сражался с ними у города Виндоннисы (ныне Виндиш в Швейцарии), после чего построил несколько пограничных крепостей между городом Майнцем и Боденским озером, получившим еще название Констанского.

О скромности и проницательности Констанция ходили поучительные легенды. Языческий историк Европий писал о нем: *«Он был не только любим, но в Галлии даже почитался наравне с богами и особенно за то, что в его правление избавились, наконец, от Диоклетианова опасного безумия и от Максимиановой кровожадной безрассудности»* («Краткая история от основания города», 364 г.).

Интересный метод кадровой политики один раз применил Констанций. Однажды он собрал всех чиновников своего двора и потребовал принести жертву языческим богам, а за отказ это сделать угрожал отставкой. Не особенно удивились подчиненные Констанция, потому что такие проверки нередко устраивали правители языческих времен. Конечно, цезарь Галлии знал, кто в его подчинении исповедует христианство, а кто язычество, хотя бы потому, что обе группы часто боролись друг с другом за влияние при дворе, а религиозные убеждения самого Констанция были не очень внятны. У нас нет свидетельств о том, что он был христианином, но он совершенно точно не был и антихристианином и, скорее всего, исповедовал солярный монотеизм, как это было очень модно среди образованных воинов того времени. Для многих язычников солярный монотеизм, непосредственно связанный с модными культами Митры и Гелиогабала, был слишком отвлеченной религией, подобно элитарному неоплатонизму и даже самому христианству, которое любому поклоннику десятка антропоморфных и зооморфных богов представлялось чем-то весьма умозрительным. Кроме того, остается открытым вопрос о периоде воцерковления Елены,

прожившей с ним целых двадцать лет и так или иначе пытавшейся влиять на мировоззрение мужа. В любом случае можно сказать, что типичным язычником Констанций не был — слишком хорошо он относился к христианству, даже когда самому это могло стоить власти и жизни после эдиктов 303–304 годов… Итак, многие чиновники принесли жертвы богам по его настоянию, и как выяснилось, среди них были те, которые до сих пор изображали из себя противников многобожия. Именно это и требовалось Констанцию: всех тех, кто пошел против своей совести, он отправил в отставку, а отказавшихся участвовать в жертвоприношениях христиан вернул и приблизил к себе. Так он обеспечил своему двору весьма благонадежных чиновников.

Диоклетиан упрекал Констанция в том, что он недостаточно копит государственные богатства, что его казна пуста, и однажды послал к нему по этому поводу целую инспекцию. Констанций славился тем, что не обирал население и даже богачей, справедливо считая, что если люди не будут видеть во власти грабителя, то они больше будут ее поддерживать. Но инспекция Диоклетиана грозила большими неприятностями. Тогда Констанций созвал всех известных ему людей с состоянием и сказал, что только теперь наступил тот момент, когда ему очень нужны деньги. За несколько часов его казна наполнилась золотом, серебром и разными драгоценностями, поэтому цезарю было что показать инспекторам Диоклетиана. Когда они вернулись в Никомедию, Констанций возвратил все богатство их прежним владельцам, что приятно шокировало их всех, а его авторитет еще больше укрепился.

Когда в 305 году Констанций стал августом, ему досталась вся западная часть Империи, включая не только Галлию, но также Италию и Африку, а Галерий получил, соответственно, все восточные территории. Однако к всеобщему удивлению, но вполне подтверждая свою репутацию скромного человека, Констанций отказался от Италии и Африки, оставшись в прежних границах своего кесарства. С одной стороны, этот поступок вызывает к нему симпатию, потому что иные на его месте сразу начинали бороться за еще большую власть и буквально сходили с ума. Но с другой стороны, сколько жизней христианских мучеников было бы сохранено, если бы он не отдавал эти территории ненавистнику Церкви Галерию? И насколько легче бы было его сыну Константину взять власть в Империи, если бы город Рим, всю Италию и Африку он получил по закону преемства, а не в результате грядущих сражений?

При этом нельзя сказать, что Констанций совсем не думал о наследнике. Когда Констанций и Галерий были провозглашены

августами, то они с самого начала оказались в несколько неравном положении. Констанций все время проводил на обоих берегах Mare Britanicum (пролива Ла-Манш), а Галерий уже несколько лет все время терся вокруг Диоклетиана и участвовал во всех его мероприятиях. Оба августа находились на разных концах Европы, только Галерий был в эпицентре власти, а Констанций на периферии. Поэтому именно Галерий предложил заболевающему Диоклетиану свои кандидатуры на должности цезарей — это были не самые авторитетные полководцы Флавий Валерий Север и Максимин Даза.

В 306 году в Британии началось волнение пиктов и скотов, и Констанций отправился в поход против них, но в июле заболел и слег в своей резиденции Эборакуме (Йорке). В этот момент он решил увидеть своего сына, который много лет провел при дворах Диоклетиана и Галерия, и которому все равно уже не было никакого смысла там оставаться, и поэтому он послал коллеге-августу письмо с просьбой отправить к нему Константина. Как нетрудно было догадаться, просьба Констанция не очень понравилась Галерию, решившему отныне начать свою большую игру, хотя что может быть плохо в том, что отец зовет к себе своего сына? Возвращение к отцу для Константина стало первым большим приключением в его политической жизни, о котором мы еще вспомним. Когда Константин прибыл к отцу, он был уже при смерти. Интересно, что еще в 211 году в этом же британском городе умер Септимий Север.

Войска Констанция тут же провозгласили его сына августом, и так началось восхождение Константина на небосклон всемирной истории.

22. Константин против Галерия

Константину было около двадцати лет, когда он, как сын цезаря Констанция, оказался при дворе императора Диоклетиана в Никомедии. Для будущего политика Римской империи ничего более перспективного нельзя себе представить: к тридцати годам он знал жизнь императорского двора, был знаком со всеми веяниями большой политики, имел опыт войны с разными врагами Рима, мог сравнить образ жизни греков, европейских варваров и азиатов и, конечно же, мог оценить реальное влияние каждой религии во всем государстве. На момент смерти Констанция он уже был первым трибуном. В 302 году Константин участвовал в походе Диоклетиана на Восток и был назначен первым порядковым трибуном (tribunus primi ordinus), после чего участвовал в походах цезаря Галерия по Дунаю. В 303 году Константин женился на девушке Минервине, которая в 305 году родила ему сына по имени Крисп. Мы практически ничего не знаем об этой жене Константина, зато знаем историю ее сына.

Положение Константина при дворе Диоклетиана и Галерия, как и любого потенциального конкурента за власть, было достаточно опасным. В первую очередь Константин имел все основания опасаться самого Галерия как наиболее активного и весьма агрессивного политика, очевидно готовящего себя в будущие августы. Из всех же соперников цезаря Галерия наиболее вероятным был именно Константин, поскольку он был сыном цезаря Констанция, и всем было ясно, что характер молодого полководца порядком отличается от характера своего отца. Если попытаться определить разницу между ними, то можно сказать, что там, где Констанций готов сделать несколько шагов назад и остановиться, Константин совершит несколько шагов вперед, чтобы пойти еще дальше, а если он и отступит на несколько шагов назад, то только для того, чтобы совершить еще больше шагов вперед, чем любой его соперник. По Констанцию было видно, что он несколько тяготится своей властью и что он вряд ли вообще мечтал о таком высоком положении; по Константину же этого никак нельзя было сказать. При этом Константин ни в коем случае не был ни алармистом, ни маниакальным властолюбцем, подобно всем своим будущим соперникам. Гений Константина заключался в уникальном сочетании дерзновенной силы, с одной стороны, и трезвой, рассудительной дальновидности — с другой, что и обеспечило ему, с его собственной стороны, если исключить прочие факторы, победу над всеми противниками.

Галерий осознавал эти достоинства Константина и не знал,

как устранить его, — однажды он как бы понарошку толкнул его в клетку со зверями, но сильный и проворный сын галльского цезаря освободился из нее живым. Про него также рассказывали, что однажды он в одиночку победил напавшего на него варвара. Иными словами, убить Константина Галерию было нелегко. Когда же в 305 году Галерий стал августом и получил просьбу Констанция вернуть к нему сына, он был вне себя от ярости. Вернуть Константина отцу, ставшему теперь августом Запада, означало для Галерия предоставить Константину все шансы стать его официальным конкурентом в борьбе за римскую власть. Ведь дело не только в способностях Константина, но и в его политической осведомленности о реальном раскладе сил и настроениях в Никомедии.

Хочется спросить: а почему бы Галерию не сделать из Константина своего союзника и не править державой вместе после смерти Констанция? На этот вопрос может быть три ответа, и каждый дополняет другой. Во-первых, Галерий, скорее всего, сам хотел править всей Империей единолично или, по крайней мере, соблюдая видимость тетрархии со своими марионетками в других префектурах. Именно для этого он предложил Диоклетиану своих кандидатов Флавия Севера и Максимина Дазу. Во-вторых, он мог приписывать Константину те же желания абсолютной власти, какие были у него, что весьма свойственно подобным натурам. Поэтому он унижал Константина, чем действительно превращал его в своего врага, а теперь еще боялся, что созданный им самим враг будет мстить ему при первой же возможности. Наконец, в-третьих, Галерий прекрасно знал, что его религиозная политика диаметрально противоположна политике Констанция, а следовательно, и его сына, не замеченного в особом неприятии христианства, и поэтому их конфликт получал идеологическое обоснование.

Цезарь Гай Галерий Валерий Максимиан Август (250–311) родился в Дакии, около Сердики (ныне столица Болгарии город София), в очень простой сельской семье, причем задунайского происхождения, потому что его мать, ярая язычница, бежала оттуда на юг, спасаясь от нашествия племени карпов, еще более диких, чем были сами дакийцы. Поскольку его мать звали Ромулой, то в будущем он назовет свою родину в Дакии Ромуальской страной. Все свое детство Галерий пас скот, за что получил прозвище Арментарий (Скотовод). Оказавшись в римской армии, которая любому варвару во все времена давала возможность кардинально изменить свой социальный статус, разбогатеть и увидеть мир, Галерий прославился, с одной стороны, своей выносливостью и исполнительностью, а с другой

— чрезвычайной дикостью нравов. Поэтому про него ходил миф, что его пресловутая мать родила его от дракона. Сам он поддерживал другой миф, а именно что он родился от бога войны Марса. Управляя Балканами с 293 года в качестве цезаря, он чувствовал себя как дома, где он мог найти общий язык и с римскими солдатами, и с местными варварами. В его подчинение также входили рафинированная Эллада и Крит, но к ним он был холоден, да и что было делать там воинственному сатрапу, поставленному на подавление мятежей и охрану границ. Когда в 296 году Персия напала на Армению, бывшую с 287 года сателлитом Римской империи, Диоклетиан послал в Месопотамию против персов легионы Галерия, потерпевшие там неожиданное поражение, после чего Галерий бежал навстречу войскам Диоклетиана, наступающему на персов из Антиохии. В наказание за поражение Диоклетиан заставил Галерия идти пешком за его каретой целую милю, что последний вряд ли мог забыть, учитывая его характер. Через год легионы Галерия не только победили персов, но и вернули пять утраченных при Валериане провинций по ту сторону Тигра. Это событие заставило Персию надолго перестать тревожить римские границы, а самого Галерия окончательно сделало первым фаворитом Диоклетиана. По Аактанцию, более бесчеловечного варвара на римском престоле не существовало: Галерий держал медведей для травли своих пленников и бросал связанных христиан на горящие угли, а сам смотрел на мучения этих людей, наслаждаясь трапезой. В довершение всего он не скрывал симпатии к персидским порядкам, где каждый человек признавался рабом царя, и хотел ввести аналогичные порядки в Риме. Следует заметить, что если Диоклетиан действительно хотел возродить дух римской национальной традиции, то Галерий мешал ему в этом несравнимо больше, чем все мировое христианство.

В 305 году исполнилось двадцать лет правлению Диоклетиана, и, по старому имперскому обычаю широко отмечать десятилетие каждого правления, ему пришлось отправиться в Рим устраивать там широкие народные гулянья. «Пришлось», потому что, вопреки гипотезе о влюбленности Диоклетиана в римские традиции, в самом Риме он практически не бывал и не собирался туда, но вот эти самые традиции заставили его потратить казну и самому уехать в «далекую» Италию. Подарком городу, конечно, были его роскошные термы, ставшие предметом всеобщего обсуждения, но вот сами празднества показались пресыщенным римлянам скромными до неприличия и авторитет его власти в этом городе резко упал.

В итоге его правление, относительно славное до некоторых

пор, запомнилось консервативным римлянам презрением к их национальным традициям, а христианам — самыми страшными гонениями в трехсотлетней истории Церкви. На этом психологическом фоне Диоклетиан и Максимиан в обещанный срок подали в отставку и провозгласили августами Констанция и Галерия, последний, как уже было сказано, выдвинул в цезари своих приятелей Севера и Максимина Дазу.

По Лактанцию, Галерий получил от Диоклетиана формальное одобрение этих кандидатур, но не получил морального — бывший император признал их совсем не годными, а первого назвал пропойцей и танцором, обратившим день в ночь, а ночь в день. При этом Галерий поставил Диоклетиана перед фактом, что уже отправил Севера в Медиолан к Максимиану получить от него пурпурный плащ — атрибут любого императора. По Галерию, цезарь Север должен был управлять теми частями Запада, от которых недальновидно отказался август Констанций, то есть Италией и Африкой. Для этого Север был официально усыновлен Констанцием, почему и получил имя Флавий, а также имя Валерий как приемный член рода Диоклетиана. Таким образом появился новый цезарь Флавий Валерий Север И, управляющий Италией и Африкой.

Так же как и Север, другой новоявленный цезарь Максимин Даза был известен армии не более как приятель Галерия, хотя мы знаем о нем больше: он был сыном сестры Галерия, родившимся в 270 году, все детство также был пастухом, а впоследствии был усыновлен своим дядей, благодаря которому быстро дослужился до должности военного трибуна. Когда его, к всеобщей неожиданности, объявили цезарем, то он взял имя Гай Валерий Галерий Максимин II Даза, или Дайа (Daia), и еще больше скрепил союз с Галерием, выдав свою дочь за его сына. В качестве управляемой территории он получил Египет и Сирию.

Для Константина, оказавшегося в положении заложника при дворе Галерия, сложившаяся ситуация была катастрофической, у него не было возможности влиять на какие-либо решения, а поднимать мятеж, пользуясь популярностью среди легионеров, подобно очень многим правителям из римской истории, он не хотел, и правильно делал: если начать свое правление с переворота, то где гарантий, что оно не закончится переворотом? При этом оставаться при Галерии было смерти подобно, потому что как политику — а он решил быть политиком — ему здесь ничего не светило, а как человеку угрожала опасность убийства со стороны нового августа.

Галерий поставил в известность Константина, что не собирается отпускать его в Рим, но после длительных препираний

дал государственную печать и сказал, что к утру издаст приказ о его отправке к коллеге-августу. Но Константин достаточно хорошо знал Галерия, чтобы поверить ему, и поэтому после совместной вечерней трапезы, когда август отошел ко сну, он тайно удалился из дворца и направился в Британию.

Теперь уже, post factum, можем отдать себе отчет в том, как много зависело от быстроты его ног. Кратчайший путь в Британию лежал через Центральную Европу и Галлию. По пути неизбежно придется пройти провинцию Реций к северу от Альп, которая принадлежала новоиспеченному цезарю Северу: если Галерий пошлет ему письма с приказом арестовать или просто убить по дороге Константина, то его провал неминуем. Почтовая система Римской империи, созданная Августом и усовершенствованная Адрианом, была одним из самых основательных достижений римской цивилизации и отменно работала. Как обладатель государственной печати, Константин имел право брать себе лучших лошадей и на самые дальние расстояния, то есть на двести километров. Это означало, что максимум каждые двести километров ему нужно отдавать лошадей на почтовые станции, чтобы брать новых. Однако он знал, что, как только во дворце Галерия заметят его исчезновение, благодаря имперской почтовой системе Север, да и не только он, очень быстро получит смертоносный приказ. Поэтому он решил перебить ноги всем лошадям на всех почтовых станциях, чем парализовал на длительное время почтовую систему, но смог добраться до Британии и в последний момент увидеть своего умирающего отца. Констанций всем дал понять, что хочет видеть Константина своим преемником.

Легионеры Констанция с радостью не только признали власть Константина в качестве цезаря, но даже провозгласили его августом. Сам Константин прекрасно понимал, что это не совсем тот путь прихода к власти, на который он рассчитывал, но пойти против доброй воли оказавшихся в его подчинении войск было бы совсем неразумно. Если бы Константин был равнодушен к Риму, то он мог бы организовать очередную «Галльскую империю», и нет никаких гарантий, что в возникающей на глазах системе многовластия он бы не оказал достойное сопротивления войскам какого-нибудь Севера. Но Константин осознавал себя политиком Римской империи и уже имел свое собственное видение того, как она должна развиваться в будущем. В то же время на данный момент у него ничего не было, кроме галльских войск, и фактически он оказался перед тем страшным выбором, перед которым нередко оказываются большие политики: или взять власть в свои руки, или быть убитым. Но тут его репутация

разумного и милостивого военачальника, удвоенная аналогичной славой его отца, стала работать на него — легионы самого Галерия начали волноваться по поводу сомнительных Севера и Дазы и тоже признали августом Константина! Назревающая ситуация напоминала классические сюжеты очередной римской смуты. Двадцать лет Диоклетиановой стабильности показались наивным сном.

Однако Галерий понял, что начинать свое августовство с гражданской войны не стоит, и принял половинчатое решение, признав Константина цезарем Запада, то есть Галлии и Британии, который отныне должен подчиняться августу Запада Флавию Северу. Казалось, это было начало нового стабильного двадцатилетия, когда август Галерий с цезарем Дазой будут править Востоком, а август Север с цезарем Константином Западом. Возможно, так бы оно и было, если бы не роковая страсть к власти над другими людьми…

Провозглашение Константина цезарем Запада было восстановлением справедливого порядка, потому что он был наследником августа Констанция, чье мнение в вопросе о новых цезарях было полностью проигнорировано. Ведь по системе тетрархии через каждые двадцать лет новые августы должны назначать новых цезарей, а это возможно только в том случае, если сами августы находятся друг с другом в хороших отношениях и согласовывают свои кандидатуры. Во всяком случае, каждый из них имеет моральное право настаивать на кандидатуре одного цезаря, но никак не двух. Галерий нарушил эти очевидные неписаные правила, не спросив мнения Констанция, и это говорит о том, что либо он ожидал его скорой смерти, либо вообще решил отнестись к нему как к смиренному чудаку, довольствующемуся своими далекими от Рима и от Никомедии провинциями. И ведь нельзя сказать, что Констанций Хлор не давал повода так его воспринимать. Но одно дело — отец, а другое — сын. Константин своими действиями напомнил Галерию, что он живет в государстве, где все-таки есть определенные моральные принципы, без которых говорить о каком-то культурном превосходстве Рима над варварами просто невозможно.

Как только Константин занял трон своего отца, он очень быстро освоился в галльских и британских делах, поскольку в усмирении местных варваров и их романизации заключалась главная миссия любого цезаря Запада. В течение нескольких дней он остановил очередное вторжение франков и алеманов, но при этом интересно, что, по историку Аврелию Виктору, вождь алеманнов Эрок сопровождал Константина для его защиты и

участвовал в его провозглашении цезарем («О цезарях», 41 г.). Отсюда можно заключить, что некоторые вожди германских и галльских племен не только смирялись с господством римлян, но даже сотрудничали с ними, в частности, в целях сопротивления другим племенам.

23. Максенций против Флавия Севера

Между тем среди имперской политической элиты еще нашлись люди, решившие, что их обделили вниманием при назначении новых цезарей, — это была семья бывшего августа Запада Максимиана Геркулия и его сына Максенция, женатого на дочери Галерия Максимилле, все последние годы живущего в Риме на правах частного лица. Если Галерий был обязан посоветоваться с коллегой-августом Констанцием о назначении новых цезарей, то советоваться с Максимианом не было никакой необходимости. Новые августы совсем не обязаны были согласовывать с предыдущими своих цезарей, но только друг с другом. Поскольку систему тетрархии создал Диоклетиан и привел Галерия к власти, то из чувства благодарности и политеса Галерий должен был обсудить своих цезарей с Диоклетианом, что, как мы помним, он и сделал, о чем у Лактанция сохранился известный рассказ. Также имело бы смысл доверительно поговорить на эту тему с Максимианом, хотя уже и не обязательно. Но если Галерий игнорировал позицию коллеги-августа, то мнение Максимиана ему было тем более не так интересно.

Всем было хорошо известно, что Максимиан Геркулий сопротивлялся идее сменить правителей тетрархии и не раз горячо спорил с ее основателем по этому поводу. Оказаться в один день обычным гражданином после того, как ты двадцать лет правил почти всем Западным Средиземноморьем, согласится далеко не каждый, а Максимиан в своем понимании ценностей римского права не далеко ушел от Галерия. В итоге семья Максимиана решила вспомнить «старые добрые времена» солдатских переворотов, и 28 октября 306 года Максенций был провозглашен в Риме императором с титулом цезаря. Таким образом Максенций стал править Италией, Испанией и частью Африки, которыми до него правил его отец.

Схема захвата власти у Максенция была довольно узнаваемая. Август Галерий с первых шагов своего правления начал заниматься фискальной политикой и, в частности, решил основательно обложить чопорных римлян большим налогом за только что построенные Диоклетианом термы. Во всяком случае, по Риму пополз такой неприятный слух, и нужно только представить себе, какие это были обложения и какова была психология римлян, если в городе начались настоящие беспорядки и преторианская гвардия вновь почувствовала себя субъектом мировой истории. Однако на этом узнаваемость

заканчивается, потому что у преторианцев была еще одна, беспрецедентная до сих пор причина, заставившая их поднять мятеж. Дело в том, что еще Диоклетиан низвел римскую преторианскую гвардию до уровня обычного городского гарнизона в силу ее ненужности, а также и потенциальной опасности, хорошо известной ему по всей истории III века. Новый август Север пошел еще дальше и приказал распустить этот гарнизон вообще, но только он не подумал, как бы деликатнее и безопаснее для общества и себя самого оформить этот роспуск. Поэтому у преторианцев появилась самая веская причина за всю историю своих политических игр вспомнить ратное дело, а заявление «наследного принца» Максенция о готовности сохранить преторианскую гвардию в случае своей победы спровоцировало необратимые события.

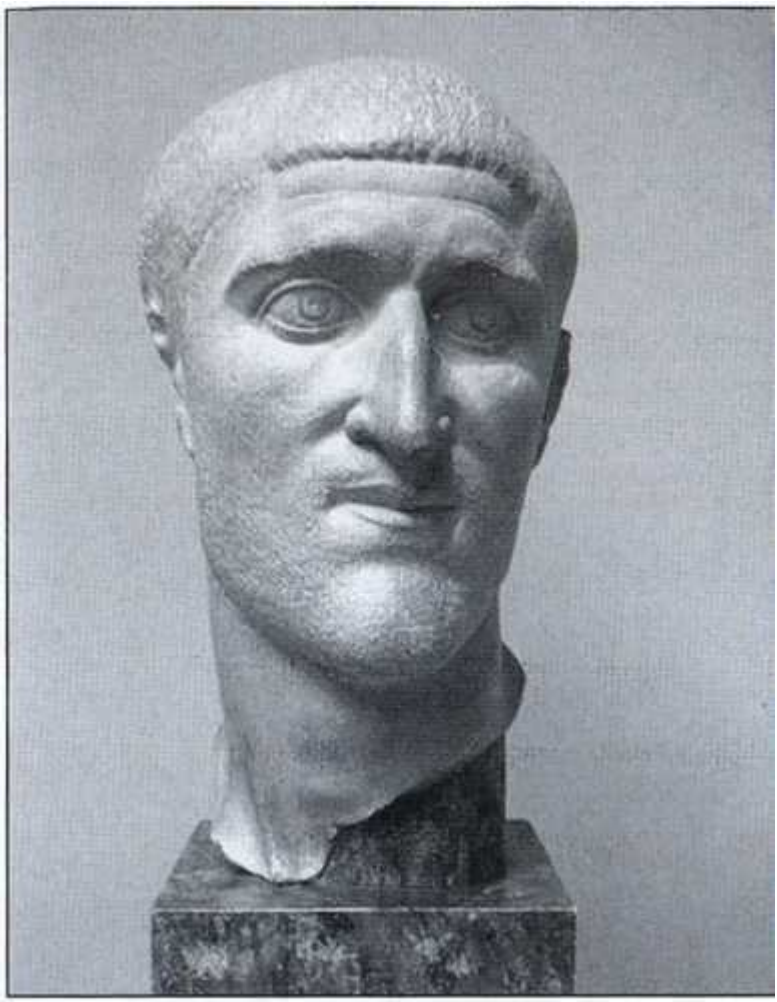
Так город Рим впервые за двадцать два года напомнил о своем политическом значении.

Реакция Галерия и Севера на переворот в Риме была самой естественной — на историческую столицу Империи из Медиолана отправились войска, поддержанные всей Северной Италией. Но вдруг выяснилось, что многие легионеры Севера симпатизируют Максенцию, а его агенты буквально разлагают армию своей пропагандой. Если не считать фискальных мер, интересующих в большей степени римских обывателей, легионеры поддерживали Максенция, во-первых, потому что они воспринимали его как законного наследника своего отца, сохранившего к себе достаточное уважение среди италийских солдат, а во-вторых, потому, что прецедент с запретом преторианской гвардии по определению не мог добавить популярности новому правителю в военной среде. Поэтому, когда легионеры Севера дошли до ворот Рима, они подняли бунт, обратили свое оружие против самого августа. Значительную подрывную роль сыграл префект претория Севера Ануллин, тайно подкупающий солдат ради того, чтобы они дезертировали из похода. Оставшись с немногочисленным войском, Северу пришлось ретироваться обратно, и он заперся в городе Равенне, известном своими крепкими стенами. Не прошло и нескольких дней, как на авансцену римской политики вернулся сам Максимиан, с полным знанием дела решивший помочь сыну и осадить Равенну. Взять этот город приступом было совершенно невозможно, и Максимиан решил заслать в этот город своих шпионов, которые должны были добраться до самого Севера и убедить его в том, что Равенна недовольна им и его скоро убьют заговорщики, хорошо скрывающиеся в его ближайшем окружении, и поэтому ему лучше сдаться Максимиану.

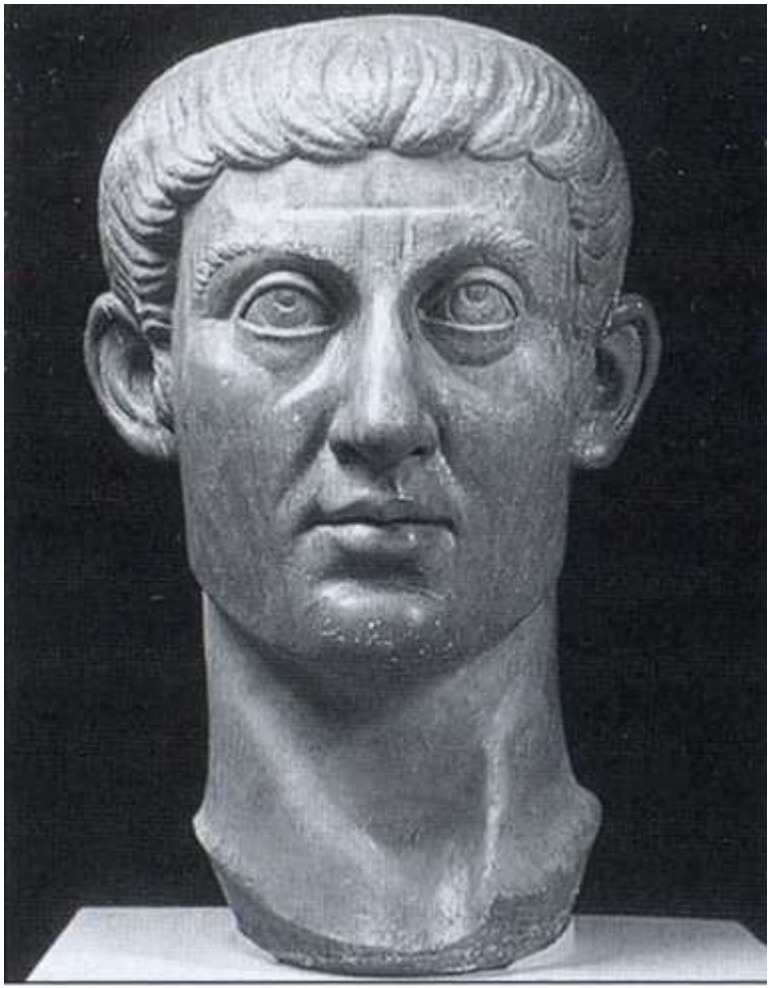
Насколько же комична ситуация, когда прибывшие из-за

могучей крепостной стены осажденного города настоящие шпионы, настойчиво объясняют кесарю, что его подлинные недоброжелатели находятся за соседней стенкой. Но еще более комичной выглядит эта ситуация, когда кесарь им верит и бежит в объятия подлинного противника, до сих пор не скрывавшего своей враждебности. Именно так и поступил август Запада Флавий Валерий Север II, после чего его арестовали, привезли в заточение в Рим, где Максенций держал его в качестве заложника.

Когда Галерий в апреле 307 года привел свои войска под стены Рима, его зять Максенций казнил Севера, а по другой версии, вынудил его покончить собой. Место августа Запада оказалось вакантным. В отрядах Галерия у стен Рима начался тот же ропот, что и в рядах Севера, — Максенций становился слишком популярным в армии, фактически отказавшейся брать Вечный город. Галерий еле упросил нескольких воинов сопроводить его назад, чтобы не быть убитым по дороге. Такого унизительного, а главное — абсурдного поражения он еще не знал, оно затмило в его сознании и память о том, как ему пришлось бежать за каретой Диоклетиана, и о том, как сын Констанция смог ускользнуть из его дворца, нарушив все его планы на будущее. Максенций крепко обосновался в Риме, дав жесткий отпор уже двум тетрархам.



Констанций I Хлор — отец Константина. Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва



Император Константин I. Музей Метрополитен. Нью-Йорк

Флавия Юлия Елена — мать Константина. Капитолийский музей. Рим

Константин Великий приносит Город в дар Богородице. Фрагмент мозаики храма Святой Софии в Константинополе

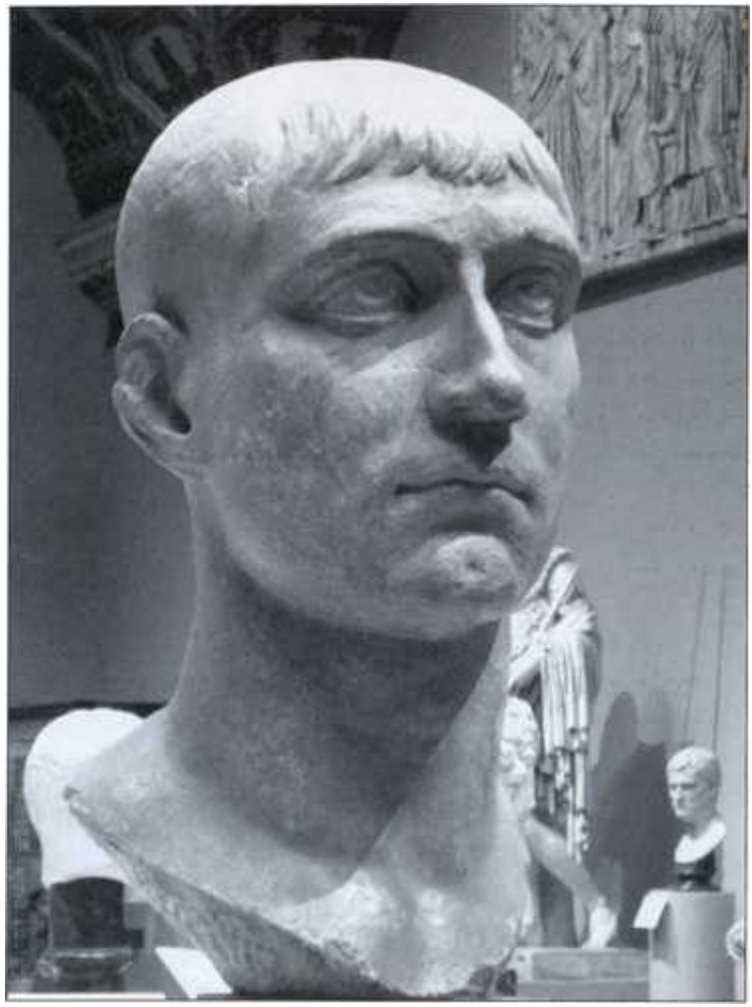
Монета Константина Великого, посвященная основанию Константинополя

Монета Константина Великого, отчеканенная для оплаты работ по строительству Константинополя

Арка Галериуса в Фессалониках. Гравюра XIX в.

Монета Максимиана

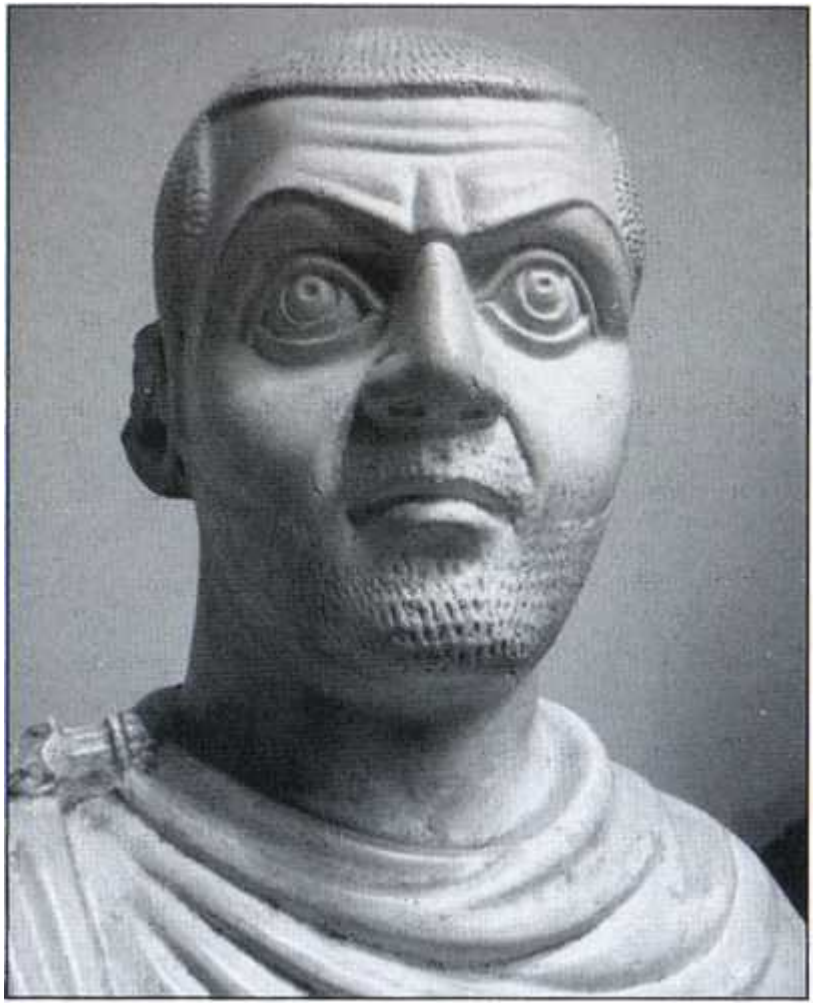
Видение Креста Константину. Фрагмент. Школа Рафаэля



Максентиус. Дрезденский музей

Битва у Мульвиева моста. Неизвестный художник

Битва на Мульвиевом мосту. Школа Рафаэля



Максимин Даза. Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва

Константин Великий. Гравюра XVI в.

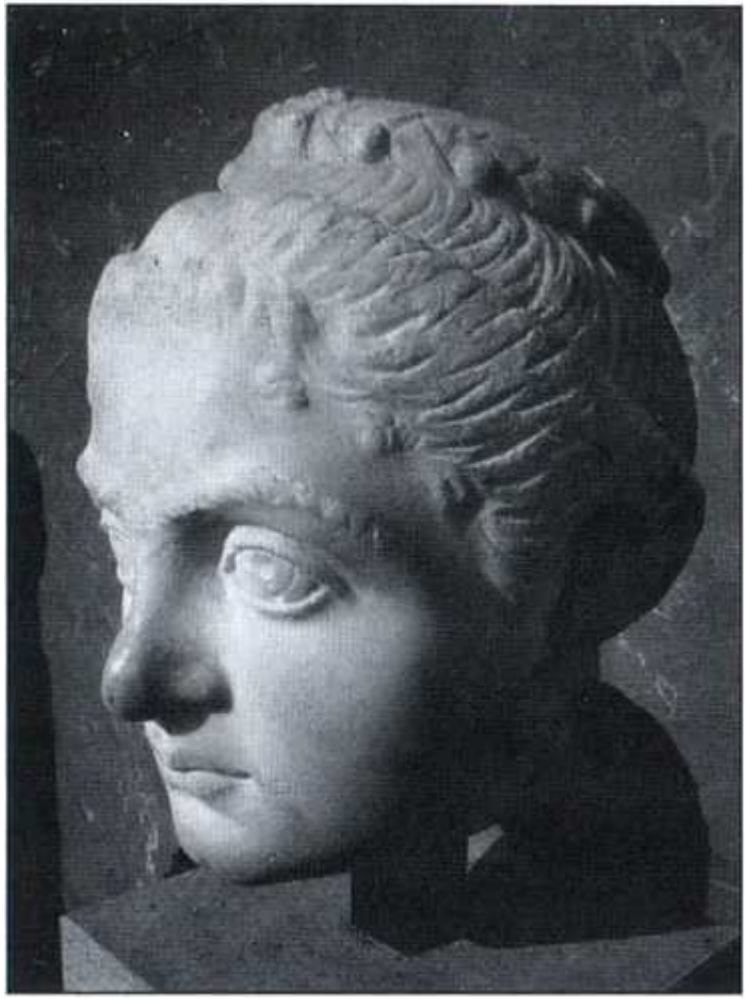
Монета Лициния

Арка Константина. Художник Каналетто

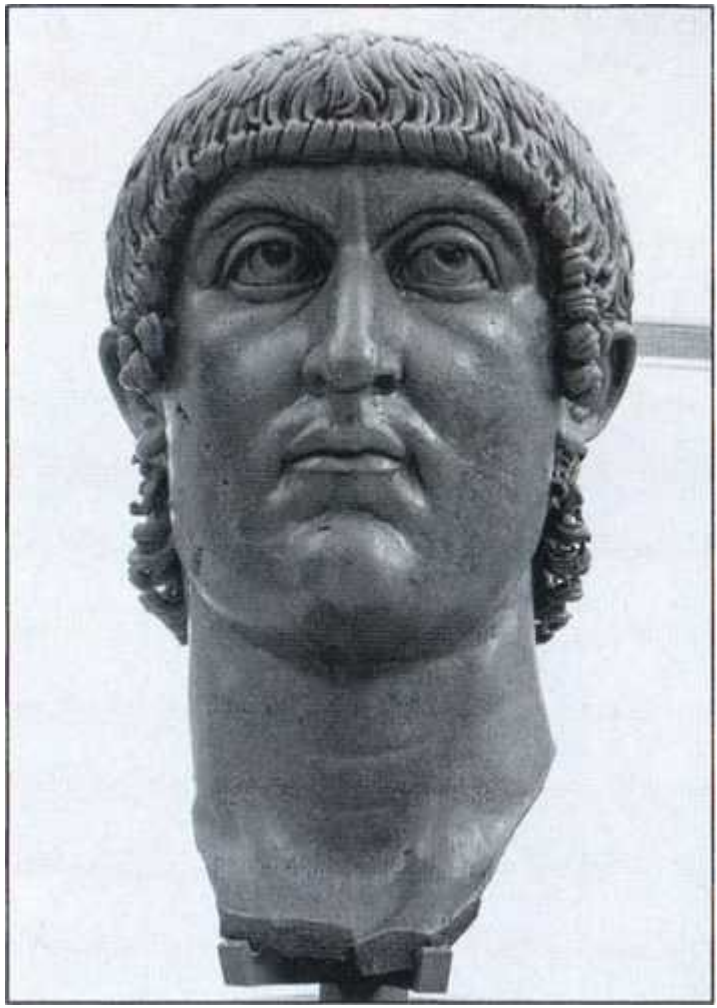
Первый Вселенский Никейский собор. Художник В.И. Суриков

Константин Великий на Никейском соборе. Сожжение арианских книг

Колосс Константина. Фрагменты. Палаццо Консерваторов. Рим



Флавия Максима Фауста. Лувр. Париж



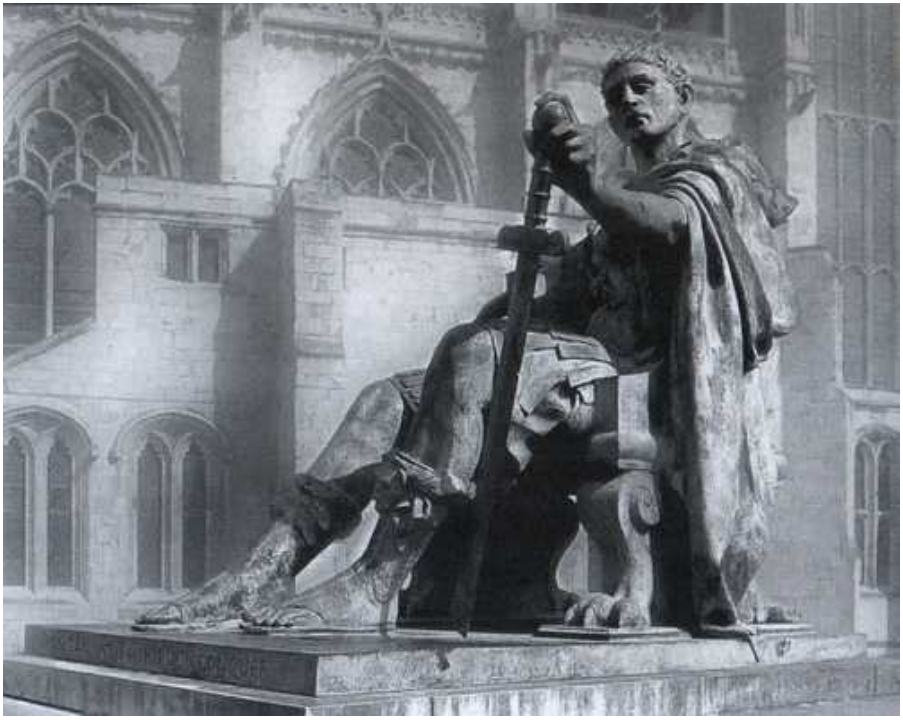
Константин Великий. Капитолийский музей. Рим

Святые Константин и Елена вокруг Животворящего Креста Господня. Художник В.К. Сазонов

Крещение Константина. Фрагмент. Школа Рафаэля

Святая Елена. Художник Чима да Конельяно

Обретение Креста Господня. Художник А. Гадди



Статуя Константина I в Йорке

Святая Елена и святой Константин. Северный фасад храма Христа Спасителя. Москва

С этого момента Римская империя впервые со времен «тридцати тиранов» оказалась в ситуации настоящей гражданской войны, и ее источником была не какая-нибудь периферия, а сам Рим, оккупированный семьей бывшего правителя. Мир между кланами Максимиана и Галерия был невозможен, потому что они преследовали прямо противоположные цели и никто бы из них не признал власти друг друга. Теоретически у клана Максимиана были шансы перекроить тетрахию по-своему, но для этого им нужно было разбить Галерия, заручившись поддержкой всех его потенциальных и актуальных врагов. Поэтому Максимиан начал делать недвусмысленные пассы в сторону Константина, коего он до сих пор в упор не замечал. Но он ошибся — ошибся не столько с Константином, сколько с самого начала своей кампании, потому что вся она от начала и до конца была построена на одной только маниакальной жажде власти, а не на какой-либо обсуждаемой политической программе. В этом отношении он был антиподом своего бывшего коллеги и благодетеля Диоклетиана — даже

странно, что основатель тетрархии именно его в свое время сделал августом Запада на двадцать лет. Теперь они оба носили символические титулы «старших августов», но если Диоклетиан ушел на покой в родной город Солону на Адриатическом побережье Балкан (ныне город Сплит в Хорватии), где его самым любимым занятием было выращивание капусты и других овощей, то Максимиан вернулся в большую политику с мечом и на коне.

24. Максимиан Геркулий против всех

Главной ошибкой Максимиана была ставка на своего сына: сначала они торжественно признали друг друга августами, но потом выяснилось, что Максенций совершенно не собирался делиться властью с отцом и после нескольких скандалов выгнал его из Рима. Конечно, Максимиан сам жаждал власти и явно хотел показать сыну свое место, а по другой версии, даже составил заговор против него, но он придавал власти сына хотя бы видимость легитимности, без которой новый хозяин Рима становился абсолютным узурпатором. Трудно вообразить, какова была моральная атмосфера в этой семье, если отец с сыном на глазах всего мира готовы были буквально растерзать друг друга в борьбе за власть! Впрочем, если они верили в языческих богов греко-римского Олимпа, то у них было с кого брать пример родственных отношений.

Можно представить себе состояние стареющего Максимиана, который после этого сверхъестественного провала отправился в Иллирию, но Галерий выгнал его оттуда. За последним шансом он поехал к самому Константину в Южную Галлию, в город Арелат (ныне Арль), где наследник Констанция принял его крайне учтиво, как его давно уже никто не принимал. Растроганный и воспрянувший духом Максимиан предложил Константину взять в жены свою дочь по имени Фауста и провозгласил его августом на правах «старшего августа» и отца самопровозглашенного цезаря Максенция. Эти подарки Максимиана ставили перед Константином сложную дилемму — чью сторону выбрать, законного Галерия или нарушивших все законы Максимиана и Максенция? В нравственном плане, тем более в отношении к христианам, оба были чудовищами, если такие метафоры позволительны, и никаких иллюзий на этот счет Константин, конечно, не питал. Но при всех очевидных пороках клана Максимиана, которым и кланом-то давно перестал быть, Константин вполне мог осознавать следующие обстоятельства. Во-первых, клан Галерия не только не собирается делиться с ним властью, а угрюмо терпит его существование на белом свете, и при первой же возможности между ними неизбежно разразится война, в которой за Константином будет Галлия, а за Галерием весь средиземноморский Восток. Во-вторых, тетрархия уже подорвана, и восстанавливать ее вместе с Галерием можно только себе во вред, а новые игроки на этом поле, не связанные с Галерием, могут стать его союзниками. В-третьих, сила Максенция держится на национально-консервативных

настроениях италийцев, то есть солдат и обывателей соседней с Галлией страны, и все вместе они могли бы составить хороший фронт против галериевского Востока. Поэтому предложения Максимиана были тем самым *политическим шансом*, каким совсем недавно было само решение бежать от Галерия к отцу. Поэтому Константин, как некогда его отец, принимает сугубо *политическое* решение расстаться с Минервиной и жениться на Фаусте, чем еще больше укрепить свой статус августа, которым его величали войска Галлии, а теперь еще должны будут величать войска всего Запада. Так Константин женился на сестре свой мачехи, а Максимиан обрел перспективного зятя. Теперь Геркулий живет в одном дворце с Константином на правах члена семьи, но трудно поверить, что он довольствовался этой мирной и незаметной жизнью…

В сложившейся ситуации Галерий, в свою очередь, тоже понимал, что Империя фактически раскололась на две части и что если бойкот между ними будет продолжаться еще несколько лет, а может быть, и несколько дней, то разразится война, победителем в которой может оказаться кто угодно. В 307 году Галерий назначает себе нового цезаря — полководца Лициния, своего самого большого приятеля, с которым они сблизились во время похода против персов. Для Галерия назначение Лициния цезарем было весьма вынужденным шагом, поскольку он настолько ценил своего друга, что готовил его в августы Запада. Именно поэтому он не предложил Лициния в 305 году Диоклетиану в качестве нового цезаря, так как держал его для более важного дела. Север и Даза в восприятии Галерия были ограниченными посредственностями, которых можно использовать как марионеток. Лициния же он считал равным себе другом, достойным самого высокого титула в имперской иерархии. Вот кто должен был, с точки зрения Галерия, быть на месте Константина — Лициний, и несложно догадаться, как последний в связи с этим относился к сыну Констанция. Назначение Лициния августом Запада решило бы для него все вопросы, и его люди управляли бы всеми частями Империи. Поэтому он предпринимает совершенно экстраординарное решение для такого алармиста, каким он был до сих пор, и в 308 году посылает всем цезарям и августам предложение собраться в городе Карнунтуме на Дунае (центр Верхней Паннонии, ныне под Веной), чтобы обсудить дальнейшую судьбу каждого из них.

Съезд тетрархов был исключительным событием в истории Империи. Галерий привез с собой самого Диоклетиана как старого авторитета для придания всему собранию большей моральной легитимности. В результате столь судьбоносной

встречи было принято общее решение, что августом Востока остается Галерий, а при нем цезарь Максимин Даза; августом Запада Лициний, а при нем цезарь Константин. Максимиану официально предложили уйти на покой, а Максенция все участники съезда безоговорочно признали узурпатором. Когда же все осторожно спросили у Диоклетиана, нет ли у него желания вернуться в большую политику, основатель тетрархии ответил, что если бы они все увидели, какая у него на огороде растет капуста, то не стали бы задавать этот вопрос.

Съезд в Карнунтуме 308 года обернулся для Константина поражением его интересов, но это высокое собрание было воплощением максимальной легитимности, которую только можно было себе представить на тот момент. Он не мог не признать, что его величание августом не имеет формальноправовых оснований. И он тем более не мог не признать, что Максенций был очевидным узурпатором. Правда, для него самого не было никакого толку от Максенция, который с первых дней своего пребывания в Риме воспроизвел все самые худшие черты любого тирана-временщика и даже поссорился с собственным отцом, проживающим в доме Константина. Однако несравнимо больше, чем фактический запрет на союз с эфемерным кланом Максимиана, Константина волновало то, что теперь он должен соблюдать субординацию по отношению к этому ставленнику Галерия Лицинию, во всем похожему на своего друга. На собрании в Карнунтуме Константин и Максимин Даза выразили свое недовольство назначением Лициния августом, и Галерий предложил каждому из них звание «сына августа», что не имело никакого смысла. Константин вернулся в Галлию с пониманием того, что быть зачинателем очередной смуты он не будет, и сосредоточился на борьбе с варварами, которые все время тревожили рейнскую границу.

В 308 году была предпринята огромная вылазка германских племен — франков, алеманнов и бруктеров, — и он продолжал дело своего отца в этом направлении. Казалось бы, если не считать неизбежной стычки с Максенцием, Империя вновь должна была бы погрузиться в мир и порядок, но разве такое возможно, если хоть кто-то из тетрархов, нынешних или бывших, чувствует себя обделенным? Именно это и произошло. Обделенными почувствовали себя, во-первых, Максимиан, что совсем неудивительно, а во-вторых, Максимин Даза, до сих пор никак себя не проявлявший.

В 310 году Максимин Даза собрал свои войска и сам себя провозгласил августом, поставив тем самым всю Империю перед фактом. Галерий к этому времени уже ни о чем так не думал, как

о порядке и тишине, и поэтому смирился с этим, подтвердив самопровозглашение Максимина.

Тогда же на другом конце Средиземноморья произошло другое знаменательное событие. Константин долго не появлялся у себя в Арелате, потому что все время проводил на Рейне в боях с германцами, и заскучавший Максимиан объявил всем о том, что Константин погиб. Он захватил власть на правах его тестя.

Управлять у Максимиана получалось очень плохо, потому что большинство легионеров не верили ему и ждали своего августа, как они его сами называли с 306 года. Когда же Константин вернулся, Максимиан в ужасе бежал в Массилию (ныне Марсель), где пытался установить свой режим, но, когда войска Константина подошли к стенам города, его жители сами открыли ворота, и Максимиан оказался в плену у зятя.

Константин не отомстил Максимиану, а только лишил императорских регалий и оставил его в своем дворце, понимая, что сама жизнь Геркулия после этого будет ему наказанием.

Но он слишком хорошо думал о Максимиане. Придя в себя после этого позора, Геркулий вновь решил убить Константина и сам был настолько наивен, что решил вовлечь в свои планы дочь Фаусту. Но жена Константина не стала его предавать. Самое смешное, что Максимиан обещал Фаусте новых женихов, как будто на тот момент во всей Империи циничной карьеристке можно было найти более завидного мужа, чем Константин. Поэтому Фауста рассказывает об этих планах отца Константину, и они инсценируют следующую сцену: Геркулий получает гарантии от дочери, что сможет убить зятя, и ночью пробирается в его спальню, где все двери открыты — заходи кто хочет. Максимиан подходит к кровати Константина и вонзает нож в лежащее под одеялом тело, после чего с победным криком выбегает во двор и сообщает всем, что убил императора! Не знал столь опытный в коварстве Максимиан, что вместо Константина он убил специально подложенного в кровать, приговоренного к смертной казни евнуха. Каково же было его оцепенение, когда он увидел, как из дворца вынесли чье-то окровавленное тело, а к нему навстречу идет Константин, окруженный многочисленной стражей… На сей раз помиловать тестя было уже невозможно — это было публичное покушение на жизнь императора, но даже в этом случае Константин предложил ему самому выбрать способ казни. Максимиан Геркулий покончил жизнь самоубийством, — так оборвалась жизнь августа, двадцать лет правившего Западом Империи и страстно желавшего продолжить это правление до конца своих дней.

Максимиан Геркулий был одним из самых жестоких

гонителей Церкви, ведь он правил половиной Империи во время массового антицерковного террора 303–304 годов, и его смерть для всех христиан была знаковой. Вообще, может возникнуть впечатление, что среди всех этих «балканских» варваров-правителей начала IV века, не считая Констанция и Константина, шло настоящее соревнование в жестокости по отношению к христианам. Если подробно описывать те зверства, которые творили против Церкви Диоклетиан, Максимиан Геркулий, Галерий, Максенций, Максимин Даза и Лициний, то потребуется отдельная большая глава, содержание которой больше будет похоже на хронику садистских преступлений. При этом если для самого Диоклетиана антицерковные гонения были чисто политическим мероприятием, то все остальные в этой плеяде буквально наслаждались своей жестокостью… Однако развязал им руки именно Диоклетиан.

25. Эдикт Галерия

Зимой 310–311 годов Галерий очень сильно заболел неизвестной болезнью и сначала обратился за помощью к богам врачевания Аполлону и Асклепию, но они не помогли ему. У него возник страшный нарыв внизу детородного органа, откуда распространилась гниль по всему телу, и хотя лучшие врачи Империи делали все, чтобы его спасти, он умирал, изъедаемый червями, поселившимися в его организме.

Перед смертью неожиданно для всех Галерий издал в Никомедии эдикт, останавливающий репрессии против христиан и признающий их легитимность, почему он еще называется Никомедийским эдиктом. Эдикт Галерия 311 года ни в коем случае нельзя считать свидетельством его обращения к христианству — вполне возможно, он почувствовал какую-то правду христианства, но, скорее всего, он просто в своих страданиях и страхе перед смертью решил молить всех богов, в том числе и христианского.

В этом эдикте, полностью опубликованном у Лактанция («О смертях преследователей», 34), Галерий демонстрирует вопиющее непонимание христианства: во-первых, он представляет христианство чуть ли не как этническую религию, сохраняющую традиции каких-то «предков»; во-вторых, он прямо призывает христиан вернуться к каким-то древним обычаям, которые ими нарушены, и фактически осуждает их за исключительную приверженность собственной религии. Следовательно, для Галерия христианство оставалось некоей версией язычества, которое почему-то ставит себя в исключительное положение, но поскольку, как это следует из его эдикта, он желает установить порядок в государстве, то он готов снизойти до христиан, разрешить им открыто исповедовать свою религию и проводить свои собрания, за что они должны молить своего Бога о благополучии государства и не нарушать порядок, как будто христиане до сих пор были известны как какие-то несмышленые преступники.

Историческое значение Никомедийского эдикта состоит в официальном признании Империей христианства как легальной религии, а также в том, что к 311 году эта религия настолько укрепила свои позиции в обществе, что продолжать ее притеснения было уже небезопасно для общества в целом. Одновременно с этим все тетрархи не могли не видеть, что одним из преимуществ власти Константина, которого все больше уважают в разных регионах государства, является его

расположение к христианству, и в этом отношении каждый тетрарх тоже должен как-то определяться.

Итак, к концу 311 года число потенциальных претендентов на власть в Империи сократилась — ушли из жизни Максимиан и Галерий, и все в страшных муках, о чем узнали многие христиане и язычники по всему Средиземноморью. Отныне государством управляли четыре августа, двое из которых были самозванцами — Максимин Даза и в еще большей степени Максенций. Заметим, что эдикт Галерия о легализации христианства фактически теперь распространялся только на Иллирию, потому что правящий Египтом и Сирией Максимин Даза ему не подчинился и продолжил свои репрессии, а Лициний, как август Запада, вообще не обязан был ему подчиняться. Что же касается положения христиан в Галлии и Британии, то, как мы понимаем, они там не знали гонений вот уже тридцать лет.

Часть 5. АВГУСТ ЗАПАДА

26. Константин против Максенция

Главной политической проблемой Римской империи после съезда тетрархов в Карнунтуме в 308 году была тирания Максенция в Италии, Испании и той части Африки, которую традиционно контролировали италийцы. Режим Максенция был именно тиранией, во-первых, потому, что он был абсолютно нелегитимным, а во-вторых, потому, что, захватив власть в великом городе, Максенций вел себя там не как серьезный политик, осознающий шаткость своего положения, а как недалекий временщик, к тому же исполненный садистского сладострастия по отношению к подчиненным.

В первое время своей узурпации Максенций пытался задобрить все население, и в том числе христиан. Он даже издал указ о прекращении репрессий и по своей наигранной кротости стал уже напоминать Констанция. Если же добавить к этому миролюбию его декларативный консерватизм, то в итоге складывается впечатление весьма популярного политика, а первые впечатления у многих остаются навсегда как самые главные, даже если их источник изменился до неузнаваемости. Когда же Максенций почувствовал, что его враги слишком заняты собой и своими конфликтами друг с другом, чтобы со дня на день ждать новой войны, то он расслабился и показал свой подлинный лик.

С каждым годом его поведение становилось все более звериным, воспроизводя худшие образцы «балканского» варварства. Намереваясь обогатить свою личную казну за счет богатых сенаторов, он начал выдвигать против них ложные обвинения, бросать в тюрьмы и присваивать себе их имущество. В имущество входили также сенаторские жены, которых Максенций воспринимал как собственных наложниц. Если он не казнил их мужей, то сажал, если не сажал, то разводил их с ними, а даже если не разводил, то все равно отнимал их на время и возвращал униженными.

Преторианская гвардия чувствовала себя при нем лучше, чем при любом «солдатском императоре», достаточно сказать, что он разрешал им избивать людей на улице.

Вместе с этим в нем обнаружились настоящая страсть к языческой магии и ненависть к христианам, вполне соответствующие эпохе антицерковных гонений начала IV века. Для римлян его поведение было огромным разочарованием, поскольку с ним связывались надежды на возрождение старых римских традиций в противовес никомедийской политике

Диоклетиана и его наследников. Но возрождение «римского духа» предполагало уважение к аристократическому Сенату, который Максенций откровенно ненавидел. Идеолог языческой реакции при Юлиане Отступнике историк Аврелий Виктор крайне негативно отзывается о нем: *«По натуре Максенций был дик и бесчеловечен и становился еще хуже, отдаваясь своим страстям»*, а ведь именно поражение Максенция станет поворотным моментом в падении языческой идеологии Рима и победе христианства.

Максенцию повезло с тем, что его враги решали свои собственные проблемы и были в разладе между собой, почему ему удалось сохранить власть на целых пять лет, и он вполне мог еще какое-то время продержаться в качестве самозваного августа, если бы не стал уподобляться своему отцу и смог бы трезво оценить отношение к своей персоне у всего населения Римской империи. Ведь Максенций хотел больших возможностей, чем быть царьком сепаратистского государства, живущим в ожидании неизбежной карательной операции со стороны Империи. Например, ему, очевидно, не нравилось то, что Африка и особенно Испания практически не контролируются его войсками, так что он, скорее, был чисто италийским диктатором. В 308 году викарий Африки Домиций Александр отказался подчиняться Максенцию и отменил поставки зерна в Италию. Называют разные причины этого восстания. Максенций потребовал от Домиция отдать себе в заложники его сына, чтобы викарий Африки не посмел восстать против него, но Домиций отказался и тем более решился поднять восстание. Есть также версия, что Домиций действовал в тайном союзе с Галерием. Поскольку Африканский континент был житницей всей Европы, то в Риме начались неизбежные хлебные бунты, жестоко подавляющиеся преторианцами. В 309 году Максенций послал в Африку когорты во главе с префектом претория Руфием Волузианом и Зенатом, на удивление быстро подавившими мятеж Домиция и казнившими его. Вполне можно допустить, что успех африканской кампании заставил его посмотреть на ближайших соседей по Европе, один из которых был, скорее всего, связан с Галерием, а другой, по заявлению Максенция, убил его отца Максимиана.

На первый взгляд версия о том, что Максенций решил объявить войну Константину, якобы мстя за смерть своего отца, должна быть очень удобна для сторонников Константина в этом конфликте, но если сторонники Константина пытаются как-то оправдать его войну с Максенцием, отыскивая ей новые причины, то это говорит лишь о том, что они не очень уверены в его правоте и опасности режима Максенция как такового. На самом

деле у Константина были все основания самому объявить поход против Максенция и поставить точку в истории его затянувшейся тирании. Во-первых, Максенций был объективным узурпатором, нелегитимность и опасность которого были признаны всеми тетрархами, и при этом он был узурпатором не какого-то далекого острова на периферии Империи, а самой ее столицы и всей Италии, что придавало его власти особую символическую нагрузку.

Во-вторых, африканская кампания Максенция и другие его действия показали, что при всем своем несерьезном поведении у него есть серьезные геополитические амбиции и определенная поддержка в армии и что если его вовремя не остановить, то однажды он сам остановит кого захочет.

В-третьих, при всей своей изолированности от других тетрархов он мог быть в любой момент использован любым из них против Константина, и тогда уже ссылки на его нелегитимность перестанут иметь значение. И прецедент такого использования только что был, когда самозваный август Максимин Даза, узнав о женитьбе Лициния на сестре Константина, открыто предложил Максенцию вступить в союз против северных августов, и последний уже раздумывал над ответом.

В-четвертых, сам Лициний или даже сам Максимин Даза тоже могут в любой момент объявить войну Максенцию и у них для этого будут все основания из вышеперечисленных, и тогда их территория удвоится, оставив Константина на периферии Европы, а самому Константину ни с нравственной, ни с правовой точек зрения нечего будет возразить.

Наконец, в-пятых, Максенций действительно был не просто узурпатором, а совершенно варварским деспотом, о чем все знали, и особенно его деспотизм проявлялся в отношении христиан. Мы не знаем, была ли изначально у Константина христианская мотивация в походе против Максенция, хотя мы узнаем, что в определенной степени эта мотивация появится во время самого похода, но сам он совершенно точно понимал, что христиане Италии и Африки воспримут этот поход как освобождение. Захват каждого города Константином означал освобождение сотен и тысяч христиан от практически неизбежных мучений, которых к началу второго десятилетия IV века от Рождества Христова стало уже слишком-слишком много и выдерживать их было все сложнее и сложнее.

Помимо всех перечисленных причин к Константину от Максенция бежали разные люди, откровенно упрашивающие его освободить Италию от этого тирана и рассказывающие ему про

различные планы и секреты римского двора. Если бы Константин не послушал их и не внял перечисленным аргументам, то он бы в лучшем из всех возможных случаев повторил судьбу отца и остался бы тихим наместником Галлии и Британии, всю жизнь выясняющим отношения с кельтскими и германскими племенами, в то время как три четверти Империи продолжали бы мучаться под началом наследников Галерия и Геркулия. Константин прекрасно знал, чем отличалась для населения его власть от власти других тетрархов, и это также прекрасно знали другие тетрархи. Никогда еще за всю историю Европы к IV веку не было более судьбоносной войны, чем война Константина и Максенция. Ее значение можно сравнить только с войной Рима против Карфагена. И в том, и в другом случаях Европа выбирала между цивилизацией и варварством, между философией ценности человеческого существования и философией произвола.

27. In hoc signo vinces

Евсевий Кесарийский в своем «Жизнеописании» (1,28–31) пишет о том, как василевс Константин однажды рассказал ему об одном чуде, случившемся накануне его похода против Максенция, и при этом клятвенно заверял его в истинности этого события. Константин поведал ему, что однажды после полудня, когда солнце нисходило к западу, он собственными глазами увидел на солнце особое знамение — составленный из света Крест с надписью «In hoc signo vinces», то есть «Сим победишь!» (у Евсевия по-гречески — ev *momco* vka). Это знамение объяло ужасом и его самого, и его войско, после чего он окончательно убедился в мистической оправданности своего похода.

После этого знамения Константин много размышлял о нем, но ночью ему во сне явился сам Иисус Христос с виденным на небе знамением и велел ему сделать знамя, подобное увиденному на небе, и использовать его в защите от врагов. Лактанций в своей книге «О смертях преследователей», написанной раньше книги Евсевия, описывает аналогичный сон, в котором «небесный знак Бога» (caeleste signum Dei) должен быть начертан на щитах и только при этом условии нужно начинать сражение, и поэтому Константин, когда проснулся, изобразил на щитах «скрещенную букву X» (transversa X littera), знак Бога.

Таким образом, Константин должен был изобразить Крест, во-первых, на щитах своих легионеров, а во-вторых, на знамени, что он и сделал. Знаменами у римлян назывались штандарты (vexilla), которые, как мы помним, увенчивала фигура орла с молниями, и в каждом легионе существовала особая должность аквилифера, то есть носителя боевого орла. Отныне же Константин меняет образ легионного штандарта. Фактически в основе любого штандарта уже находится крест — копье с поперечной реей, с которой ниспадает знамя. Император приказывает золотым дел мастерам создать для себя золотой штандарт, где на конце копья должен быть венок из драгоценных камней, а в нем символ спасительного имени — две первые буквы греческого имени XPISTOS (Христос). В итоге получалось соединение в едином символе двух букв — X и P. Отсюда название этой монограммы — «хрисма», или «хрисмон». По сторонам этой монограммы было принято также изображать первую и последнюю буквы греческого алфавита — альфу и омегу. Присутствие этих букв прямо отсылает к известной цитате из Апокалипсиса: «Аз *есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель был и грядет,*

Вседержитель» (Откр. 1: 8, ср. Откр. 22:13). На самом знамени, которое должно было быть золотым, обычно было написано — hoc vince. Конечно, в разное время в разных легионах такие штандарты были могли весьма разниться, но там обязательно должна была быть изображена хрисма, а если не хрисма, то уж точно Крест Господень.

В христианской Империи этот военный штандарт назывался «лабарум», и этим словом его называют до сих пор, чтобы отличить от всех других штандартов. Иногда лабарумом называют саму монограмму Христа, но это не очень точно. Термин labarum, скорее всего, происходит от названия римского военного символа двойной секиры (labrys) Юпитера или названия знамен в языке кельтов-басков. Если первые буквы имени Христа написаны только по-гречески, то есть на языке Нового Завета, то слова «Сим победишь» пишутся по-разному. Поскольку прочесть небесные буквы должны были легионеры Римской империи и сам Константин, то, скорее всего, они должны были быть латинскими, хотя Константин знал греческий язык. В одном анонимном «Житие Константина» указывается, что на самом деле увиденная им и его воинами надпись была латинской транскрипцией греческого текста — en touto nika (?). Евсевий свидетельствует, что он сам видел роскошный императорский лабарум, где на знамени было поясное изображение императора и его детей. Исторически хризма и лабарум стали одним из самых оригинальных символов христианства, значимее которого остается только сам Крест Господень.

28. Битва у Мульвийского моста

Осенью 312 года четвертая часть всей армии августа Константина направились из Галлии в Италию. В жизни Константина еще будут экспедиции и войны на порядок более сложные и опасные, чем это наступление на Рим, но по исторической значимости и психологическому напряжению оно заранее затмило все остальные. Во-первых, это был первый выход Константина на тропу гражданской войны, пусть даже и в качестве легитимной стороны. Во-вторых, сам факт похода на Вечный город у любого римского полководца вызывал смешанные чувства, как это было во все времена, вспомнить хотя бы Цезаря. К тому же Константин никогда еще не был в Риме, и он представлялся ему нереально огромным и совершенно недоступным городом, осада которого займет слишком много времени, сил и человеческих жизней.

Максенций же очень нерасторопно и трусливо готовился к бою — если он сам объявил войну, то непонятно, почему он не сдвинулся с места, а остался в Риме, надеясь на то, что преданные ему войска все сделают сами.

Константин, конечно, помнил опыт Гая Юлия Цезаря: его легионы быстро преодолели Альпы и уже в Северной Италии столкнулись с идущими навстречу легионами Максенция.

Армия Максенция была почти в четыре раза больше, чем у Константина, потому что была укомплектована бывшими легионами Флавия Севера, а также в ней участвовали гетулы и мавры, привезенные для этого из Африки. Кроме того, ее фронт составляла тяжеловооруженная конница (катафракты), на которых Максенций больше всего рассчитывал, в то время как фронт Константина был легче вооружен, но зато мобильнее. Константин приказал своей пехоте расступаться, при кавалерийской атаке врага, затем ряды пехоты смыкались и окружали неприятеля. При этом, хотя на всех этапах войны воины Константина уступали по численности и были хуже снаряжены, у них было одно преимущество — они представляли собой постоянно действующую армию, закаленную в регулярных боях с кельтами и германцами, влюбленную в своего лидера и осознающую легитимность своих действий. Все эти факторы необходимо иметь в виду независимо даже от религиозной составляющей этой армии, потому что вполне можно предположить, что значительное число участников этого похода были христианами. В противоположность армии Константина воины Максенция давно ни с кем не воевали, среди них было

много италийских неженок, ни разу не вышедших на поле боя, и многие из них также понимали, что Максенций остается узурпатором и тетрархи рано или поздно будут с ним расправляться. Наиболее агрессивную часть армии Максенция составляли наемные мавры, а также военные, воспринимающие его как покровителя ратных дел и старых римских традиций, хотя его поведение прямо противоречило этой иллюзии.

Первая битва была при Турине, а когда войска Максенция отступили к городу, то горожане не пустили их, а открыли ворота только Константину. Вторая битва прошла при Вероне. Потом произошло поворотное сражение под Брешией, где погиб любимый военачальник Максенция. Дальше уже многие города сдавались Константину без всяких сражений. Константин вот-вот уже должен оказаться у ворот Рима, но Максенций не выходил даже на улицу, потому что некий оракул предсказал ему неизбежную смерть, если он покинет пределы города. В эти часы и дни он занимается только тем, что пытается всеми магическими способами выяснить свою судьбу и защитить себя по всем «законам гороскопа». Дело дошло до полного абсурда: он вспомнил, что прогнать Севера и Галерия от стен Рима у него получилось при префекте Аннии Анулине, но поскольку его уже не было, то он специально нашел его потомка с тем же именем Анний Ануллин и назначил префектом.

Все авгуры и гаруспики Рима были мобилизованы. Сначала он приказывал убивать львов для гадания по их внутренностям, но когда львы не помогли, начал вспарывать животы беременным женщинам, чтобы гадать по внутренностям их младенцев. Но внятного ответа о своей судьбе он так и не находил. Тогда он обратился к святая святых римских прорицаний — Книгам Сивилл, которые открыли ему, что *«в этот день должен погибнуть враг римлян»*. Ничуть не сомневаясь в том, о ком идет речь, он осмеливается и выходит из дворца, чтобы возглавить финальное сражение за пределами города, тем более его давно уже хотят увидеть не столько даже солдаты, сколько простолюдины.

Максенций направился к северу от Рима и по левому берегу реки Тибр доходит до того места, где ее пересекает Мульвийский мост (Pons Mulvius), — в трех километрах от города. Дабы блокировать наступление Константина, Максенций разрушил Мульвийский мост, но потом решает биться с ним на правом берегу, для чего приказал навести через реку понтонную переправу из лодок. Здесь сосредоточились его самые преданные силы, которым было что терять и выигрывать от грядущего сражения, — преторианская гвардия. По подсчетам историков,

участвующие в битве у Мульвийского моста части армии Максенция насчитывали от 75 до 100 тысяч человек, в то время как воинов Константина было в два раза меньше. Когда Константин подходил к Риму, Максенций распределил тяжелую конницу по флангам, а в центр поставил преторианцев и италийских призывников.

Константин пошел на очень большой риск и решил прорвать отряды Максенция прямым натиском. Для этого он отобрал лучших всадников и, единолично возглавляя атаку, на полной скорости бросился на левое крыло кавалерии Максенция. Эта атака решила исход всего сражения. Наверное, здесь было больше морального превосходства, чем физического. Ошеломленные столь стремительным нападением, тяжеловооруженные кавалеристы Максенция бросились бежать на лодочный мост, совсем не предназначенный для такого поворота событий. О том, что несчастная италийская пехота бросилась врассыпную, можно и не говорить. Единственно, кто решился сражаться до конца, были преторианцы — им было что терять и чего бояться. Преторианцы не подпускали к Максенцию, а он, в свою очередь, ринулся бежать по лодочному мосту, — страшной ловушке, которую сам себе приготовил. На столь ненадежном мосту без него уже была большая давка и паника… Его конь оступился и сбросил его в реку, где он под тяжестью доспехов пошел ко дну. Максенций отправился на битву с Константином, чтобы обрести власть над миром, а обрел смерть. *В этот день враг римлян действительно погиб*… Это произошло 28 октября 312 года.

Римляне потребовали от Константина уничтожить всех людей узурпатора, чтобы они никогда не смогли вернуться к власти. Константин прославился своим милосердием — он помиловал всех, кто сражался на стороне Максенция, и включил его части в состав своей армии. Историки называют его отношение к сторонникам Максенция всеобщей амнистией, но в те времена настоящую всеобщую амнистию бы не поняли, потому что родственники временщиков часто сами хотели быть еще большими временщиками. История самого Максимиана Геркулия и Максенция показала, что другие члены клана вряд ли не будут мстить. Поэтому Константину пришлось убить двух сыновей Максенция и доказать римлянам, что больше в этом городе ничего подобного не повторится. За победу над тираном римский Сенат наградил Константина статусом *величайшего августа* и *великого понтифика*, которые оставались с ним до конца его дней. Константин не ставил себе специальной цели возрождать республиканские традиции Рима, каковые наивно приписывались Максенцию, но именно при нем римский Сенат на небольшое

время и впервые за последнее столетие превратился в реальный политический фактор. Можно сказать, что если Максенций добился того, что все вдруг вспомнили о том, что Рим существует, то Константин добился того, что вдруг вспомнили о том, что в этом Риме существует Сенат. И теперь этот всеми забытый Сенат навсегда будет с Константином, наделив его самыми высокими титулами, какие только возможны были на этот момент в таком странном с политически-правовой точки зрения государстве, каким была Римская империя в начале IV века.

В честь победы у Мульвийского моста в 315 году в Риме, между Палатином и Колизеем, была построена трехпролетная Триумфальная арка высотой 21 метр и шириной 25,7 метра, известная как арка Константина. В политическом смысле она уникальна тем, что посвящена победе не над внешними врагами Рима, а над внутренним. В архитектурном отношении она примечательна тем, что воспроизводит элементы декора трех других знаменитых триумфальных арок Рима — Траяна, Адриана и Марка Аврелия, то есть так называемых «хороших императоров» из династии Антонинов, столь милых сердцу римлян. Как и на остальных арках, здесь соблюдены все законы жанровых изображений, где целый калейдоскоп мифологических сюжетов римского язычества символизирует конкретные исторические события. Среди них есть и жертвоприношения языческим богам, в которых участвуют самые признанные политики в Риме императора Константина на момент 315 года, — его отец Констанций Хлор и его коллега-август Лициний. Любили и умели в Вечном городе строить на века, а ведь эта арка была воздвигнута в кратчайшие сроки, что во многом объясняет ее эклектические заимствования из уже существующих образцов. Однако парадокс был в том, что пока художники обдумывали рельефы Лициния, увековеченный ими в мраморе август уже добивался лавров Максенция, ведя с Константином открытую войну. История Империи продолжалась. Константину на тот момент было 40 лет.

29. Лициний против Максимина Дазы

Победа Константина над Максенцием привнесла в жизнь Римской империи тектонические изменения. Во-первых, из наместника Галлии и Британии Константин в один день стал августом всей западной части Империи, причем при полной поддержке «Сената и римского народа» и без тени сомнения со стороны кого-либо, что он имел право это сделать. Галериевским ставленникам на Балканах и в Египте ничего не оставалось, как натужно аплодировать этой победе и размышлять о том, почему не они оказались на его месте и, наоборот, почему они ничего не сделали, чтобы предотвратить эту победу. Во-вторых, и Лицинию, и Максимину Дазе стало ясно, что сын «блаженного» Констанция не только может удрать из укрепленного дворца через всю Европу, но также «прийти, увидеть и победить», как говорил о себе Цезарь, любого из них — ведь в гражданских войнах Константин впервые взялся за оружие и тут же добился абсолютных успехов. Соответственно, отношение к Константину у всех его врагов было уже совсем не тем, что вчера или позавчера. В-третьих, единственная «идеологическая партия», которой эта победа принесла что-то реально ощутимое, — это была Церковь, и можно было ничего не знать об отношении Константина к христианству, но всем стало ясно, что успехи Константина — это успехи Церкви и поражения Константина — это поражения Церкви. Не потому, что сам он специально помогал Церкви, а потому, что только в его политических победах Церковь могла быть реально заинтересована.

Отныне единственная теоретическая возможность остановить Константина могла заключаться только в безоговорочном союзе Лициния и Максимина Дазы, если бы каждый из них увидел свою миссию в «спасении языческого Рима», но языческий Рим в этот момент сам был на стороне Константина, а самое главное — сами тетрархи чувствовали друг в друге смертельных врагов. Столь сильные чувства были связаны с тем, что после смерти Галерия в 311 году вся его балканско-азиатская «вотчина» представляла собой пространство широкой фантазии каждого из этих двух тетрархов, где по этому пространству между ними должна проходить наиболее справедливая граница в том специфическом понимании справедливости, какое могло быть у лучших друзей Галерия.

Цезарь Валерий Лициниан Лициний Август, признанный на съезде тетрархов 308 года в Карнунтуме августом, а теперь вдруг оказавшийся всего лишь августом ввиду появления «величайшего

августа», по свидетельству Аврелия Виктора, был крайне властолюбив, очень суров и раздражителен, враждебно относился к наукам, которые он называл чумой и ядом для общества, но зато любил деревенский уклад, поскольку сам в нем вырос в далекой и дикой Дакии, а своей жадностью до денег превзошел всех. Что касается его способов наведения порядка и участия в антицерковных репрессиях, то язычник Виктор пишет, что за все время его правления, не было пределов пыткам и казням, по образцу рабских, даже для невинных и знаменитых философов (О цезарях, 41). Про Лициния достаточно сказать, что он был самым близким другом Галерия, которого последний, как мы помним, с самого начала хотел продвинуть на должность коллеги-августа, из-за чего, в частности, начался его конфликт с Константином. Поэтому у Лициния к Константину были давние счеты, и съезд в Карнунтуме не столько предотвратил войну между ними, сколько отложил на потом. При этом стоит отметить, что в отличие от совершенно бездарных и недалеких выкормишей Галерия Севера и Дазы Лициний все-таки был политиком и готов был договариваться там, где другие бы бряцали оружием. Вообще, по всему своему складу Лициний очень напоминал вторую версию Максимиана — он тоже не сам достиг политического Олимпа, а был приведен приятелем исключительно для того, чтобы поддерживать этого приятеля; он тоже почему-то рассчитывал на большее, а получал меньшее; он тоже готов был ради власти пойти на все, что угодно, так что никаких иных устремлений в нем не наблюдалось.

По Карнунтумскому соглашению Лицинию отходили провинции Реция и Паннония, то есть весьма небольшая, по сравнению с другими тетрархиями, территория от Южной Германии до северо-западной части Балкан, без выходов к морю и каких-либо преимуществ вообще. Очевидно, что предложивший эти земли Галерий воспринимал их как приложение к своей тетрархии и условный плацдарм Лициния для дальнейшего продвижения на Запад. Быть может, этим неудобным и неинтересным местоположением Галерий даже провоцировал Лициния столкнуться с Константином, но он умер, и теперь Лицинию придется решать все свои проблемы самому. Сразу после смерти Галерия легионы Лициния и Максимина Дазы направились навстречу друг другу и встретились в Вифинии, где между ними должна была произойти битва континентов, но им хватило разума принять единственно правильное решение — разграничить свои территории по естественным морским границам, то есть Лициний получал все европейские территории Галерия, а Максимин азиатские. Казалось бы, это был самый

цивилизованный развод после Карнунтумского съезда. Константин в то время еще усмирял своих германцев по Рейну, а Максенций наслаждался произволом в Риме, и такая жизнь могла бы продолжаться сколько угодно долго. Но… Теперь пришел момент подробнее рассказать о Максимине Дазе, до сих пор не столь заметном на европейской политической арене в силу географической удаленности своей тетрархии.

Легитимный цезарь, но самозваный август Египта и Азии, Гай Валерий Галерий Максимин Даза, по словам Лактанция, «недавно оторванный от баранов и лесов», получил Восток, «чтобы топтать его и терзать», «теперь уже сделавшись пастырем не баранов, а воинов». Действительно, как и Флавий Север, этот цезарь не проявил никаких необходимых качеств политика Римской империи, но если он чем-то занимался с большим усердием, так это совершенно агрессивным навязыванием языческих культов и травлей христиан. Все остальные гонители Церкви занимались этим царским «хобби» между делом, но Максимин Даза сделал его основным смыслом всей своей политики. Возникает впечатление, что он только для того получил власть от своего дяди Галерия, чтобы проявить все свои садистские устремления и ничем другим он заниматься больше не хотел и не мог. Уже в 306 году он издал указ, требующий от всех людей, включая детей, принести жертву языческим богам, и поехал с личной инспекцией проверять, как исполняется столь важное государственное предписание. В 309 году он издал повторный указ, в котором все люди, включая теперь уже и грудных детей, должны были поедать идоложертвенных животных и пить их кровь, а на всех рынках надо было окроплять этой кровью все продаваемые продукты. Вполне можно предположить, что столь маниакальное антихристианство воспитывалось в роду Максимина, к которому, как мы помним, принадлежал и Галерий со своей матерью. Предсмертный указ Галерия 311 года о легализации христианства по законам субординации августа и его цезаря должен был распространяться на территории Максимина Дазы, соответственно на Египет и Сирию, но самозваный август его полностью игнорировал. Когда же Галерий умер, то Максимин не только решил позариться на его провинции, но и на его жену Валерию, дочь Диоклетиана и Приски, — несчастную христианку, которой вместе со своей матерью приходилось терпеть столь специфическое мужское окружение. Достаточно вспомнить, как их мужья заставили совершить жертвоприношения идолам в первые же дни террора 303–304 годов, организованного ими же самими. За отказ Валерии разделить с ним ложе, показавшийся Максимину весьма неожиданным, он приказал конфисковать у

нее все имущество, пытать близких ей людей, а саму ее вместе с матерью арестовать. На просьбы самого Диоклетиана, выращивающего свою капусту в далекой Солоне, вернуть ему жену и дочь Даза ничего не отвечал, а только приказал таскать их инкогнито по деревням, видимо, чтобы их не нашли. Так стопроцентный протеже Галерия после его смерти издевался над его же дочерью и женой, не говоря уже о том, что сама жена была дочерью основателя всей тетрархии.

Максимин готовил проект о формализации языческих культов, в результате которого все жречество должно было быть разделено на разные уровни в соответствии с его представлениями.

Но все его мечты обрубались известиями об успехах Константина, которого Максимин, конечно, считал своим врагом в долгосрочной перспективе. Теперь же, после победы Константина над Максенцием, ему было за что волноваться, более того, Константин уже направил к Максимину обращение с требованием отменить все антицерковные действия, тем более что он должен был это сделать еще после эдикта Галерия. Скрепя сердце, Максимин подчинился Константину, но не надолго. Зимой 312–313 годов по Востоку прошла волна эпидемий и неурожая. Все эти события вместе заставляли Максимина все больше думать о Европе. Вдруг он узнал о том, что Константин и Лициний нашли общий язык, встретились друг с другом в Медиолане и для закрепления союзных отношений величайший август предложил выдать свою сестру за невеличайшего. Этот союз двух европейских владык означал для Максимина полный крах всех его амбиций, и тогда он решил оккупировать земли Лициния, пока он готовится к свадьбе. В очень неблагоприятных погодных условиях он двинул свои легионы на Босфор, преодолел законную границу, захватил города Византий и Перинф (Гераклею Фракийскую) и уже повел свои легионы форсированным маршем по Фракии на запад. Однако Максимин недооценил возможности противника и переоценил свои. 1 марта на Серенских полях во Фракии уже стояли легионы Лициния. Накануне он дал обет Юпитеру, что если он победит Лициния, то уничтожит имя христианское по всей земле. В отличие от него, Лициний попросил писца записать текст молитвы христианскому Богу, который должны перед битвой прочесть все его солдаты, воздевая руки к небу. Как и Константину, эта идея пришла Лицинию во сне, где ему, по словам Лактанция, явился Ангел и указал необходимость молиться Всевышнему Богу. Про Лициния ни в коем случае нельзя сказать, что он стал христианином, но он начал задумываться над причинами успеха Константина и вести с

Церковью свою, крайне непоследовательную политику. Но в любом случае это сражение на Серенских полях после битвы у Мульвиевского моста в религиозно-политическом плане отражало конфликт христианства и язычества.

Как войска Максенция превосходили числом войска Константина, так и семьдесят тысяч воинов Максимина превосходили тридцать тысяч воинов Лициния. Последний пригнал к Босфору только те части, которые успел собрать по дороге и не столько даже для того, чтобы победить интервента, сколько для того, чтобы не пустить его в Европу. Но у многочисленных воинов Максимина было два существенных недостатка: во-первых, они совершенно не были поклонниками своего самодура, а во-вторых, страшно устали, потому что поход через гористую Малую Азию оказался очень тяжелым — всю дорогу шли дожди и снега, и много вьючного скота погибло. Поэтому уже в окрестностях Адрианополя у Тзиралла армия Лициния полностью разгромила армию Максимина. Несостоявшемуся завоевателю во избежание плена и гибели пришлось срочно переодеться в одежду раба и добираться до Никомедии, где он вновь нарядился императором и первым делом жестоко расправился со своими жрецами, не сумевшими предупредить его об опасности. Лициний решил дойти до конца и объявил поход на Никомедию. В итоге Максимин убежал на юг Малой Азии, в город Таре, где устроил себе обильное пиршество, чтобы под конец выпить яд, но из-за слишком набитого желудка отрава не подействовала, и он заболел очередной смертельной болезнью, подобно другим мучителям Церкви. Его организм не мог принимать пищу, и он отощал до костей, ослеп и умер в жутких мучениях.

Узнав о свержении Максимина Дазы, измученные Приска и Валерия в лохмотьях добрались до Никомедии, чтобы поклониться в ноги Лицинию. Победивший август принял их весьма любезно, но с ними был также сын Галерия Кандидиан, которого он страшно испугался как наследника никомедийского трона и, недолго думая, приказал убить. Приска и Валерия чудом бежали из Никомедии и пятнадцать месяцев скрывались от властей и агентов Лициния, пока их не нашли на севере Греции в Фессалониках, связали, отрубили головы, а их трупы бросили в море… Так посредственные сатрапы Галерия и Диоклетиана, обязанные им самим своей карьерой, после смерти благодетелей разделались с их женами. Но нельзя сказать, что им не у кого было брать пример подобного отношения к человеческому достоинству. «Балканская династия» тетрархов была особой школой человеческих отношений. И основателем этой школы был

сам Диоклетиан.

30. Медиоланский эдикт

История римской тетрархии обещала быть похожа на сказку про дружных царей, мирно управляющих каждый своим царством, особенно когда Диоклетиан с Максимианом в 305 году ушли в положенную отставку и, казалось, новый правовой механизм заработает не на одно поколение. Но уже на следующий год эта история стала похожа на известную считалочку про десять негритят, так что к моменту смерти Максимина Дазы в 313 году вполне можно сказать, что *«их осталось только двое»* — Лициний и Константин. Правда, финал этой истории не сходится со считалкой, потому что победитель не провоцировал ничьи убийства и сам любил жизнь, а не собирался кончать собой, как ему могли бы посоветовать многие языческие философы поздней Античности, если бы он обратился к ним в минуту отчаяния.

Когда Лициний занял дворец в Никомедии, бывший политическим центром Империи во времена Диоклетиана, он тут же огласил письмо о положении христиан, которое Константин вместе с ним составил в городе Медиолане 13 июня (в июньские иды) наместникам каждой провинции, почему оно со временем получило название Медиоланского (Миланского) эдикта. Текст этого письма полностью приводится у Лактанция (О смертях преследователей, 48) и в переводе на греческий у Евсевия Кесарийского (Церковная история, X, 5.2–14). По своему содержанию и историческому значению текст этого письма затмевает Никомедийский эдикт Галерия 311 года.

Во-первых, в этом письме провозглашается легализация всех религий Римской империи, что фактически уже было постановлено в эдикте Галерия, но теперь имеет всеобщеобязательную силу на территории всего государства.

Во-вторых, в этом письме особо подчеркивается свобода именно христианского вероисповедания, что тоже было в эдикте Галерия, но теперь имеет не только общегосударственную силу, но также оговаривается, что христиане могут исповедовать свою веру без всякого беспокойства для себя. Если Галерий в своем эдикте специально оговаривал, что христиане должны пользоваться своей свободой так, чтобы никто из них не нарушал порядка, то Константин и Лициний оговаривают, что христиане могут пользоваться своей свободой так, чтобы не бояться самого государства, иначе говоря, того самого порядка, который они якобы нарушают. Если эдикт Галерия напоминает христианам, что они могут быть в чем-то виноваты перед государством, то эдикт Константина и Лициния, наоборот, как будто бы извиняется

перед христианами за ту вину, которую государство несет перед ними.

В-третьих, если эдикт Галерия ставил христианам условия молиться за благополучие республики и императора, что само по себе не нарушает принципов христианской морали, то эдикт Константина и Лициния не ставит таких условий, поскольку они могут быть поняты превратно.

В-четвертых, самый главный пункт этого письма, принципиально отличающий его от эдикта Галерия, состоит в требовании вернуть христианам все земли, помещения и храмы, которые за все годы гонений были отобраны у христиан. При этом специально оговаривается, что сами христиане ничего не должны платить за эту реституцию, что говорит об уровне произвола на местах в те времена.

В заключение письма от наместников требуется максимально распространить его содержание, в частности, вывешивая его повсюду, как это обычно делалось со всеми открытыми императорскими приказами. Есть версия, что Максимин Даза незадолго до смерти подтвердил этот указ на тех немногих территориях на юге Малой Азии, которые оставались в его подчинении.

Возможен вопрос: почему Константин и Лициний решили издать этот эдикт, если на их территориях, особенно у первого, никаких антихристианских преследований не велось? Ответ очень простой: потому что антицерковные указы Диоклетиана 303–304 годов никто не отменял, и те же Максимин, Максенций и Галерий до своего эдикта 311 года на них ориентировались, и поэтому все христиане жили в страхе, что на основании этих указов любой тетрарх в любое время может возобновить или усилить репрессии. Даже христиане под властью Константина понимали, что их безопасность держится на его личном отношении к ним, но он может в любой момент вспомнить об указах 303–304 годов.

Таким образом, Медиоланский эдикт, изданный Константином и Лицинием 13 июня 313 года, окончательно отменял действия репрессивных указов 303–304 годов; не только провозглашал христианство легальной религией на всей территории Римской империи, но также не ставил перед христианами никаких условий, фактически признавал вину государства перед ними и, самое главное, возвращал им все отнятые земли и храмы. Медиоланский эдикт нельзя считать, как это нередко можно встретить в популярной литературе, признанием христианства государственной религией Римской империи. Язычество сохраняло свои позиции, и его культы отправлялись по всей Империи до конца правления Константина,

а также и после него. Христианство окончательно будет признано государственной религией только в 381 году, а до этого момента пройдет еще немало серьезных событий, ставящих под вопрос положение Церкви.

Про Медиоланский эдикт даже нельзя сказать, что после него христианство стало доминирующей религией Римской империи, потому что в количественном отношении христиане составляли меньшинство, а среди политической элиты, особенно в Риме, было очень много язычников. В чем же тогда историческое значение Медиоланского эдикта, если не считать столь важные решения об официальном прекращении террора по всей Империи и реституции церковного имущества? Дело в том, что христианство — это наступательная, миссионерская религия и поэтому реальная свобода означает для Церкви не просто возможность собираться в своих храмах, а возможность распространять свое вероучение по всему миру. Христианство в начале IV века было религией меньшинства, но это была религия самого *активного*, самого *организованного* и самого *воодушевленного* меньшинства, прошедшего множество нечеловеческих испытаний и объединенного исключительно общими мировоззренческими основаниями. Поэтому Медиоланский эдикт, не оказывая никакого специального поощрения христианам, а только восстанавливая справедливость по отношению к ним, способствовал резкому количественному и качественному росту влияния Церкви. Пребывание Церкви в катакомбах, конечно, для иных христиан было по-своему романтичным, так что многие из них уже и не представляли себе иного пространства для храмов, кроме как под землей — подальше от света и людей, но такое состояние было противно, противоестественно самим задачам Церкви, и поэтому Медиоланский эдикт открыл двери этих храмов *в обе стороны*, предоставив возможность христианам открыто выходить навстречу миру, а миру открыто входить в пространство храма.

Диоклетиан был в шоке от эдикта Константин и Лициния, для него он означал крах всей его религиозной политики, и если это действительно так, то тогда прав А.П. Лебедев, утверждающий, что основатель тетрархии с самого начала решил уничтожить Церковь. Как и на Галерия двумя годами раньше, так и на Диоклетиана напала страшная немочь, и если христианские авторы пишут, что он умер в результате мучительной болезни, то языческие говорят, что он покончил собой. В языческой этике поздней Античности умереть от болезни считалось большим позором, чем от самоубийства.

Как написал Лактанций, «от ниспровержения Церкви до ее

восстановления прошло десять лет и около четырех месяцев». За эти годы Диоклетиан и его тетрархи Максимиан Геркулий, Галерий, Максенций, Флавий Север, Максимин Даза и сам Лициний в большей или меньшей степени были организаторами и исполнителями массового антихристианского террора, и только Галлия и Британия под властью сначала Констанция, а потом Константина были свободны от этого кошмара. После эдикта Галерия 311 года террор прекратился на территории Восточной Европы и Малой Азии. После победы Константина над Максенцием террор прекратился в Италии, Испании и Африке. Теперь уже, после победы Лициния над Максимином и издания Медиоланского указа, террор прекратился на территории Египта и Леванта, то есть Палестины и Сирии. Надолго ли?

31. Константин против Лициния

С 313 года Римская империя оказалась разделена между двумя августами, и Лициний правил ее восточной частью, которая всегда была богаче и культурнее западной. В 314 году Лициний женился в Медиолане на сводной сестре Константина по имени Констанция, дочери Феодоры.

Оказавшись правителем Балкан, Греции, Малой Азии, Леванта и Египта, Лициний фактически стал царем всего эллинистического Востока. У августа Востока были все шансы править им столько же, сколько недавно правил Диоклетиан и войти в историю достойным соправителем Константина, связанным с общей ответственностью за судьбу Империи. Однако столь светлая и вполне реальная на первый взгляд перспектива оказалась невозможной в первые же месяцы его правления, потому что по своему происхождению и ментальному складу он практически ничем не отличался от всех скончавшихся за последние годы тетрархов. Возможно, если бы ему пришлось делить власть со своим покровителем Галерием, как некогда Максимиан делил власть с Диоклетианом, то он умерил бы свои амбиции, будучи благодарным коллеге-августу, который поднял его за собой на вершину имперской иерархии. Но Константин не был его покровителем, и, более того он был его конкурентом еще в те времена, когда они не обладали никакими властными полномочиями, но зато Галерий уже нарисовал в своем уме судьбу их. Поэтому Лициний, вместо того чтобы воспринять Константина как своего союзника, подсознательно все время видел в нем конкурента и все время вел с ним внутреннюю войну. Вместе с этим про любого политика очень важно понять, какую конечную цель он преследует, какова основная, глубинная мотивация всех его действий. Константин относился к тем политикам, для которых власть была средством для преобразования государства и общества — разумеется, «преобразования» в том смысле, который каждый политик имеет в виду, потому что то, что для одного человека «преобразования», для другого катастрофа. Конечно, Константин был очень честолюбивым человеком, совсем не похожим на своего отца в этом отношении, но честолюбие Константина принесло христианству больше пользы, чем скромность Констанция. Более того, Константин вполне мог пойти на самые жесткие меры в достижении своих целей, но он шел на эти меры только тогда, когда он видел в этом определенный смысл, а не устраивал перманентный террор по любому поводу, подобно своим

соперникам. В этом смысле психологический тип Константина как политика вполне можно сравнить с Диоклетианом, которому никак не откажешь в честолюбии и готовности применять крайние методы, но в то же время его нельзя назвать маниакальным тираном: он обещал через двадцать лет уйти в отставку и ушел, он начал террор против Церкви, но он его закончил своим уходом, и как бы он ни ненавидел христиан, нельзя сказать, чтобы он наслаждался их муками, подобно своим коллегам. Лициний же принадлежал к совершенно противоположному типу политика, для которого власть была самоцелью, подобно Максимиану или Максимину. И поэтому сам факт ограниченности этой власти — во времени, в пространстве или в полномочиях — он воспринимал весьма болезненно. Лициний достигал власть не для того, чтобы что-то изменить в государстве, а для того, чтобы достичь еще больше власти. Можно сказать, что он был достаточно умнее Максимиана или Максимина, чтобы вовремя останавливаться на «красный свет», иначе бы он просто не пришел к «финишу» вместе с Константином, но он был весьма пуст для того, чтобы понять, что гонка за власть не может быть смыслом жизни.

Лициний прекрасно понимал, что его часть Империи привлекательнее западной части Константина и у него, в принципе, нет никаких оснований считать себя хоть в чем-то обделенным, подобно тому каким он был, когда еще два года назад правил имперским «захолустьем» Рецией и Паннонией. Но он также понимал, что Константин в восприятии солдат и многих других жителей Империи привлекательнее его самого: у Константина была своя романтическая история прихода к власти; при этом он происходил не из «низов», а наследовал власть предыдущего августа; достигнув власти, он «пришел, увидел, победил» Максенция, бывшего самой большой проблемой Империи. Лициний же не был сыном августа, но в его восхождении не было ничего романтичного, его просто поднимали за собой и ставили на нужные места, а его столкновение с Максимином Дазой, само по себе абсолютно оправданное, на идеологическом уровне воспринималось как победа христианства над язычеством, что только укрепляло позиции Константина. Исходя из всех этих соображений, Лициний испытывал целый *комплекс* негативных чувств к Константину, а теперь еще ощущал себя лишь проводником его прохристианской политики, подписав Медиоланский эдикт и разбив Максимина. Спрашивать же о том, какое значение имели для него мистические видения перед битвой на Серенских полях и женитьба на сестре Константина, достаточно наивно — если бы

такие вещи имели для него хоть какое-то значение, он бы не оказался с Константином по разным сторонам линии фронта. В итоге Лициний сам себе внушает, что Константин не может быть его союзником и остается его врагом, а врага нужно уничтожить, что в данном случае означает всем Востоком напасть на Запад. Следуя этой «железной логике», Лициний решил, что раз Константина больше всего поддерживают христиане, то их пребывание в его половине Империи, то есть на всех трех континентах, выполняет роль «пятой колонны», с которой нужно расправиться первым делом, а его собственной опорой отныне будут язычники, видящие в Константине своего главного врага.

Аврелий Виктор, коего невозможно заподозрить в симпатиях к Константину, отмечает, что *«Константин всем врагам своим оставлял почет и имущество и принимал их в свои друзья; он был так благочестив, что первый отменил казнь через распятие и перебивание голеней. Поэтому на него смотрели как на нового основателя государства и почти как на бога. У Лициния же не было предела пыткам и казням, по образцу рабских даже для невинных и знаменитых философов*» (О цезарях, 41). Поэтому Лициний не нашел ничего лучше, как нарушить подписанный им Медиоланский эдикт и устроить новый взрыв массового антицерковного террора, продолжив, тем самым дело Максимина. При этом специфика репрессий Лициния заключалась в том, что он не издавал никакого открытого эдикта по этому поводу, а действовал полутайно, отдавая приказы уничтожать самых заметных христиан, особенно предстоятелей Церкви. Среди жертв его гонений за все время его правления можно вспомнить таких, как святые Власий Севастийский (+116), Федор Стратилат (+119), Василий Амасийский и др. Вспоминается также очень характерный случай, произошедший при Лицинии с сорока воинами-христианами, происходившими из Каппадокии, которых Церковь чтит как Сорок Севастийских мучеников (+320). Когда зимой 320 года их войско стояло в армянском городе Севастии, военачальник по имени Агрикола решил устроить жертвоприношения языческим богам для всех воинов. Конечно, он не мог не знать, что среди них есть христиане, тем более он был мотивирован на выявление «пятой колонны». Целых сорок человек отказались участвовать в этих жертвоприношениях, и тогда он начал склонять их к отречению разными способами, последний из которых был особенно изощренным: он приказал раздеть их догола и выставить в покрытое льдом озеро. На берегу ледяного озера Агрикола поставил теплую баню и сказал, что все, готовые отречься от Христа, могут в ней попариться. Мученики стояли во льду всю ночь, а на утро один из них все-таки побежал

в баню и тут же умер. При этом один из их стражников по имени Аглай заявил: *«И я — христианин»*, разделся и присоединился к ним. Когда же наступил день и Агрикола понял, что он не столько опозорил их, сколько себя, то приказал перебить им всем голени и сжечь. Так Церковь обрела сорок святых мучеников, их имена — Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай.

История Сорока Севастийских мучеников характерна тем, что в эти времена христианство стало весьма распространено в армейской среде, и в немалой степени потому, что сам император Константин показал пример хорошего отношения к христианам. Вряд ли стоит подробнее рассказывать о садизме Лициния над христианами, одно можно сказать — в этом деле он не уступал ни Галерию, ни Максимиану, ни Максенцию, ни даже Максимину. Недолго Восток Империи радовался Медиоланскому освобождению, так что Лициний мог и не побеждать Максимина и его битва на Серенских полях, весьма подробно описанная Лактанцием, не вошла в историю христианства, подобно битве Константина у Мульвийского моста.

Идеологическая проблема Лициния, как, впрочем, и очень многих язычников, заключалась в том, что он не мог выбрать себе какой-то один языческий культ и обращался сразу ко всем, чтобы быть своим для всех жрецов и шаманов Востока. Как и при дворе Максенция и Максимина, в его резиденции в Никомедии можно было встретить кого угодно от авгуров и гаруспиков до вавилонских и египетских колдунов.

Лициний готовился к войне с Константином, и ему все время нужно было знать, как к этому относятся оракулы, звезды, птицы, кишки зверей и людей. Объединить язычников в единый фронт было невозможно, потому что они сами конкурировали друг с другом, а представить христианство как общего врага было весьма сложно, поскольку далеко не все язычники оценивали вызов этой пресловутой религии. Среди аргументов Лициния против христианства, особенно понятных людям военного и сельского склада типа его самого, было обвинение христианства в том, что это «чужеземная» и «неизвестная» религия. Так он решил перед своим первым боем собрать всех своих титулованных друзей и щитоносцев во влажную и тенистую «священную рощу» очередного языческого бога, чтобы совершить там

жертвоприношение и прочесть программную речь, обосновывающую его поход на Запад (см. Евсевий. Жизнеописание, 2,5). Основным смыслом этой речи было обвинение Константина в том, что он поклонятся «неизвестно откуда взявшемуся» Богу, попирая богов предков, которых всегда больше числом и которых предки завещали чтить. К сказанному он добавил, что предстоящие сражения докажут, чьи боги сильнее — родные или «неизвестный» Бог Константина, а если окажется, что именно Бог Константина, то им придется его чтить. Хотя все это рассуждение для современного рационалиста на первый взгляд кажется несколько фантастическим, следует признать, что оно совершенно не противоречит архаичной языческой логике. Действительно, с языческой точки зрения главным основанием для веры в какого-либо бога является укорененность в той этнической и региональной культуре, к которой принадлежит сам язычник. Подобным образом отрицали христианство и многие иудеи, которые ревновали не столько к истине, сколько к «традициям предков». Элементарный логический довод о том, что «предки» не могут быть критерием истины, потому что «предки» у всех разные, а истина одна, нечасто бывает услышан рассуждающими подобным образом, потому что для этого с самого начала нужно выстраивать свою логику от общих, универсальных оснований, а не от личных чувств привязанности и идентичности, имеющих чисто эмоциональную силу. Но в том-то все и дело, что в задачи Лициния не входило кого-либо убеждать — ему нужно было не убеждать, а *внушать* своему окружению зловредность Константина и апеллировать не к сознанию, а к бессознательному, которое в вопросе экстренной мобилизации масс всегда имеет определяющее значение.

Помимо чисто религиозных причин назревающей войны, у нее появился конкретный повод. Как бы это странно ни показалось на первый взгляд, но Константин хотел продолжать развивать тетрархию, а не становиться единоличным монархом. Поэтому он от своего имени выдвигает в цезари некоего Бассиана, женатому на его сестре Анастасии. Но очень скоро выясняется, что этот Бассиан оказывает сопротивление политики Константина, что объясняется влиянием на него его брата Сенециона, оказавшегося родственником Лициния. Узнав об этом, Константин лишает Бассиана статуса цезаря и требует у Лициния выдачи Сенециона, на что восточный август отвечает резким отказом. Параллельно с этим сам Лициний выдвигает своего приятеля, начальника пограничной службы Валента, в собственные цезари, подобно тому как когда-то Галерий выдвинул самого Лициния. На этом фоне в пограничном городе

Лициния Эмоне (ныне Любляна) разрушают статуи Константина. Как сказал по этому поводу историк Я. Буркхард, *«Константин вынужден был атаковать»* (Век Константина Великого, 7).

Первая стычка между Лицинием и Константином произошла в 314 году в земле кибалов, у озера Гиюльк в Паннонии (иначе при Цибале/Кибале, ныне Винковицы в Хорватии). Константин, конечно, знал о планах Лициния и о месте пребывания его лагеря. Если, по Евсевию, первым начал сражение Лициний (Жизнеописание, 2,6), то, по Аврелию Виктору, первым напал Константин (Извлечения, 41). Всего воинов Константина было 25 тысяч, а у Лициния 35 тысяч, из которых 20 тысяч он потерял. Второе сражение произошло уже во Фракии на Мардийской равнине, где Константин решил ударить по фронту и с тыла, послав в обход 5000 воинов. Лициний догадался об этой хитрости и поставил свои войска на две линии, так что солдатам Константина пришлось воевать с двумя фронтами. В этом сражении Лициний пошел путем Максенция — тот опирался на преторианскую гвардию, а Лициний стал мобилизовывать ветеранов Диоклетиановых времен, в основном ненавидящих христианство. Поэтому сражение длилось очень долго и ожесточенно, но когда Лициний начал проигрывать, он приказал войскам отступить к горам Македонии. Попутно заметим, что точные даты этих битв в науке остаются предметом дискуссий и колеблются от 314 до 316 года.

В результате этих двух сражений в 317 году обе стороны решили пойти на переговоры, сам факт которых для Константина означал победу, а для Лициния — поражение. В ходе переговоров императоры приняли два принципиальных решения. Во-первых, территория Константина отныне расширялась за счет Паннонии, Далмации, Дакии, Македонии и Греции. Фактически Константин занял всю Европу, кроме Фракии, любезно оставленной Лицинию. Следовательно, Лициний из императора восточной части Империи превращается в императора Азии и Египта, имеющего небольшой кусочек в Европе. Но не нужно быть искушенным геополитиком, чтобы увидеть в этой уступке почву для будущего конфликта: естественные границы всегда прочнее, и если бы они разделили территорию по Босфору, то Лицинию пришлось бы придумывать сверхъестественные причины, чтобы в следующий раз напасть на Запад. Однако его границы остаются в Европе, и он будет искать повод, как этим воспользоваться. Во-вторых, оба императора назначают цезарей — Константин назначает цезарями своего первого сына Криспа (от Минервины) и годовалого Константина (от Фаусты), а Лициний своего полуторагодовалого младенца Лициниана (от Констанции). Вряд

ли кто-то серьезно воспринимал эти назначения как продолжение тетрархии — цезарь, по определению, не может быть младенцем, поскольку это действующее лицо, а кроме того, тетрархия требует доверительных отношений, явно отсутствующих у двух императоров. Другим решением этих переговоров было лишение Валента статуса цезаря и возвращения его в положение частного лица.

С получением Восточной Европы Константин был вынужден переключить свое внимание с западных варваров на восточных, а именно на сарматские и готские племена, ставшие главной головной болью любого наместника Балкан. В итоге в 317 году Константин переезжает в Сердику (ныне город София), что очень раздражает мнительного Лициния, поскольку он видит в этом приближение к его границам. В 323 году Константин идет в новый поход на сарматов, и его войска оказываются во Фракии, то есть на территории Лициния, в чем последний увидел объявление войны. Точнее говоря, очень хотел увидеть. 3 июля 324 года у города Адрианополя (рядом с Византием) состоялась эпохальная битва, где Константин, как всегда, проигрывал в количестве своих воинов, но зато выигрывал в качестве. У Лициния было 150 тысяч солдат пехоты и 15 тысяч кавалерии, а у Константина 120 тысяч солдат пехоты и 10 тысяч кавалерии, причем эта армия была собрана специально для войны с сарматами, но теперь ее придется бросить на восточного августа.

Войска противников стояли на разных берегах реки Гебр (ныне Марица), и Константин решил повторить свой подвиг у Мульвийского моста: всего с 12 всадниками он преодолел реку и молниеносно атаковал фронт Лициния с фланга. Потерпев поражение, Лициний отступает к Византию, где запирается от Константина. Именно теперь, как никогда, Константин смог оценить уникально выгодное географическое положение Византия, который, мягко говоря, очень сложно взять кавалерийским наскоком. В Византии Лициний имел 300 кораблей военной флотилии под командованием адмирала Абанта. Но тут на помощь Константину приплывает его флот из Рейна под командованием его сына, цезаря Криспа, состоящий из 1000 транспортных лодок и 200 кораблей. Сначала Крисп занял Босфорский пролив, но вовремя заметил, что если в нем скопится много больших кораблей, то сражение может кончится «Саламином». Поэтому он направляет корабли в ближайшие гавани, в первую очередь в Хрисополь, чтобы там выжидать начало военных действий. И вот наступил день, когда флотилия Лициния вышла в пролив, но тут неожиданно началась настоящая буря, направляемая юго-восточным ветром, отчего 130 его

кораблей брошены были на камни и утесы азиатского берега, а 5000 моряков оказались на дне моря. Тогда Лициний переплывает на азиатский берег Босфора и прячется в городе Халкидоне, где объявляет о том, что больше не признает Константина августом, и назначает своего «августа Запада», коим становится его магистр оффиций (начальник служб) по имени Мартиниан. Первым делом «западный август» без Запада должен направиться в ставку Константина и помешать ему пересечь Геллеспонт, но настоящий август Запада высаживается на слишком далеком от него берегу и наступает на остатки армии Лициния. Теперь обе стороны встретились у города Хризополиса на Босфоре, и Лициний терпит сокрушительное поражение. С тридцатитысячным войском Лициний отступает в Никомедию и прячется за ее стенами. Осознав неизбежность своего поражения, он посылает к Константину его сестру и свою жену Констанцию, которая приносит брату императорские одежды мужа и просьбу о помиловании.

18 сентября 324 года Лициний был арестован, и Константин Великий стал единоличным правителем всей Римской империи. Вместе с Мартинианом Лициния сослали в Фессалоники под домашний арест. Константин сдержал свое обещание и сохранил ему жизнь. Даже по сведениям языческих авторов прощенный Лициний, подобно Максимиану, не успокоился и попытался организовать мятеж, вступив в переписку с сарматами, за что попал под самую суровую статью о предателях и дезертирах, за которую полагалась смертная казнь, и теперь уже охраняющие его готы исполнили приказ и казнили его.

Когда Константин стал единоличным правителем Римской империи, ему было 52 года. Больше у него не было ни одного соперника. Про Константина нельзя сказать, что он не стремился к власти, в противном случае он бы и не обладал ею, но он не стремился к *абсолютной власти*, которую он обрел в 324 году. Константин не готов был делить Империю с Максенцием, потому что он был узурпатором, но он готов был делить ее с Лицинием, потому что его власть была вполне легитимна. Однако Константин не был виноват в том, что его коллеги сами придумали в нем врага, а потом делали все, чтобы подтвердить эту фантазию в реальности.

В 324 году христиане, проживающие в римских провинциях Азии и Африке, а также во Фракии, обрели ту безопасность, которую их единоверцы в Галлии и Британии имели последние пятьдесят лет, и те возможности, которые они получили последние одиннадцать лет.

Часть 6. ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

32. Эксцесс донатизма

Медиоланский эдикт 313 года и разгром Лициния 323 года радикально изменили жизнь Церкви в Римской империи, избавив ее от множества проблем, но вместе с этим поставив перед ней новые вопросы, о которых еще десять лет назад трудно было даже помыслить. Далеко не все христиане смогли выдержать это глобальное изменение своей жизни, многие настолько привыкли к режиму постоянного выживания и преследования, что восприняли наступившее освобождение как искушение и оказались не готовы к нему. Теперь Церковь оказалась в уникальной для себя ситуации, когда ни одна из ее проблем не могла объясняться исключительно внешними обстоятельствами, произволом тиранического государства или агрессией языческого общества, как это было до сих пор. Теперь настало время обратить внимание на внутренние причины каких-либо церковных нестроений, обусловленные несовершенством самой церковной системы и самих священнослужителей, независимых от внешнего давления. При этом решение внутрицерковных проблем, сколько бы сложными они ни были, требовало особой скорости, поскольку Империя была готова для относительно свободного воцерковления, но для этого прежде всего должна была быть готова сама Церковь. Разумеется, нельзя сказать, что Церковь больше не зависела от Империи, скорее даже наоборот: если раньше Империя либо игнорировала Церковь, либо уничтожала ее, то теперь она обратилась к ней как к своему учителю и поэтому тем более стала весьма пристрастна к ее проблемам. Сама церковная иерархия вряд ли могла жаловаться на такой поворот событий, — Церковь три столетия стремилась воцерковить окружающий мир и в определенном смысле добилась своего, теперь же сам мир стал пристрастен к ней и поэтому более требователен, чем раньше.

Из всех серьезных проблем Церкви к началу IV века наиболее заострились проблемы церковной этики, с одной стороны, и доктринального вероучения — с другой. Первая проблема была связана с вопросом о том, насколько личное нравственное поведение отдельных священнослужителей может влиять на мистическую природу Церкви как таковой. Можно ли признать священнодействия любого иерарха недействительными, если сам он совершенно не соответствует идеалу церковного пастыря? Вторая проблема была связана с вопросом о том, какие конкретно положения христианского вероучения должны иметь для христианина абсолютное значение, без признания которых он

просто перестает быть христианином. Достаточно ли считать правильным христианином того, кто соблюдает этические заповеди и церковные обычаи, но не разделяет какие-либо из основных положений христианской доктрины? На оба вопроса Церковь ответила отрицательно, но для того, чтобы эти ответы вообще были возможны, необходимо было всей Церкви собраться и продемонстрировать свое единство в этих вопросах. До сих пор такое всецерковное собрание было крайне затруднительно, во-первых, потому, что в условиях гонений Церковь физически не могла себе позволить такой роскоши, а во-вторых, потому, что стопроцентного единства по этим вопросам между всеми епископиями никогда не существовало.

В начале IV века в Африке вспыхнул раскол по поводу тех же проблем, что в середине III века спровоцировали расколы Новата в Карфагене и Новациана в Риме, только теперь исторической причиной были гонения Диоклетиана и его тетрархов. Среди церковного народа вновь забурлило движение новых новациан, устраивающих громкие манифестации и отказывающихся признавать клириков, замеченных в компромиссах с имперскими властями. Если следовать логике этих радикалов, то христианами имели право называться только изувеченные мученики, а никакое покаяние за временное отступление от Церкви было бы невозможно. На самом деле в этой абсурдной логике было больше бессознательного манихейства и монтанизма, чем трезвомысленного христианства.

Когда в 303 году Диоклетиан потребовал от епископов сдать все священные книги, то некоторые из служителей Церкви догадались, что далеко не каждый инспектор способен отличить действительно священные христианские тексты от любых других. Например, епископ Карфагена Мензурий вместо Библии сдал книги каких-то еретиков, а папа римский Марселин сдал богослужебные книги. В соседней с Карфагеном Нумидии один епископ вообще сдал медицинскую литературу и имперская власть не обратила на это никакого внимания, но зато он был обвинен в предательстве Церкви (традиторстве) своей же паствой, не знавшей об этой хитрости. Нумидия вообще была центром непримиримых настроений, и оттуда началось движение против соседних епископов. Карфагенский епископ Мензурий терпеливо усмирял набирающие силу протесты, а его главным помощником в этом деле был архидиакон Цецилиан, которому приходилось разгонять этих радикалов на тюремных дворах, где они устраивали митинги в поддержку заключенных мучеников и сами нарывались на заточения, провоцируя местные власти к усилению антицерковных гонений. После смерти Мензурия карфагенским

епископом был избран Цецилиан, что, естественно, вызвало шумные протесты со стороны радикалов. Характерной особенностью обвинений против Цецилиана со стороны радикалов было то, что один из трех рукоположивших его епископов, Феликс Аптонгский, был замечен в сдаче священных книг, а значит, сам Цецилиан не может быть епископом.

В итоге в Карфагенской епархии произошел переворот, организованный нумидийскими епископами, поставившими новым епископом лидера радикалов Майорина, а после него другого лидера Доната, успевшего до этого возглавить совет по низложению Цецилиана. По учению Доната святость Церкви определяется личной святостью ее священнослужителей, которые в случае определенных прегрешений теряют дары Святого Духа и все их таинства становятся недействительными. Донатистская этика предъявляла к клирикам сверхъестественные требования и поэтому была очень популярна среди простого народа. Любой прихожанин мог позволить себе ослушаться епископа или пресвитера и вообще перестать участвовать в его богослужениях, если бы заметил за ним какие-либо недостатки. Следовательно, максималистская позиция Доната на практике приводила к обратным результатам: прихожане либо вообще переставали жить жизнью Церкви, либо подменяли Христа каким-то донатистским авторитетом и причащались только в его храме. Но самая главная ошибка донатизма заключалась в том, что это учение ставило силу Святого Духа в абсолютную зависимость от греховной воли человека и тем самым оно обессмысливало существование Церкви как богоуста-новленной реальности, которую не могут одолеть даже врата адовы (Мф. 16:18), а не то что чьи-то частные пороки. Если бы у какого-либо епископа потеряли свою силу апостольское преемство или евхаристия, как только бы он впал какой-нибудь грех, то само существование Церкви уже в первом поколении было бы невозможно и ее установление Христом и Святым Духом было бы бессмысленно. Донатисты же фактически объявили единственно истинной Церковью только самих себя, отказывались причащаться в других храмах и заново перекрещивали тех, кто приходил причащаться к ним из других епархий. Налицо были все признаки нового церковного раскола, в котором оказалась почти вся Западная Африка.

В 313 году, когда Константин только победил Максенция и издал Медиоланский эдикт, епископ Донат, при всем своем «анархизме», обратился к императору с просьбой разрешить его спор со всей Церковью посредством собора галльских епископов, которые не испытывали гонений и поэтому вне подозрения относительно сотрудничества с гонителями. Как нетрудно

догадаться, Константин был поставлен этой просьбой в двусмысленную ситуацию. С одной стороны, он очень хотел утешить христиан, законно обиженных на Империю за годы гонений, и пойти им навстречу, но, с другой стороны, он видел, что требования Доната нерепрезентативны для всей Вселенской Церкви, что он фактически представляет раскол имени себя самого. Сложность этой ситуации усугублялась другой двусмысленностью, а именно тем, что Константин ни в коем случае не хотел показаться христианам вмешивающимся в их жизнь и желал им только мира и спокойствия, но отказ от принятия какого-либо решения мог бы вызывать еще большее неприятие в его адрес и дезавуировало его как императора. Кроме того, не стоит забывать, что от умозрительного на первый взгляд спора церковников между собой напрямую зависела их власть внутри Церкви, а следовательно, их право распоряжаться конкретными территориями и зданиями, то есть предметами имперской власти. Таким образом, задолго до крещения и только приступая к открытию христианских истин, император Константин волей-неволей оказался втянут во внутрицерковные проблемы на правах судьи. Теоретически, конечно, Константин мог отказаться от выяснения отношений между церковным большинством и донатистами, как и во всех иных подобных спорах, но тогда бы ему было очень сложно опираться на Церковь как идеологически-общественную силу и самому выступать субъектом христианской политики, которым он, безусловно, очень хотел бы быть. Обращение к Константину как разрешителю внутрицерковного спора было для него не просто приглашением к «диалогу с Церковью», а приглашением к прямому соучастию в жизни Церкви, выражением существенного доверия, которого могло бы и не быть. Поэтому мы имеем право осуждать самих церковников, которые пошли выяснять собственные проблемы к императору, но нет смысла осуждать самого императора, который как религиозный политик имел все основания для того, чтобы ответить на этот запрос. Если Церковь не хочет, чтобы государственная власть вмешивалась в ее дела, то не надо тогда от самой власти требовать каких-либо преференций в сторону Церкви. Если же государственная власть идет навстречу Церкви мимо каких-либо формальных и неформальных препятствий, то тогда Церковь должна внимательнее относиться к такой власти и ценить ее за это расположение.

В 313 году состоялся первый Собор по делу донатистов в Риме, на котором специально собранные галльские епископы низложили Доната и оправдали епископов Цецилиана и Феликса. В том же году Собор в Карфагене подтвердил решения Римского

Собора. Возмущенный Донат подал императору повторную апелляцию, и тогда Константин 1 августа 314 года собрал в галльском городе Арле второй Собор по этому вопросу и на нем вновь подтвердил решения Римского Собора. По итогам этого Собора донатисты были лишены своих храмов, их клирики низложены и сосланы. Русский богослов, протопресвитер Александр Шмеман в своей книге «Исторический путь православия» (1954) упрекает Константина за созыв этого второго Собора, потому что, с его точки зрения, император должен был сослаться на уже состоявшееся соборное решение и не вмешиваться в церковные дела. По протоиерею А. Шмеману, Константин совершил *«непоправимый шаг, с которого начинается многовековое трагическое недоразумение между теократической Империей и Церковью»*. Однако, как очень правильно замечает историк христианства А.А. Дворкин, *«Константин руководствовался самым искренним желанием сохранить мир в Церкви, дать ей возможность самой разобраться в своих проблемах»* («Очерки по истории Вселенской Православной Церкви», 2008 г.). Действительно, в этом положении любое поведение императора можно было бы интерпретировать как давление на Церковь — и созыв Собора, и отказ от этого созыва. Во многих внутрицерковных конфликтах христиане сами обращались к Империи за поддержкой, что во многом объяснялось их желанием воцерковить само государство, сделав его соучастником своих внутренних споров. Поэтому, даже если согласиться с крайне критической оценкой влияния Империи на Церковь, невозможно не признать, что это влияние было следствием двустороннего взаимодействия, где Церковь выступала весьма заинтересованной инстанцией.

Хотя донатизм был осужден, его позиции все равно были очень понятны и привлекательны многим экзальтированным прихожанам и донатистские волнения периодически продолжали вспыхивать в Западной Африке. Экстремистская сущность донатизма подтвердилась, когда его лидеры объединились с псевдохристианским движением циркумциллионов («бродящих вокруг сельских жилищ»), совершающих всевозможное насилие над богатыми мирянами и клириками, которых они считали недостаточно аскетичными. Только в 411 году на Карфагенском Соборе донатистское учение подробно обсуждалось и было окончательно осуждено во многом благодаря богословским аргументам гиппонского епископа Августина Блаженного (354–430). Но даже после этого Собора донатистские настроения и целые общины продолжали существовать в этом регионе, пока в 700 году он не был завоеван арабами-мусульманами, и тогда уже

донатистам некого было критиковать за излишние компромиссы с властью, поскольку и самих донатистов больше не стало.

Осуждение донатизма имело крайне важное, принципиальное значение в истории христианства, поскольку оно утвердило непреходящую мистическую природу Церкви и положило предел любым попыткам расколоть Церковь на основании личного поведения тех или иных священнослужителей. Конечно, подобные попытки были довольно часто и иногда достигали успеха, но зато православные христиане точно знали, что эти расколы нарушают основы церковного мировоззрения. Представитель церковной иерархии может быть сколь угодно грешным человеком, но тогда можно осуждать его самого, а не всю Церковь, и никакие его прегрешения не могут лишить прихожан возможности участвовать во всех возможных таинствах вместе с ним, потому что, приходя в храм, они приходят не к какому-то человеку, а к самому Богу. И только в том случае священнослужитель теряет свои мистические дары, если он будет низложен самим Церковным Собором.

33. Вызов арианства

Вслед за донатистским расколом, относительно преодоленным с помощью имперской власти, в это же время в Египте вспыхнул еще один раскол, также спровоцированный прошедшими гонениями. Епископ Александрийский Петр, занимающий кафедру с 295 года, скрылся от гонений далеко за городом, а за это время туда прибыл фиваидский митрополит Мелетий Ликопольский, низложенный Петром за принесение жертвы языческим богам во время гонений, по имени которого назван разгоревшийся Мелетианский раскол. Александрийскую епископию Мелетий нашел в совершенно бесхозном состоянии, где даже не проходили службы и не было ни одного пастыря, поэтому он срочно рукоположил двух пресвитеров, которые должны были временно управлять церковной жизнью города без епископа. Одного из этих двух пресвитеров звали Арий. В 311 году Петр Александрийский вернулся в свой город и отлучил новых пресвитеров, а уже в 312 году был арестован и казнен властями Максимина Дазы. В истории Церкви он остался не только как последний александрийский священномученик, но и как автор «Слова о покаянии», написанного по возвращении в Александрию, из которого было составлено 15 канонических правил. После его мученической кончины Александрийскую кафедру возглавил епископ Ахилл, который вскоре скончался, и его место в 313 году занял епископ Александр, известный нам как святитель Александр Александрийский.

По прошествии времени, в 316 году, Александр Александрийский столкнулся в споре с пресвитером Арием, которого рукоположил еще Мелетий, потом отлучил епископ Петр, а после покаяния заново рукоположил епископ Ахилл. Пресвитер Арий (256–336) был родом из Ливии, учился в Антиохии и приехал в Александрию в 310 году. Хотя Арий уже успел быть отлученным самим Петром Александрийским, он пользовался среди многих александрийцев большим успехом, поскольку отличался особой строгостью, ученостью и красноречием, даже писал песни и составил сборник своих сочинений под названием «Пир» (Θάλια). Причину его столкновения с архиереем многие объясняли тем, что после смерти епископа Ахилла он сам должен был занять его место, но вместо него был избран Александр, и в этом смысле мы имеем классический случай противостояния строптивого пресвитера и законного епископа, подобно конфликту Новата и Киприана Карфагенского.

К этому надо добавить, что положение африканских пресвитеров сильно отличалось от положения их коллег на других континентах, поскольку они имели больше власти во всех смыслах словах, например, по сведениям святого Иеронима Стридонского, они могли отлучать от Церкви и принимать участие в рукоположении епископов. В своих кварталах, отделенных друг от друга бульварами (почему они назывались «лаврами»), пресвитеры пользовались огромной властью, как, например, Арий был реальным духовным лидером своего пресвитерства Баукалис.

Поэтому в своем конфликте с епископом Александром он получил поддержку многих других пресвитеров, а также и некоторых африканских епископов, недовольных излишним возвышением Александрийской епископии, которая получила статус митрополии, так что все подчиненные ей епископы фактически были викарными, или «хорепископами», как их называли (деревенскими епископами). Однако, сколь бы остры и очевидны ни были социально-политические причины конфликта пресвитера Ария и его правящего епископа, этот конфликт никогда бы не запомнился в истории Церкви, если бы за ним не стояли достаточно глубокие богословские противоречия, потрясшие церковную жизнь до самого основания, а именно: пресвитер Арий проповедовал представление о Сыне Божием как Его творении, которое когда-то не существовало, а потом вдруг было создано Богом-Отцом «из ничего», и поэтому Сын, будучи самым совершенным творением Отца, не равен ему по природе, а строго подчинен как любая тварь своему Творцу…

Когда современный сознательный православный христианин открывает для себя учение Ария, то оно представляется ему явно противоречащим христианству, и поэтому возникает определенное недоумение, как эта очевидная ересь вообще могла распространиться в Церкви и вызвать столь глобальный резонанс, вместо того чтобы в корне быть уничтоженной на уровне одного прихода.

Проблема в том, что многие христиане начала IV века, даже наиболее образованные, не до конца отдавали себе отчет в том, во что конкретно они верят, и поэтому легко становились жертвами любого ученого еретика, который под видом объяснения их веры внушил бы им свои собственные представления. Что же тогда говорить о тех простых христианах, которые были далеки от богословской въедливости, — для многих из них учение Ария казалось вполне приемлемым, и нужно было специально погружаться в богословские вопросы, чтобы понять его несовместимость с христианством. Ведь Арий

был христианским пресвитером, он молился Христу и проповедовал его, говоря о нем самые возвышенные слова, и поэтому не каждый мог догадаться, что на самом деле его учение в корне нехристианское. При этом среди образованных христиан у Ария появилось много последователей, прекрасно понимающих смысл его учения и считавших его наиболее правильным, поскольку, с их точки зрения, оно было наиболее понятным и стройным на фоне тех сложных и «туманных» сентенций, которые говорили его оппоненты. Таким образом, успех учения Ария был обеспечен, с одной стороны, богословской необразованностью и невнимательностью его простых поклонников, а с другой стороны, его близостью тем упрощенным метафизическим схемам неоплатонического происхождения, которые разделяли многие христианские интеллектуалы. Но между тем вызов арианства касался не каких-то вторичных и периферийных богословских тем, этот вызов был обращен к сердцевине христианского вероучения, и поэтому признание арианства означало бы конец всего христианства как такового. Арианство фактически утверждало, что Христос — это не Бог, и именно в этом заключалась его страшная разрушительная идея, подрывающая основу основ христианского мировоззрения. Казалось бы, неужели столь очевидная ересь не могла быть замечена и разоблачена с самого начала? Так в том-то все и дело, что Арий облек эту антихристианскую идею в такие слова, что она была незаметная даже многим богословствующим клирикам, а не то что простым мирянам. Но не все христиане были столь невнимательны…

Для современного читателя это может показаться странным, но до эпохи Константина Вселенская Церковь не имела ни одного текста, систематически излагающего христианское вероучение и имеющего всеобщеобязательную силу. Все, что было в этом отношении у христиан первых трех столетий, — это книги Священного Писания, то есть Библия, и книги Священного Предания, то есть собрание авторитетных богословов, многие из которых стали Отцами Церкви. На целостное изложение христианского вероучения впервые претендовали только «Строматы» Климента Александрийского и «О началах» Оригена, но, во-первых, они были доступны только очень небольшой прослойке философски образованных интеллектуалов, а во-вторых, их несовершенство ощущалось с самого начала, и оба автора так и не были признаны Отцами Церкви. Священству было достаточно того, что было написано в книгах Библии и прокомментировано авторитетными богословами, и, вполне возможно, никаких доктринальных догматических текстов в

Церкви никогда бы не появилось, если бы не было двух причин, вынуждающих взяться за их написание.

Первая причина — это столкновение с систематической мыслью языческой Греции и Рима, которая требовала описания христианской картины мира не только в образноповествовательной форме, как это было в Библии, но и в понятийно-систематической, как у Аристотеля или Плотина. Например, философу мало сказать, что «Бог существует», ему нужно сначала дать точное определение самого понятия «Бог» и понятия «существование», и только после этого разговор на эту тему будет иметь для него смысл. А когда речь идет о том, что Бог воплотился в человеческой природе и стал Богочеловеком, то здесь для философа требуется целый словарь точных понятий, которые можно соотносить друг с другом без логических противоречий. Именной этой работы очень боялся Тертуллиан, но ею с удовольствием занялся Ориген, потому что без нее вести ответственный диалог с греческой философией было невозможно.

Вторая причина — столкновение с внутрицерковными ересями, кажущимися зачастую весьма убедительными, поскольку они пользовались непроясненностью основных богословских понятий. В этом смысле православные богословы IV века в полемике с арианами типологически оказались в той же ситуации, что и восемь веков назад ответственно мыслящие греческие философы типа Сократа в полемике с софистами, но только православным было еще сложнее, поскольку ариане, в отличие от софистов, часто выставляли себя блюстителями логических законов и точных определений. Однако необходимость обратиться к понятийному языку философии была обусловлена не только задачами катехизации — как культура мышления, философия способствовала внутренней самоорганизации христианской мысли, прояснению христианских смыслов для самих христиан, чтобы они хотя бы сами себе смогли отдать отчет в собственных убеждениях. В этой связи наиболее показательно и поразительно то обстоятельство, что Церковь начала активно осваивать достижения философской мысли Античности в то же самое время, когда ей пришлось осмыслять государственную политику Римской империи как продолжение своей миссии. Христианизация античной философии и античной государственности происходила практически одновременно, и это совершенно естественно, потому что и античная философия, и античное государство — это неотъемлемые части общей античной культуры. Поэтому формулирование общецерковных догматов, с одной стороны, и воцерковление Империи, с другой стороны, составляют частные аспекты общего процесса *христианизации*

античной культуры в IV веке, основным организатором которого был Константин Великий.

Особенностью учения Ария было его двойственное происхождение, а именно от двух полярных богословских школ первых веков, Александрийской и Антиохийской, от которых он унаследовал самые худшие черты с православной точки зрения.

Александрийская школа нам уже знакома — Вселенская Церковь обязана ей тем интеллектуальным прорывом, который обеспечили ей Климент и Ориген, со всеми известными издержками их достижений. Отличительной чертой Александрийской школы был подчеркнутый интерес к мистической сложности и насыщенности христианской картины мира, а отсюда и приверженность к мистико-символическому толкованию (экзегезы) книг Библии. Александрийское богословие привлекало людей с богатым воображением, любящих выстраивать сложные схемы в отношениях Творца и его творения, подобно поздним неоплатоникам, желающим в своих построениях найти место всем богам и сюжетам греческой мифологии. Параллельно с Александрийской школой в Сирии формировалась Антиохийская богословская школа, возникшая на совершенно иной культурной почве и поэтому преследующая совершенно иные задачи. Антиохия была крупнейшим центром христианства, именно здесь впервые последователей Христа стали называть христианами (Деян. 11:26), но, в отличие от Александрии, местное азиатское иудейство не было столь эллинизировано и не породило своего иудео-эллинистического синтеза, поэтому христианам приходилось здесь полемизировать с иудаизмом в его чистом виде, что вместе с тем сказалось на их подходе к толкованию Библии. Если несколько огрубить отличие александрийского и антиохийского подходов, то можно сказать, что в первом случае мы имеем дело со своеобразным «эллино-христианством», а во втором с «иудеохристианством».

В отличие от мистически настроенных александрийцев, отличительной чертой Антиохийской школы было более рассудочное и приземленное восприятие христианской картины мира, а также буквально-грамматическое толкование Библии, скорее свойственное иудейской экзегезе. Если александрийцам важно было подчеркнуть мистическую связь между Богом и человеком и обнаружить целую иерархию связующих инстанций между ними, что очень привлекало языческий ум, то антиохийцы акцентировали дистанцию между единством Творца и множественностью твари, что было более понятно иудейскому восприятию. Конечно, не стоит преувеличивать оппозицию между этими школами, ведь, в конце концов, каждая из них

конкурировала за мировоззренческую чистоту христианства и каждая из них стала известна не только своими еретиками, но и своими Отцами Церкви, преодолевшими пагубные крайности своих учителей.

Каким образом каждая из этих двух школ повлияла на возникновение арианства? Центральной онтологической темой христианского богословия, от которой зависели все остальные темы, с самого начала был вопрос онтологического статуса Иисуса Христа. Александрийская школа вслед за своим основателем Филоном Александрийским отождествляла Слово Божие с Логосом греческой философии, что было вполне понятно, потому что одним из основных переводов термина «логос» является «слово», а если этот «Логос-Слово» пишется с большой буквы, то имеется в виду некий звуковой символ, имеющий космогоническое значение. Это то «Слово», которым Бог творит мир и которое само по себе уже является первым, наисовершенным творением. Если Бог-Творец слишком трансцендентен по отношению к тварному миру, то Логос выступает верховным посредником между Творцом и миром, своего рода наместником Творца в космосе, и поэтому все тварные существа обращаются к абсолютному Творцу через этот Логос. Именно так некоторые александрийские неоплатоники могли понимать первые слова Евангелия от Иоанна: *«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».*

Более того, отношения всех Трех Лиц Божественной Троицы неоплатоники могли соотносить с первичными метафизическими инстанциями философии Плотина, где Бог-Отец отождествлялся с трансцендентным Единым, Бог-Сын с его первым проявлением в виде «божественного Ума» (Нус), а Бог-Дух со вторым проявлением в виде «мировой души» (Псюхе). О том, что эти параллели представляют явное огрубление и осталось только свести христианскую Троицу к триадам языческой мифологии (вспомним, например, «Капитолийскую троицу»), увлекающиеся неоплатонизмом александрийские христиане прекрасно догадывались, но некоторые следы этого огрубления сознательно или бессознательно сохранились в их богословских построениях.

В частности, сама идея отношений между Лицами Божественной Троицы как определенной *иерархии* крепко утвердилась далеко за пределами александрийского богословия. В философской терминологии иерархические отношения называются «субординатизм», и можно с определенными оговорками сказать, что почти все христианское богословие Троицы до IV века, иначе называемое «триадологией», было субординатистским. Однако именно в этом субординатизме

заключалась корневая ошибка всех триадологических ересей вплоть до католического учения об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына (Filioque), которая с IX века остается *главным догматическим противоречием* между католицизмом и православием. В этой неоплатонической по преимуществу традиции Сын-Логос воспринимался как строго подчиненная Богу-Отцу метафизическая инстанция, выступающая в роли посредника между Богом и миром, а поэтому этот Сын-Логос, при всем своем совершенстве, сам не был Богом. При этом нужно отметить, что большинство субординатистов, включая самого Ария, называли Сына-Логоса Богом, иначе бы они открыто противоречили евангельскому выражению *«и Слово было Бог»,* но они понимали его Богом не в том же смысле, что и Бога-Отца, а в качественно ином, специальном значении, подобно тому как язычники называют «богами» множество разных персонажей, но при этом вводят между ними качественную иерархию, обусловленною их разнородностью. У Оригена этот субординатизм выразился в том, что он иногда называет Христа «рожденным», а иногда «сотворенным», а поскольку Бог у Оригена творил всегда, то и его Сын тоже может быть понят как «сотворенный Бог».

Но если позиция Оригена остается не очень внятной, то Арий доводит этот александрийский субординатизм до логического конца: по Арию, Бог-Сын был первым творением Бога-Отца, то есть его когда-то не существовало, а следовательно, он не тождествен Богу-Отцу по природе, у него просто другая, тварная природа. Фактически Арий низводил Сына-Аогоса до уровня «второго бога», что превращало христианскую картину мира в языческую. Историк Церкви В.В. Болотов утверждал, что Арий никоим образом не ориентировался на Оригена, но в данном случае речь идет не столько о влиянии оригенизма на самого Ария, сколько о его влиянии на все богословие III–IV веков, в контексте которого Ориген был последним столпом субординатизма.

Если александрийский субординатизм подчеркивал качественное отличие Сына-Аогоса от Бога-Отца и этим повлиял на учение Ария, то антиохийская традиция пришла к тем же самым выводам с другого конца. На первый взгляд изначальные установки антиохийских еретиков были прямо противоположны александрийским, потому что основной теологический акцент здесь делался не на различии Лиц Троицы, а на единстве Бога. В радикальном виде этот акцентуированный монотеизм выражался в учении, получившем название «монархианства», с точки зрения которого Бог «внутри самого себя» абсолютно прост и не имеет

никаких различий, а все Лица Троицы являются его проявлениями в тварный мир.

Как и тех мистиков, которые видели в Сыне-Логосе лишь верховного языческого бога, монархиан было много, но самым известным из них был епископ Птолемаиды Пентапольской Савелий (III в). По Савелию, Бог в самом себе есть чистая монада, пребывающая в вечном молчании, но когда ему хочется высказаться, он проявляется в мире посредством трех форм — Отца, Сына и Духа. По этой логике Лица Троицы предстают лишь определенными проявлениями, или модусами, единого бога-монады, почему учение Савелия назвали модалистским монархианством, и оно вызвало резкую критику со стороны священномученика Дионисия, епископа Александрийского, и другого Дионисия, епископа Римского. В 261 году савеллианство было осуждено на Александрийском Соборе, а в 268 году на Римском Соборе.

После Савеллия монархианство было развито епископом Самосаты (в Сирии) Павлом, с 260 года епископом Антиохии, который соединил это учение со свойственным антиохийской традиции историческим буквализмом. По Павлу Самосатскому, Христос был только человеком, со своими земными отцом и матерью, а единый, «*единосущный*» трансцендентный Бог заочно «усыновил» его и «вселился» в него подобно тому, как он вселялся в походную скинию иудеев, и только в этом смысле возможно Христа называть Богом. Учение Павла Самосатского назвали адопционистским монархианством (от adoption — «усыновление»), и оно было осуждено в 268 году на Антиохийском Соборе, но он отказался покидать место епископа и с помощью поддержки императрицы Зенобии удержал его, пока император Аврелиан в 272 году не решил суд между ним и Антиохийской Церковью в пользу последней. Хотя учение Павла Самосатского было осуждено, ему сильно симпатизировал пресвитер Лукиан Самосатский, основатель Антихойской школы экзегетики, но он не оставил после себя каких-либо доктринальных тестов по этому поводу и умер мученической смертью в 312 году при Максимине Дазе в никомедийской тюрьме, почему Церковь признала его преподобномучеником. Лукиан был для Антиохийской школы тем же, чем Ориген для Александрийской, — главным авторитетом и учителем целого поколения богословов, заразившим их монархианскими тенденциями. Одним из этих учеников был сам Арий, в сознании которого оригеновский субординатизм наложился на лукиановское монархианство. По Лукиану, а точнее, по тому монархианскому учению, которое ему приписывается, Христос

тоже оказывается творением Бога-Отца, но не потому, что трансцендентный Бог нуждается в посреднике с миром, а потому, что он сам по себе слишком прост, чтобы иметь в себе какие-либо различения. В итоге получается тот же субординатизм, но только с иной мотивацией. Александрийцы хотели утвердить *сложность творения*, антиохийцы хотели утвердить *простоту Творца*.

Очень важно показать генеалогию ереси Ария, чтобы объяснить масштабы ее укорененности в богословии последнего столетия и ее популярность в IV веке. За Арием фактически стояли две ведущие богословские школы христианства III—начала IV века и любой александриец, равно как и антиохиец вполне мог найти в арианстве ответы на свои богословские вопросы. Сначала на арианскую пропаганду реагировали как на чудачества очередного ученого пресвитера, не получившего епископскую кафедру, но тогда Арий за неприятие своей позиции обвинил епископа Александра ни много ни мало в… савеллианстве, поскольку, с его точки зрения, признание единства Бога-Отца и Бога-Сына означает настоящий модализм. В ответ удивленный Александр Александрийский обвинил Ария в следовании ереси Павла Самосатского, поскольку тот тоже не признавал изначальную божественность Христа, и запретил ему распространять свои тексты. Обиженный Арий поднял шум, и его открыто поддержали два африканских епископа, Феона Мармарикский и Секунд Птолемаидский, семь пресвитеров, двенадцать диаконов и, что характерно, семьсот девственниц, что в целом составляло целую треть Александрийской митрополии. Тогда в 323 году Александр Александрийский созвал Собор, на котором Арий и его последователи были отлучены от Церкви. Однако на этом история арианства не только не закончилась, а только началась. Отвергнув решения Собора, Арий написал письмо к епископам Малой Азии с просьбой о поддержке, потому что их церковной столицей была имперская Никомедия, епископ которой по имени Евсевий был учеником Лукиана и большим единомышленником самого Ария. Другим сторонником Ария был хорошо известный нам епископ Кесарии Палестинской Евсевий Памфил. Поэтому иным названием арианства станет евсевианство, поскольку два епископа Евсевия встали на его защиту. Евсевий Никомедийский в том же, 323 году собирает свой Собор в Вифинии, на котором решения Александрийского Собора признаются недействительными. Также Евсевий Кесарийский устраивает Собор в Палестине, осудивший епископа Александрии и поддержавший Ария.

Налицо настоящий раскол вселенского христианства, причем невиданный до сих пор, когда крупнейшая Поместная Церковь с

одного континента не признает решения Поместной Церкви с другого, а предметом разногласий являются не канонический, а сугубо мировоззренческий вопрос. Ариане устроили агрессивную травлю Александрийского епископа, которого начали обвинять во всех грехах, например, подкупленные женщины кричали на улицах, что епископ Александр имел с ними сексуальную связь, а пьяные рабочие распевали песни о нем, написанные самим Арием. Под шумок этой смуты в Александрии воспрянули мелетианские пресвитеры, самочинно рукоположившие других пресвитеров. Остроту конфликта усиливал тот факт, что Никомедия после победы над Лицинием считалась неформальной столицей и мнение ее епископа как будто бы выдавалось за мнение самого императора, чье слово в этой ситуации было очень важно. И Евсевий Кесарийский, и Сократ Схоластик пишут про волнение Ария, что из этой малой искры разгорелся великий пожар. Особенно происходящему радовались язычники, начавшие высмеивать христиан в своих театрах. Мол, христиане триста лет проповедуют свою религию и даже идут на смерть за нее, а сами не могут друг с другом договориться, во что же они на самом деле верят.

Так же как и Евсевий Никомедийский, Александр Александрийский начал рассылать разным епископам просьбы о поддержке, и каждому епископу приходилось определяться в этой ситуации, изучая идеи Ария. Какова же была реакция Константина? Только что ставший единоличным правителем всей Империи и освободивший христиан Востока, Константин больше всего хотел мира и согласия всех епископий, тем более что его очень расстроил опыт донатистских споров, когда ему пришлось вмешаться в дело Церкви и использовать силу имперской власти. Чтобы усмирить назревавший раскол, Константин в 324 году написал весьма показательное письмо епископу Александру и пресвитеру Арию, а в качестве посланца этого письма был выбран давний его знакомый, авторитетный епископ Кордовы Осий (Hosius, 256–359), известный своим мученичеством в период гонений Диоклетиана. Процитируем самые важные фрагменты этого письма:

«[…] Как жестоко поразила мой слух, или лучше, самое сердце весть, что между вами возникли разногласия более тяжкие, нежели какие были прежде (т. е. донатистские споры. — А.М.), и что вы, через которых я надеялся доставить исцеление другим, сами имеете нужду в гораздо большем врачевании! Когда же я рассуждал о начале и предмете этих споров, то повод к ним мне показался весьма незначительным и вовсе не стоящим такого прения. Посему, вынужденный к настоящему посланию, пишу

единодушной вашей прозорливости иу призвав на помощь божественное провидение, объявляю свое право быть посредником в вашем недоумении и как бы покровителем мира между вами, ибо, если при содействии Всеблагого, не трудно было бы мне, и по поводу более важного разногласия (т. е. донатистских споров. — А.М.), предложить свое слово благочестивому уму слушателей и каждого обратить к полезному; то почему не мог бы я обещать себе удобнейшего и легчайшего восстановления дела, когда преграду ему полагает случай столь маловажный и ничтожный? Знаю, что настоящий спор начался таким образом. Когда ты, Александр, спрашивал у пресвитеров, что каждый из них думает о каком-либо месте закона, или, лучше сказать, представлял на обозрение бесполезную сторону вопроса, тогда ты, Арий, неосмотрительно предлагал то, о чем сперва не следовало и думать, или, подумав, надлежало молчать — вот откуда родилось между вами разногласие, расторгалось общение, и святейший народ, разделившийся на партии, удалился от единомыслия с общим телом Церкви. [….] Итак, в изысканиях этого рода надобно удерживаться от многословия, чтобы или по слабости своего естества, не имея силы истолковать предложенный вопрос, или по тупости слушателей, не сумев сообщить им ясного понятия о высказанном учении, тем или другим образом не довести народ либо до богохульства, либо до раскола. Итак, пусть и неосторожный вопрос, и необдуманный ответ прикроются в каждом из вас взаимным прощением, ибо повод к вашему спору не касается какого-либо главного учения в законе, вы не вносите какой-либо новой ереси в свое богослужение, образ мыслей у вас один и тот же, поэтому вы легко можете снова прийти в общение. Когда вы состязаетесь друг с другом касательно маловажных и весьма незначительных предметов, тогда самое несогласие ваших мыслей не позволяет вам управлять таким множеством народа Божьего и не только не позволяет, даже делает это противозаконным. А чтобы представить вашему благоразумию небольшой пример, скажу следующее: знайте, что и самые философы, следуя одному ученью, живут в союзе, если же нередко в рассуждении какого-нибудь частного мнения и разногласят между собой, то разделяясь степенью знания по однородности своей науки, тем не менее сходятся друг с другом. […] Подобные споры — дело черни и более приличны детскому неразумию, нежели вниманию мужей священных и разумных. […] Если у вас, как я сказал, одна вера и одинаково разумение нашей веры, если также заповедь закона общими своими частями обязывает душу к совершенно одинаковому расположению, то мысль, возбудившая вас к мелочному спору и не касающаяся сущности всей веры, пусть

ни под каким видом не производит между вами разделения и ссоры. […] Итак, в рассуждении Божественного Провидения, да будет у вас одна вера, одно разумение, одно понятие о Существе Всеблагом. А что касается до вопросов маловажных, рассмотрение которых приводит вас не к одинаковому мнению, то эти несогласные мнения должны оставаться в вашем уме и храниться в тайнике души. […] Итак, возвратите мне мирные дни и спокойные ночи, чтобы и я, наконец, нашел утешение в чистом свете и отраду в безмятежной жизни. В противном случае мне ничего не останется, кроме необходимости стенать, всему обливаться слезами и проводить свой век без всякого спокойствия, потому что доколе Божьи люди, говорю о моих сослужителях, взаимно разделяются столь несправедливой и гибельной распрей, могу ли я быть спокоен в душе своей) […] Отворите же, наконец, врата на Восток посредством вашего единомыслия, врата которые вы заперли своими прениями. Позвольте мне скорее увидеть вас и вместе насладиться радостью всех других народов, а потом, за общее единомыслие и свободу, в хвалебных речах вознести должное благодарение Всеблагому!» (Цит. по: Евсевий Памфил. Жизнь Блаженного Василевса Константина. М., 1998. С. 93–98).

Из слов Константина становится ясно, что предмет спора между Арием и епископом Александром представляется ему совершенно ничтожным, не имеющим отношения к сущности веры и даже менее важным, чем донатистский вопрос, но поскольку он уже имел неприятный опыт урегулирования подобного спора, то он и сейчас готов заняться этим богоугодным делом. Непонимание Константином всей важности арианского вопроса может быть связано только с тем, что окружающие его клирики, в основном ариане на тот момент, а также и православные, либо не сумели, либо не считали нужным подробно объяснить императору значение их спора. Теперь можно представить себе, насколько он тогда был непонятен людям, вообще далеким от любых богословских рассуждений. По прибытии в Александрию Осий Кордовский лично разбирался в возникшем споре и открыто перешел на сторону епископа Александра, что было большой удачей антиарианской партии, поскольку этот авторитетный старец пользовался большим уважением Константина и сыграл ключевую роль в осуждении арианства.

Константин был в шоке от того, что его примирительное письмо не подействовало — значит, арианский спор действительно имеет для всей Церкви огромное значение, которое он еще не понимает. В 325 году Константин должен был отмечать двадцать лет своего правления, и было бы очень

хорошей идеей провести в этом же году всецерковный Собор, на котором бы обе богословские партии примирились, знаменуя тем самым единство и торжество Вселенской Церкви. Грядущий Собор должен был пройти в малоазийском городе Анкире Галатийской. Вообще, нельзя считать, что во всех догматических спорах IV века главным заводилой была арианская партия, а православные лишь пассивно подчинялись естественному ходу событий, полагаясь на волю Божию. Никакого естественного хода событий в таких делах никогда не бывает, и Господь дал свободную волю людям не для того, чтобы они пассивно плыли по течению. Никакого осуждения арианства в принципе не могло бы быть, если бы православные вовремя не сорганизовывались и не продумывали свои маневры в этом сложном бою. К началу 325 года позиции православных были весьма шаткими: еще 323 году два собора, в Вифинии и Палестине, поддержали Ария, а ими руководили самые приближенные к императору епископы — Евсевий Никомедийский и Евсевий Кесарийский, которые в общей сложности проводили гораздо больше времени с Константином, чем сторонники Александра Александрийского. Поэтому противники Ария перешли в контрнаступление и пролоббировали идею Собора в Анкире, где бы они чувствовали себя на своей территории. Конечно, место проведения церковного Собора всегда имело большое морально-политическое значение, но не стоит его особо преувеличивать, ведь конечное решение все равно принимается большинством голосов, а это большинство приезжает из других городов. Кроме того, по определенным договоренностям Собор может проводиться епископом из другого города, а также сам местный епископ необязательно может разделять позиции своей паствы. В этой связи интересно обратить внимание на то, что еще до грядущего всецерковного Собора православные в пику арианам провели в 234 году Собор из 56 епископов в Антиохии, где поддержали Александра Александрийского и осудили не только Ария, но также его последователей, включая любимого императором Евсевия Кесарийского. Точнее, им было запрещено в служение до решений всецерковного Собора в Анкире. Само по себе это кажется весьма странным: Антиохия — один из центров арианства, и где угодно можно было ожидать осуждения Ария, но только не здесь. Дело в том, что за последний год в Антиохии сменилось три епископа: сначала умер епископ Филогоний, и на его место был поставлен убежденный арианин Павлин Тирский, уже прославившийся своей апологией арианства против Александра Александрийского, но он через шесть месяцев он тоже умер, и какое-то время Антиохийская кафедра была

вдовствующей, пока на нее готовили епископа Евстафия Веррийского. За это время Антиохийский Собор возглавил проезжающий через этот город Осий Кордовский, почитаемый всеми, во-первых, как один из самых старых и авторитетных исповедников, а во-вторых, как личный посланник императора. Надо ли говорить, что для ариан этот епископ Осий был самым большим препятствием, потому что Константин лично его почитал и дискредитировать его было невозможно. Фактически у Константина было два основных церковных советника, в одно ухо ему говорил Евсевий Никомедийский, а в другое — Осий Кордовский.

Неожиданно для всех Константин объявил, что предстоящий всецерковный Собор пройдет не в Анкире, а в Никее, и мотивировал эту перемену тем, что на Собор приедут епископы с Запада, а поэтому лучше сдвинуть место Собора поближе к Западу.

Карташев в своей книге приводит письмо Константина епископам, опубликованное в 1857 году английским историком Cowper'ом: *«Для меня нет ничего важнее богопочмтанмя. Это, я думаю у всем известно. Так как раньше было сговорено быть собору епископов в Анкире Галатийской, то ныне нам показалось по многим причинам лучше, чтобы собор собрался в Никее Вифинской. Ввиду того что прибудут епископы из Италии и других местностей Европы, ввиду хорошего климата Ник ей и для того чтобы мне присутствовать очевидцем и участником того, что будет происходить. Почему извещаю вас, возлюбленные братья, чтобы все вы в срочном порядке собрались в названный город, то есть в Никею. И так каждый из вас, имея в виду то у что полезно, как я раньше сказал, пусть поспешит прибыть поскорее, без всякого замедления, чтобы, присутствуя лично, быть очевидцем того, что будет происходить. Бог да сохранит вас, возлюбленные братья»*.

Если мы посмотрим на карту Малой Азии, то увидим, что Никея (современный Изник) расположена западнее Анкиры (современная Анкара, столица Турции), не настолько далеко, чтобы серьезно говорить о символическом переносе места Собора ближе к Западу.

Не то что для итальянских, а вообще для любых европейских епископов сам факт проведения Собора в Малой Азии уже означал «на Востоке», поэтому близость к берегу здесь уже не играла определяющей роли. Конечно, если бы к этому моменту был построен Константинополь, то Собор прошел бы, скорее всего, там, где и пройдет следующий, Второй Вселенский Собор в 381 году, но в 325 году до основания новой столицы оставалось еще четыре года. Проводить же Собор в арианской Никомедии

было бы слишком неудобно перед православными. Однако если мы зададимся трезвым римским вопросом «Cui prodest?» (Кому выгодно?), то увидим, что отказ от Анкиры в пользу Никеи мог быть выгоден только арианам, потому что в первом городе епископом был всем известный антиарианин Маркелл Анкирский, а во втором Феогнис Никейский. Да, епископом Никеи во время Первого Вселенского Собора был активный арианин, и это лишний раз подтверждает, что прямой связи между местом проведения Собора и его решениями нет. Но в начале 325 года казалось, что ариане одержали верх и даже всецерковный Собор по приказу императора будет проходить на их территории. Другим объяснением этого переноса является желание императора проводить Собор поближе к своей резиденции в Никомедии, но эта мотивация звучит довольно странно, потому что никакой объективной необходимости в этом не было. Константин все время преодолевал огромные расстояния и ради такого события мог пожертвовать непосредственной близостью к временной столице, тем более что, как мы уже заметили, дистанция между Анкирой и Никеей была не столь существенной, чтобы придавать ей какой-то символический или геополитический смысл.

34. Никейский призыв

Предстоящий Собор в Никее должен был быть абсолютно уникальным в истории Церкви, поскольку он стремился собрать епископов со всей Римской империи, а точнее — со всего мира. Все церковные соборы до сих пор имели региональное значение и поэтому назывались Поместными. Собор епископов Поместной Церкви был и остается высшей инстанцией канонической власти в Православной Церкви, поскольку любое постановление других Поместных Соборов, а также Вселенского Собора только тогда обязательно для конкретной Поместной Церкви, когда оно утверждено ее Поместным Собором или, по крайней мере, не отвергается им. До 325 года Вселенская Православная Церковь развивалась именно таким образом — какие-то Поместные Соборы принимали определенные решения, и далее они либо утверждались, либо отрицались другими Поместными Соборами. Представить себе, что однажды всем Поместным Церквам в лице своих представителей придется собраться для выяснения какого-либо общецерковного вопроса, было довольно сложно. Сложность такого всеобщего собрания объяснялась двумя причинами.

Во-первых, канонические или догматические проблемы, возникшие в одной Поместной Церкви, далеко не всегда вызывали существенный интерес в другой, а тем более в Поместных Церквах всего мира. Например, наиболее нашумевший донатистский раскол с точки зрения каких-нибудь азиатских или балканских епископий казался сугубо внутренней африканской проблемой, да и не все епископы, а не то что простые прихожане вообще могли себе представить суть и масштаб этого раскола. Между прочим, с подобными проблемами Церковь сталкивается вплоть до сегодняшнего дня. Очень часто, когда возникает какое-либо еретическое или раскольническое движение, Церковь его не осуждает вовсе не потому, что еще нужно доказать его неправославность, а потому, что нужно доказать церковным властям, что это движение достаточно влиятельно для того, чтобы по его поводу собрать хотя бы одно церковное собрание. Многие ереси и расколы часто пользуются таким невниманием, и иногда это кончается совсем плохо, когда Церкви остается лишь констатировать тот факт, что она потеряла значительное число прихожан, приходов и даже целых епархий, вместо того чтобы вовремя предупредить эту потерю своевременным осуждением. Подобные церковные осуждения назревающих ересей и расколов необходимы не столько даже для того, чтобы наказать их инициаторов, сколько для того, чтобы дать понять всем

остальным людям, как Церковь к ним на самом деле относится. Нередко сторонники различных ересей и расколов солидарны с ними только потому, что Церковь их не осуждает и только поэтому они считают свои позиции вполне «православными». Если обратиться к арианскому вопросу IV века, то можно заметить, что для Римской Церкви, с самого начала вставшей на антиарианские позиции, на самом деле этот вопрос скорее представлялся специфической темой в конфликте Александрии и Антиохии, чем фундаментальной общецерковной проблемой.

Во-вторых, даже если бы у всех епископов возникла идея собраться для решения какой-либо проблемы, то неизбежно встал бы вопрос о месте сбора и материальном обеспечении столь грандиозного проекта. В отношении места всеобщего Собора сразу бы возникли недовольства со стороны тех или иных епископов, которые бы посчитали, что для них это место слишком далеко или упрекали бы собирающую сторону в претензиях на всецерковное господство и тому подобное. В материальном отношении теоретически особых проблем бы не было, иначе что же это за епископы, которые не могут собраться в одном месте, но в реальности именно психологическое нежелание собираться в том или ином месте не позволило бы иным епископам тратить средства на свои передвижения, а обеспечить этот всемирный съезд за счет одной епархии было практически невозможно. Конечно, со временем эти материальные проблемы могли бы быть решены, как, например, сегодня Вселенская Православная Церковь совершенно самостоятельна в этом вопросе, но на момент IV века подобный съезд представлялся бы несколько утопическим. Между тем назревшая богословская проблема была самой серьезной и не только за первые три века развития Церкви, но и за всю ее историю. Более серьезного вопроса Церковь еще никогда не обсуждала и не будет обсуждать. Фактически арианский вопрос был о том, кем является тот Бог, которому служит Церковь.

Интересно посмотреть на географическое распределение сторонников и противников Ария. Оплотом арианства была Сирия, а вслед за ней Малая Азия, Понт и европейская Фракия. Если добавить к этому Кесарийскую епископию Евсевия Памфила, то можно сказать, что на стороне арианства по преимуществу был Восток. Поэтому впоследствии Отец Церкви Василий Великий назовет арианство *«азийским мудрствованием»* (318-е письмо к Амфилохию). Оплотом православия была Африка, хотя почти треть Александрийской епархии была арианской, а также Иерусалимская Церковь, не считая Кесарии, и практически весь Запад от Иллирии до Испании во главе с римским папой. Таким

образом, в чисто географическом смысле ариане были в очевидном меньшинстве, но не стоит мерить голоса на Соборе территориальными масштабами, потому что значение имели не квадратные километры, а епископии, которых на Востоке было очень много, а также готовность каждого отдельного епископа не то что приехать самому, а хотя бы прислать своего представителя с правом голоса от епархии.

Император Константин не просто пригласил всех епископов на всецерковный Никейский Собор, он полностью обеспечил им всем дорогу от дома до Никеи и обратно, а также проживание и пропитание за государственный счет. Епископам оставалось только согласиться на участие в Соборе.

Поэтому мы можем считать, что Константин недостаточно разобрался в сути обсуждаемого вопроса, но мы не можем не признать, что он очень хотел его обсудить и закрыть эту проблему в масштабах всей Церкви. Константин отчетливо понимал, что при всем различии Церкви и Империи у них есть общее свойство — это претензия на универсальность и на единстве этих двух организаций держится единство всего средиземноморского мира. В древнегреческом понятийном языке человеческий мир назывался «ойкумена» (от olksco— «населяю, обитаю»), что в точном смысле слова означает населенную часть земли, которая часто отождествлялась именно с грекоримским ареалом обитания. Распространить Римскую империю на весь мир означало не дойти до края земли, а охватить видимую часть населения мира, которая в сознании многих греков и римлян практически совпадала с границами Римской империи. Разумеется, древние греки и римляне знали о том, что за пределами Римской империи есть другие страны и народы, но они по определению считались варварскими и требующими особого окультуривания, чтобы воспринимать их как продолжение полноценного человечества. Именно отсюда во многом возникало представление о том, что на краю мира живут «люди с песьими головами», потому что чем дальше живут люди от эпицентра цивилизации, с точки зрения греков и римлян, тем меньше они похожи на людей и если они еще не животные, то уж точно полуживотные. Еще много веков спустя на совсем неизвестных территориях, находящихся на периферии мира, картографы обычно писали «Hic sunt leones» («Здесь львы»), потому что никаких людей там не может быть по определению. Не забудем, что граждане Римской империи IV века могли только фантазировать на тему того, как выглядит мир к северу от Германии, Кавказа, Персии и Индии, а также к югу от Сахары, не говоря уже о пространстве к западу от Атлантического океана.

Вселенная ограничивалась тем пространством, которое можно было увидеть.

Так вот, всецерковные Соборы, начиная с Никейского, в греческой терминологии называются «экуменическими» («ойкуменическими»), что не совсем тождественно понятию «вселенский», поскольку предполагают собрание не всего мира, а именно его видимой населенной части. В значительной степени этот термин пришел в церковный лексикон из политического языка древних греков и римлян, в то время как всецерковные Соборы совсем не ограничивались пространством Римской империи и были больше вселенскими по своим задачам, чем экуменическими. Именно христианство привнесло в римскую цивилизацию представление об онтологическом равенстве всех людей как образов и подобий Господа и о том, что человечество не может быть ограничено его видимой частью.

Имперский универсалист Константин хорошо почувствовал этот размах новозаветной миссии и поэтому пригласил на Собор в Никее не только епископов из Римской империи, но и из других государств. Так церковная миссия в сознании многих людей того времени начала переплетаться с имперской экспансией Нового Рима. Прямым аналогом понятия «вселенский» в греческом языке будет слово καθολικός («кафоликос») и поэтому всецерковный Собор лучше назвать не «экуменическим», а «кафолическим». Характерно, что именно это понятие со временем «приватизировала» себе Римская Церковь с ее претензиями на универсальность, откуда возникло понятие «католицизм». Однако на русский язык греческая «кафоличность» переводится скорее как соборность, чем вселенскость, и отсюда возникает большая путаница, потому что тогда понятие «Вселенский Собор» будет звучать как «масло масленое». Можно сказать, что если Империя мыслила в категориях «ойкумены», то Церковь предложила ей мыслить в масштабах «кафоличности».

Заседания Никейского Собора начались 20 мая 325 года в императорском дворце и закончился в конце июля. Император назначил председателем Собора нового епископа Антиохии Евстафия (ум. 346), от которого многие, как от антиохийца, могли ожидать защиты Ария, а он вдруг оказался ревностным православным.

На Собор съехалось немыслимое на тот момент число епископов. Евсевий Кесарийский называет число 250 (Жизнеописание, 3,8), сам Константин — 300, Евстафий Антиохийский — 270, но наибольшее распространение получило число 318, впервые зафиксированное в 360 году у Илария Пиктавийского. Это число повторяют Василий Великий и

Афанасий Александрийский, а также Сократ Схоластик (Церковная история, 1,8). К этому нужно добавить, что на Собор каждый епископ имел право взять с собой двух пресвитеров и трех служителей. Торжественное открытие Собора произошло 14 июня. Евсевий Кесарийский так описывает его: *«Заседая с должным благочинием, Собор сначала соблюдал безмолвие и ожидал прибытия василевса. Вот, наконец, вошел кто-то один, потом другой и третий из приближенных василевса, входили затем и другие, но не из обыкновенных гоплитов и дорифоров, а из верных его друзей. Когда же подан был знак, которым обыкновенно возвещалось прибытие василевса, и все встали, вошел и сам он и выступил на середину собрания. То был будто небесный ангел Божий, которого торжественные одежды блистали молниями света, которого порфира сияла огненными лучами и украшалась переливающимся блеском золота и драгоценных камней. Таково было украшение его тела. А душа его, очевидно, украшена была благоговением и страхом Божьим, это выражалось в поникшем его взоре, румянце на его лице и движениями его походки. Другие признаки были не менее отличительны, он превосходил окружавших себя и высотой роста, и красотой вида, и величественной стройностью тела, и крепость непобедимой силы, и все это в соединении с ласковостью его нрава и кротостью истинно царской его снисходительности лучше всякого слова выказывало превосходство его разума. Дойдя до начала рядов, он сперва остановился на середине, когда же поставили перед ним небольшое, сделанное из золота кресло, — сел, но не прежде, как подали ему знак епископы. После василевса все сделали то же»* (Жизнеописание, 3,10).

Императора приветствовал ведущий Собора Евсевий Антиохийский, чью приветственную речь цитирует в 725 году Григорий Кесарийский в своей «Похвале 318 отцам», откуда она известна науке. После этого император на официальном языке Империи обратился к собравшимся с речью, которую стоит процитировать:

«Целью моего желания, други, было насладиться созерцанием вашего собрания. Достигнув этого, я благодарю Все-царя за то, что сверх других бесчисленных благ он даровал мне узреть и это лучшее из всех благо, — разумею то благо, что вижу всех вас в общем собрании и что все вы имеете один общий образ мыслей. Итак, да не возмущает нашего благополучия никакой завистливый враг, и после того, как силой Бога Спасителя богоборчество тиранов совершенно низложено (то есть прежде всего Максенция и Лициния. *— А.М.), да не порицает Божественного закона коварный демон; ибо внутренний раздор Церкви для меня страшнее и*

тягостнее всякой войны и битвы, это печалит меня более чем все внешнее. Посему когда волей и содействием Всеблагого я одержал победу над врагами, то считал первым долгом воздать благодарение Богу и радоваться с теми, которых он освободил через меня. Потом, против всякого чаяния, узнав о вашем несогласии, я не оставил и этого без внимания, но, желая содействием своим уврачевать зло, немедленно собрал всех вас. Радуюсь, видя ваше собрание, но думаю, что мои желания тогда только исполнятся, когда я увижу, что все вы оживлены единым духом и блюдете одно общее, миролюбивое согласие, которое, как посвященные Богу, должны вы возвещать и другим. Не медлите же, о други, служители Божьи и благие рабы общего нашего Владыки Спасителя, не медлите рассмотреть причины вашего раздора в самом их начале и разрешить все спорные вопросы мирными постановлениями. Через это вы и совершите угодное Богу, и доставите величайшую радость мне, вашему сослужителю»(цит. по: Евсевий Памфил. Жизнь Блаженного Василевса Константина. М., 1998. С. 107–108). Речь императора перевели на греческий, и только после этого началась открытая дискуссия, продолжавшаяся несколько дней.

Константин безупречно принял всех участников Собора, и особенно его растрогал вид многих искалеченных в годы гонений епископов, которым он оказывал особый почет. Когда он видел служителей Церкви, лишившихся глаз, то он целовал в затянутые язвы и как бы просил прощение за преступления своих предшественников и соправителей, хотя сам к ним не имел никакого отношения. Эта царская обходительность очень способствовала конструктивному ходу дискуссий, о которых мы знаем крайне мало, потому что, к очень большому сожалению, никаких записей Собора не велось и нам приходится частично собирать информацию о нем из косвенных источников. Протоколы Вселенских Соборов начали вестись только с III Вселенского Собора, проходившего в Эфесе в 431 году.

С православной стороны в Никее собрался, как писал церковный историк Руфин Аквилейский, «целый сонм исповедников». Перечислим основных из них: председатель Собора Евстафий Антиохийский; советник императора Осий Кордовский; будущий помощник императора по восстановлению священного города Макарий Иерусалимский; столп Армянской Церкви Иаков Низибинский; лишенный глаза и со сломанной ногой мученик Пафнутий Фиваидский; знаменитый своими убедительными наставлениями Спиридон Тримифунтский из Кипра; наконец, сам Александр Александрийский, взявший с собой в качестве секретаря своего верного сподвижника диакона

Афанасия, ставшего впоследствии великим Отцом Церкви Афанасием Александрийским. Эти восемь святых имен составили славу Вселенской Церкви IV века и были главными проводниками православия на Никейском Соборе. К сожалению, мы не знаем, был ли на этом Соборе епископ Николай из Мир Ликийских, известный каждому христианину как святой Николай Угодник, но мы также не можем исключать возможности его участия в нем. Об отношении святителя Николая к арианству достаточно говорит агиографическая легенда, повествующая о том, что однажды в пылу спора с Арием святой Николай даже совершил его «заушение».

Запад в количественном отношении помог весьма относительно. Римский папа Сильвестр вместо себя послал на Никейский Собор двух пресвитеров. Не считая Осия Кордовского, с Запада прибыло еще четыре епископа, среди которых был известный по борьбе с донатизмом Цецилиан Карфагенский. Итого из 318 епископий Запад был представлен только шестью. Из других государств на Собор также приехало шесть епископов, а именно: один из Персии, один из Скифии, два из Армении, один из Питиунда (Пицунды), один из Босфорского царства (Керчи). Арианская партия на Никейском Соборе была представлена хозяином епархии Феогнисом Никейским, советником императора и лидером всех ариан Евсевием Никомидийским, неуклонными арианами Феоной Мармарикским и Секундом Птолемаидским, а также Минофаном Эфесским и Патроклом Скифопольским. К ним же можно отнести и Евсевия Кесарийского, но только с той существенной оговоркой, что он был не убежденным арианином, а скорее полуарианом. Различие между этими понятиями достаточно принципиально и многое объясняет в успехах и падении арианского богословия. Ариане в точном смысле слова — это те, кто считает Сына-Логоса творением Бога-Отца «из ничего», хотя и самым совершенным из всех творений. Большинство симпатизирующих арианству согласны были лишь с тем, что Сын-Логос не равен Отцу по природе, но назвать его сотворенным ex nihilo решались далеко не все. Скорее, они готовы были признать его чем-то производным от Бога-Отца, путь даже и рожденным, но только не предвечно, а именно во времени, то есть так, что, каким бы совершенным не был Сын, когда-то его все равно не было. Именно к этому неуверенному большинству полуариан принадлежал Евсевий Кесарийский. Полуариане были очень чувствительны к радикальным заявлениям с обеих сторон, но зато они были совершенно невнимательны в тех философских тонкостях, когда под видом полумеры любая партия могла провести собственную

позицию.

Обе стороны начали с традиционных ссылок на Священное Писание, которые, в свою очередь, сами потребовали особого комментария. Ариане больше всего напирали на цитату из Книги Притчей: *«Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони»* (Притч. 8:20), где Премудрость Бога (София) отождествлялась с Сыном-Логосом. Заблуждение ариан состояло в том, что слово «имел» в греческом тексте Септуагинты переводилось как «создал» и поэтому ариане, не знавшие еврейского подлинника, оказались жертвой неверного перевода. По арианам, если Сын рожден от Отца, значит, он имеет начало, а не безначален, а если он безначален, то он не может быть рожден. С точки зрения ариан, православные стремились максимально отождествить Отца и Сына, отрицая возникновение последнего во времени, и поэтому они упрекали православных в савеллианстве. Допустить мысль, что Сын-Логос может вне времени рождаться от Бога-Отца и оставаться безначальным во временном смысле, ариане никак не могли, для них все, что имеет начало, должно было иметь его во времени, сама идея начала и рождения для них имела смысл только во времени. Православные отвечали им ссылками на знаменитые слова из Нового Завета: *«Я и Отец — одно»* (Ин. 10:30), *«…Отец во Мне и Я 6 Нем»* (Ин. 10:38), *«И все Мое Твое, и Твое Мое»* (Ин. 17:10), *«Видевший Меня видел Отца»* (Ин. 14: 9), *«Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и Сии три суть едино»* (1 Ин. 5: 7). Для ариан, по всей видимости, эти слова были лишь метафорами, что скорее сближало их с александрийской аллегорической экзегезой, чем с антиохийским буквализмом.

Первыми на Соборе выступили радикальные ариане во главе с Евсевием Никомедийским потерпели полное поражение. Они предложили на рассмотрение свое вероопределение, в котором Сын Божий назывался творением, и оно было сразу отвергнуто абсолютным большинством. Текст этого вероопределения в соответствии с традициями того времени был публично разорван в клочки, и к нему больше не возвращались. В принципе, это уже можно было считать победой православия, но ариане решили сделать хорошую мину при плохой игре и выжать из Собора максимум возможного в свою пользу.

Рассматриваемое вероопределение — это не просто рассуждение на догматическую тему, это чеканная формулировка самого догмата, которая должна была утвердиться на Соборе. В догматическом богословии такие формулировки назывались «оросы», что в буквальном переводе с греческого означает «пределы», «границы», «ограждения». Таким образом,

догматические постановления призваны не столько рассказать о предмете догмата как можно больше, сколько определить те границы, которые не позволят сказать о нем нечто неправильное. Церковные догматы с точки зрения самой Церкви — это не красивые выдумки людей, а сухие констатации абсолютной истины, и поэтому Православная Церковь прибегала к догматизации каких-либо позиций только тогда, когда их нельзя было не догматизировать. Даже в отличие от канонов, догматы абсолютно неизменны, и поэтому догматический богослов ставит своей целью не придумать какой-либо догмат, а раскрыть его в словах как уже существующий непреложный объективный факт. К догматическим оросам обычно прибавлялись анафематизмы, то есть формулы осуждения тех позиций, которые противоречат этим догматам. Более расширенным вариантом жанра ороса, только уже без анафематизмов, были Символы Веры.

Символ Веры — это уже не просто единичный орос по какой-либо теме, а это целостный текст, излагающий догматический минимум, который должен знать и разделять каждый православный христианин, чтобы иметь право вообще называться православным. Таких Символов Веры в ранней Церкви было несколько, и каждая епископия могла пользоваться своим Символом, отличным от тех, которые были у соседних епископий. Конечно, явных противоречий между этими Символами практически не было, в них было гораздо больше общего, но единого Символа Веры не существовало, и поэтому в догматической сфере могли возникать такие эксцессы, как арианство. В основном Символы Веры использовались при крещении, когда новокрещенный должен был произнести текст Символа Веры для подтверждения своих правильных христианских убеждений. Задачей Никейского Собора было изложить всеобщеобязательный орос в отношении онтологического статуса Сына-Аогоса, а в пределе — изложить сам Символ Веры.

Поэтому основная дискуссия между православными и арианами на Соборе проходила вокруг конкретных предлагаемых текстов вероопределения, один из которых по окончанию Собора должен был получить всеобщеобязательную силу для всей Вселенской Церкви.

Между тем задачей каждой стороны было не просто изложение своей позиции в форме краткого ороса, который бы приняло большинство епископов, а его изложение в таких словах, которые бы невозможно было использовать противоположной стороне в свою пользу. Поэтому православные сразу договорились, что если известные ариане будут соглашаться с их

формулировками, то это будет верным признаком неудачности этих формулировок и придется находить новые. Как мы понимаем, эта категоричность православных несколько противоречила естественной политической задаче Константина завершить Собор как можно скорее и примирить обе партии. Константину как миролюбивому императору нужно было единство ради единства, и с политической точки зрения его можно понять, потому что в арианском споре он еще не разобрался, а обеспечение мира и стабильности входило в его первейшие обязанности. Православные же были готовы пожертвовать любым единством ради Истины и закончить Собор ничем, если Истина не восторжествует. В этом кроется глубинное противоречие между любым идейным сообществом и государством как таковым, если только оно само не подчиняется идеям этого сообщества. Уже в IV веке и именно благодаря Константину Римская империя станет таким государством, отождествившим свои внешние цели с задачами православной миссии, но пока, на момент 325 года, оно еще таким не является, и во многом потому, что само понятие *православия* еще не определено и только на этом Соборе оно обретет ясные очертания.

Православные вынесли на Собор формулу «Сын от Бога» (Ин. 1: 14,18), и она была, в отличие от арианского символа, принята единодушно, и именно это единодушие смутило православных. Ариане интерпретировали эту формулу предельно широко, в смысле того, что «все от Бога» (1 Кор. 8, 6; 2 Кор. 5:17,18). Поэтому православные отозвали эту формулу и предложили другую — «Сын — истинный Бог» (1 Ин. 5: 20), и ариане после некоторого замешательства снова приняли ее в смысле, что если Сын — Бог, то он в любом случае истинный Бог. Поэтому православные вновь отказались от своей формулировки и вновь предложили другую — «В Нем Сын пребывает» (Ин. 1:1), что еще несколько дней назад вызвало бы у ариан обвинения в савеллианстве, но они приняли ее в том смысле, что и все люди живут в Боге (Деян. 17: 28). Соответственно, и на этот раз православные отозвали свои слова и предложили новый вариант — «Слово есть истинная сила Божия», как Апостол Павел называет Сына силой Божией (1 Кор. 1: 24), но этот вариант для ариан был совсем удобным, потому что любое живое существо, и гусеница, и саранча, называются силой великой (Иоил. 2: 25). Тогда православные выдвинули совсем простой вариант — «Сын сияние славы и образ ипостаси Бога» (Евр. 1: 3), на что ариане, естественно, заметили, что и человек есть образ и слава Божия (1 Кор. 11: 7).

Вряд ли ариане громогласно объявляли о своем одобрительном понимании слов, предложенных православными, ведь они были не столь наивны. Скорее всего, православным было достаточно их единодушного согласия по этим формулировкам, а их конкретные интерпретации они могли либо сами, либо через посредников узнать в кулуарах Собора, во время постоянных перерывов, как это часто бывает в подобных случаях. Православным было очевидно, что если Собор примет вероопределение, которое не вызовет возражений у ариан, то им это позволит еще больше укорениться в своей ереси, только теперь уже ссылаясь на постановление всецерковного Собора. В определенные моменты возникало ощущение, что дискуссия зашла в тупик, но тут вдруг выступил полуарианин Евсевий Кесарийский, предложивший якобы компромиссный вариант текста: «*Веруем, что каждый из них — Отец, Сын и Дух — есть и имеет свое бытие, что Отец истинно Отец, Сын истинно Сын, Дух Святой истинно Дух Святой*»… Трудно сказать, специально продумал Евсевий каждое слово или он действительно был слишком далек от метафизических тонкостей, чтобы не увидеть в понятии «свое бытие» искажение православного понимания Троицы, где бытие всех Лиц общее для всех них. Как писал историк Церкви А.П.Лебедев, *«водворилось молчание, которое Евсевий принял было за знак общего одобрения. Минута знаменательная в истории христианства»* («Вселенские Соборы IV и V веков», 1879 г.). Но еще большей неожиданностью было то, что сам император Константин одобрил эту формулу и тут же предложил определенное дополнение, которое стало главным достижением Никейского Собора.

35. «Единосущный»

Многие предложения Константина на Соборе были бы безоговорочно приняты всеми делегатами, но только не те, которые касались бы догматического вероопределения. Если какие-либо делегаты были с ним не согласны, то они вынуждены были бы возразить Константину, что могло бы привести к конфликту императора с Церковью. Сам Константин прекрасно осознавал это деликатное обстоятельство и совсем не хотел ссориться с клиром, а поэтому вполне можно предположить, что вынесенное им предложение было вполне согласовано со своими советниками. Что же касается советников, то они, по всей видимости, сделали все для того, чтобы Константин поверил им и убедился не столько даже в истинности самого предложения, сколько в том, что оно не вызовет отрицательной реакции хоть у сколько-нибудь представительной части Собора. Но как можно было найти такое предложение, если никаких компромиссов между обеими сторонами в принципе не могло быть, особенно с православной? Константин наверняка недоумевал по поводу поведения антиарианской партии, которая все время выносила новые варианты и сама же их отвергала, в то время как ариане не раз были готовы с ними согласиться. И совершенно очевидно, что если бы предложенное Константином дополнение не устроило православных, то они бы не приняли его, и отношения между ними и императором порядком усложнились. Однако ситуация развивалась иным образом, потому что в данном случае советниками Константина выступили именно православные. Спрашивается, зачем им понадобилось использовать авторитет императора, если все упомянутые предложения ариане и так уже принимали? Потому что именно это предложение, в отличие от других, ариане никогда бы не приняли и использование авторитета императора было последним шансом.

Константин согласился с формулой своего придворного апологета Евсевия Кесарийского, но тут же предложил добавить в определение отношения Бога-Сына к Богу-Отцу термин… «*единосущный*».

Для ариан это предложение стало колоссальным ударом, потому что оно в корне противоречило их теологической позиции и это был тот самый вариант, который они бы уже не смогли повернуть в свою пользу. Если бы этот термин предложил не сам император, а только православные, то ариане не только бы не приняли его, но даже устроили по этому поводу громогласную обструкцию, потому что сам этот термин уже имел свою

скандальную историю. Во-первых, антиохийские буквалисты очень не любили использовать в догматическом богословии слова, которых не было в Священном Писании. Слова *«единосущный» (греч.* ojjoougkx;, *лат.* consubstantialis) не только не было в Библии, но оно было со всей очевидностью сугубо концептуальным термином, взятым из словаря греческой философии. Аристотель рассуждал о единосущности звезд друг с другом. Неоплатоник Порфирий о единосущности животных между собой. Вместе с введением самого термина «сущность» греческие философы различали объекты по наличию этой общей сущности и по различию сущностей. Поэтому сам факт введения этого понятия в контекст богословия о Троице иным христианам казался чуть ли не кощунственным. Во-вторых, сам по себе именно этот термин уже получил негативную оценку Церкви, и странно было к нему после этого возвращаться. В религиозном контексте термин «единосущный» уже активно использовали гностики, рассуждая об общей сущности своих эонов, и этого было достаточно, чтобы на веки дискредитировать его в церковном сознании. Более того, именно этот термин имел центральное значение в монархианской теологии Савеллия и Павла Самосатского, и поэтому его употребление было осуждено на Антиохийском Соборе 268 года. Но теперь, после того как православные решили реабилитировать этот термин, ариане еще более могли обвинять их в савеллианстве, чем раньше. Ариане теперь точно считали, что их оппоненты — это криптосавеллиане, которые хотят любой ценой протащить идею сущностного единства Бога-Отца и Бога-Сына, в то время как сами ариане видят в этом уравнении Нерожденного и Рожденного страшное метафизическое «кощунство». Радикальным арианам, проповедующим вслед за своим основателем сотворенность Сына-Лога «из ничего», как будто бы пришлось смириться со своим изначальным поражением, и теперь они надеялись на умеренных полуариан, которые признавали Бога-Сына рожденным от Бога-Отца, но хотя бы не уравнивали их по сущности. Теперь же, с возвращением савеллианского термина «единосущный», даже полуарианская партия оказывалась в тупике, потому что никоим образом оправдать для себя этот термин они не могли. Православные прекрасно знали об этом, и именно поэтому устами Константина предложили этот термин. По арианскому историку Филосторгию, предложить термин «единосущный» заранее решили Осий Кордовский и Александр Александрийский, и именно они успели внушить эту идею Константину, как будто она не вызовет никакого сопротивления со стороны их оппонентов. По Афанасию Александрийскому, основным

источником православных советов был именно Осий Кордовский. В любом случае становится понятно, откуда возникла эта идея в голове Константина.

Удачное обращение к термину «единосущный» со стороны православных на Никейском Соборе свидетельствует в пользу двух крайне важных выводов из многолетнего церковного опыта. Первый вывод — сами по себе слова и понятия не могут быть дискредитированы их прежними апологетами, не надо бояться каких-либо слов и понятий только потому, что они были использованы в неблаговидном контексте, иными словами, не надо отождествлять слова с теми, кто их произносит. Если еретик Павел Самосатский употреблял термин «единосущный» в отношении Лиц Божественной Троицы, то это еще значит, что сам этот термин должен быть запрещен, более того, это даже не значит, что его действительно нельзя употреблять в триадологическом контексте. Почти шестьдесят лет понадобилось православным, чтобы понять, что ничего плохого в употреблении этого термина в богословии Троицы нет, потому что ересь Павла Самосатского состояла не в том, что Бог-Отец и Бог-Сын, с его точки зрения, единосущны, а потому, что он отрицал их существование в качестве отдельных Лиц, предвечно существующих друг с другом. До сих пор христианские мыслители часто боятся использовать какие-либо термины только потому, что они ассоциируются с какими-либо неблаговидными явлениями, и в итоге в отдельных случаях им приходится употреблять не совсем адекватные выражения, вместо того чтобы называть вещи своими именами. Второй вывод — объяснение христианской картины мира требует обращения к общим понятиям существующей интеллектуальной культуры, прежде всего самой философии, которая при правильном, корректном, трезвом ее использовании может принести больше пользы, чем вреда. Конечно, Божественная реальность слишком сложна и возвышенна для грехопадшего человеческого ума, чтобы уверенно описать ее на несовершенном человеческом языке, и с этим согласен любой православный богослов. Но если не пытаться находить наиболее корректные термины и формулы для описания этой реальности, то тогда вообще никакое рассуждение о Боге будет невозможно, и все мировое богословие можно будет закрыть как изначально бессмысленную затею. Между тем Церковь все-таки обратилась к существующей философской культуре и именно поэтому смогла сформулировать собственные догматы. Никейский Собор был первым триумфом на этом необходимом пути.

Что означает слово «единосущный» в отношении Лиц

Божественной Троицы? Для того чтобы до конца понять значение этого понятия, сначала нужно вспомнить, что в древнегреческой философии означал термин «сущность». В языке греческой философии IV века, в определяющей степени сформированном неоплатониками, термин «сущность» (öuala) имел разные значения, даже противоречащие друг другу. В истории философии эта путаница часто случается и всегда создает дополнительные сложности для философа. Во-первых, «сущность» вещи — это то общее, родовое начало, которое объединяет эту вещь с другими, и поэтому, в отличие от самой вещи, «сущность» постигается только в понятии, то есть непосредственное переживание сущности практически невозможно. Во-вторых, следуя из этого представления, «сущность» вещи может быть той природой, из которой состоит эта вещь и которая делает ее единоприродной или «единосущной» другим подобным вещам. Например, если мы согласны с тем, что существует некая специфически человеческая природа, то «сущностью» человека будет именно эта человеческая природа, а сам он будет «единосущен» другим людям. Поскольку понятие «природы» в античной философии часто отождествлялось с понятием «материи», то многие христиане боялись говорить о «сущности» и «единосущности» применительно к Богу, поскольку Бог-Творец материи по определению нематериален. Но «природа» не обязательно должна быть материальной, существует нематериальная «природа» ангелов, а также и нематериальная «природа» самого Бога, иначе бессмысленно было бы говорить о приобщении к Божественной природе в литургическом *причастии* и мистическом *обожении* как конечной цели христианской жизни. Быть человеком — значит принадлежать человеческой природе, быть Богом — значит принадлежать Божественной природе, иметь общую природу с Богом-Творцом. Для нефилософствующих христиан это элементарное соображение казалось либо само собой разумеющимся, либо они вообще о нем не задумывались, но вот для ответственной богословской мысли оно имело краеугольное значение. В полемике с арианами православные должны были определить, что Сын-Логос является единым Богом с Богом-Отцом, а для этого нужно было найти в нем такое свойство, которое бы однозначно свидетельствовало об этом единстве. Иначе говоря, православным нужно было произвести сугубо философскую операцию аналитического различения в самом понятии Бога тех свойств, которые делают его Богом, найти само свойство божественности. Когда православные называли Второе Лицо Троицы «Силой», «Славой», «Образом», даже «Словом» и «Сыном» Бога-Отца, то ариане вполне могли с

ними согласиться, потому что они сами так его называли. Более того, ариане называли Сына «Богом» и не очень смущались по этому поводу, потому что для них это был «другой» Бог, Бог «второго уровня», не обладающий тем общим свойством с Богом-Отцом, который бы позволил говорить об их изначальном, предвечном единстве. Поэтому язык библейских метафор, при всей его возвышенности и поэтичности, был здесь бессилен. На Никейском Соборе соревновались не в возвышенных проповедях или литургических поэмах, а в понятийной точности богословских определений. В этом смысле можно сказать, что Никейский Собор был первой всецерковной богословской конференцией, где христиане осваивали достижения античной философии в своих собственных мировоззренческих целях. Отложив библейскую поэтику, православные обратились к понятийному анализу триадологического вопроса и обнаружили то свойство *понятия* Бога, которое делает его именно Богом, это свойство — сама Божественная «природа», или иначе «сущность». Следовательно, чтобы признать Сына-Логоса единым предвечным, необходимо указать на его *единоприродность* или *единосущность* с Богом-Отцом. Именно эту операцию совершили православные, и именно поэтому они не оставили самым умеренным полуарианам никакого шанса для перетолкования Соборного ороса в свою пользу. При этом необходимо подчеркнуть, что тема единства Божественной природы в дальнейшем была лишь одной из общих богословских тем и не менее важной проблемой стало обоснование различия Лиц Божественной Троицы, потому что крайность монархианства никуда не исчезла. Пресвятая Троица — это не безличная Божественная природа, обладающая Тремя Лицами, а именно Три Лица, обладающие общей Божественной природой.

Между тем Никейский ответ арианам не только не закончил, а усложнил православно-арианские споры, потому что последователи Ария стали играть на неустойчивости и противоречивости богословских терминов, которые еще долго пришлось отшлифовывать в богословско-философском контексте. Вершиной этого процесса очищения и прояснения богословских терминов и формул стала средневековая схоластика, ярким представителем которой был православный Отец Церкви VIII века святой Иоанн Дамаскин. Интересно обратить внимание на то, что западная, латиноязычная Церковь приняла Никейский орос абсолютно спокойно, хотя именно при переводе греческих терминов Никейского ороса возникали существенные проблемы. Дело в том, что греческое понятие «сущность» (ouala) переводилось на латинский язык как «субстанция» (substantia), а

этим термином, в свою очередь, часто переводилось греческое понятие «ипостась» (ишоатаац), которое нужно принципиально отличать от «сущности». Вообще, различение сущности и ипостаси, прямым продолжением коего является различение природы и личности, составляет основу основ православного догматического богословия. Греческая «ипостась», буквальной калькой которой является латинская «субстанция», — это не что иное, как частное проявление той самой общей сущности или природы. В этом смысле, например, дерево — это ипостась древесной сущности, а человек — это ипостась человеческой сущности. Соответственно, Бог-Сын — это ипостась Божественной сущности. Однако при всей логичности этого рассуждения, для христианского богословия в нем скрывалась большая проблема.

Во-первых, в латинском языке термином substantia часто переводили и греческое понятие «сущность», и греческое понятие «ипостась», из-за чего возникала страшная путаница. В латинском богословии Троицы благодаря Тертуллиану существовала устойчивая формула «одна субстанция — три персоны» (una substantia, tres personae), почему никейская позиция не вызывала здесь никакого сопротивления, но на самом деле эта формула была очень неудачной. «Субстанция» в точном смысле слова — это не «сущность», а именно «ипостась», поэтому иные латиняне могли думать, что у Бога всего одна «ипостась». «Персона» в греко-римском языке — это не столько личность, сколько личина, маска, которую надевали актеры в античных театрах. Поэтому если совсем точно перевести тертуллиановскую формулу «una substantia, tres personae», то на выходе мы получаем классический монархианский модализм: одна ипостась Бога, обладающая тремя масками. Этот потенциальный, бессознательный модализм был свойствен доникейскому Западу, и поэтому арианство здесь не нашло особого понимания, скорее Запад склонялся к тому самому савеллианству, и поэтому Никейскую формулу многие на Западе восприняли в савеллианском духе, против которого так боролись ариане. Поэтому в латинском языке понятие «сущность» стало все-таки обособляться от понятия «субстанция» и ему стало соответствовать более точное «эссенция» (essentia). В идеале латинская троичная формула должна звучать так: «Одна эссенция (сущность) — три субстанции (ипостаси)» (Una essentia, tres substantia), но для этого нужно, чтобы сам латинянин не путал понятия «сущность» и «субстанция».

Во-вторых, определение Лиц Троицы как «ипостасей», не говоря уже о «персон-масок», в контексте греческой философии предполагало, что эти Лица остаются только проявлением общей Божественной сущности-природы, что они вторичны по

отношению к этой сущности-природе. В соответствии с платоническими установками греческой философии общее всегда важнее частного и поэтому единство Божественной природы важнее различия Божественных Лиц. Но этот подход радикально противоречит смыслу христианской триадологии, где не Божественная природа обладает Лицами как своими «проявлениями», а Три Лица обладают общей Божественной природой. Поэтому православные богословы стали наделять греческие термины своими значениями и формировать собственную философию, где понятие «ипостась» обрело самостоятельное значение, а не просто частное проявление какой-либо общей сущности. Христианство отстаивало ценность Личности как разумного и свободного целого, не сводимого к своей природе. Самим православным не надо было доказывать, что Сын-Логос является Богом потому, что имеет общую сущность-природу с Богом-Отцом, это скорее надо было объяснять арианам и подобным им еретикам. Для православных Сын-Логос является Богом, потому что он предвечно рождается от Бога-Отца, а то, что он обладает с Богом-Отцом общей природой, подразумевается само собой.

Утвердив единосущность Бога-Сына и Бога-Отца, император Константин на Никейском Соборе открыл первую страницу в догматическом богословии Вселенских Соборов и внес свое имя в историю православной мысли.

36. Орос православной веры

По утверждению термина «единосущный» был провозглашен орос православной веры, который также называют Никейским Символом Веры:

«Веруем во Единого Бога Отца Вседержителя, Тборца всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу. Через него все существует как на небе, так и на земле. Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего (с небес), и воплотившегося, и вочеловечегося, и страдавшего, и воскресшего в третий день, и восшедшего (на небеса), и грядущего судить живых и мертвых. И в Святого Духа».

К этому догматическому тексту прилагался специальный анафематизм:

«Говорящих же, что было (время), когда не было (Сына), и что Он не существовал прежде рождения и возник из небытия, или что (Сын Божий) из иной ипостаси или сущности, или что сотворен, или обращаем, или изменяем, анафематствует Кафолическая (и Апостольская) Церковь».

Обратим внимание, что тезис о «единосущности» здесь дважды подкреплен, во-первых, специальной оговоркой *«из сущности Отца»*, а во-вторых, формулой *«Бога истинного от Бога истинного».* Также специально оговорено, что Сын именно рожден от Отца, а не сотворен им. Таким образом, в этом небольшом тексте четырежды опровергается арианская ересь, и именно ради этого опровержения он был написан. А.В. Карташев указывает, что этот текст является именно оросом, а не Символом Веры в точном смысле слова, потому что в Символе Веры не может быть анафематизма. Причиной написания Символа Веры может быть стремление опровергнуть какую-либо ересь, но сам Символ Веры не должен быть направлен против этой ереси, он должен излагать тот минимум догматической доктрины, который обязан знать и разделять каждый православный христианин. Такой Символ Веры будет утвержден уже на II Вселенском Соборе в 381 году в Константинополе и будет представлять собой расширенный вариант Никейского ороса, почему его назовут Никео-Константинопольским Символом Веры. Именно этот Символ Веры пропевается на каждой Литургии, а его знание является необходимым для любого сознательного человека, который хочет принять крещение. В нем не будет фразы *«из сущности Отца»,*

потому что она, во-первых, была лишней, а во-вторых, стала превратно пониматься как рождение Личности Сына не от Личности Отца, а от безличной сущности, которая якобы превалирует над Отцом и Сыном, как в савеллианстве. Понятно, что поскольку Сын рождается от Отца, то его сущность-природа происходит от сущности-природы Отца. Историческим поводом для написания Символа Веры в 381 году была неоарианская ересь епископа Константинопольского Македония, отрицавшего Божественность Святого Духа. По Арию, Святой Дух был творением Сына-Логоса, и несложно догадаться, что даже без этой специальной концепции ариане вообще отрицали Святого Духа как истинного Бога, поскольку признавали только Бога-Отца. В Никейском оросе также постулируется вера в Святого Духа, но она не раскрывается должным образом, и поэтому появлялись антиариане, которые не признавали Святого Духа как истинного Бога. Символ Веры 381 года исправляет этот недостаток и называет Третье Лицо Святой Троицы Господом. Имеет смысл отметить, что до Никейского ороса 325 года и Никео-Константинопольского Символа Веры 381 года в Церкви уже были разные «Символы Веры», правда, они назывались по-другому, как правило, исповеданием веры. Впервые понятие «Символ Веры» встречается у Отца Церкви Амвросия Медиоланского в его 42-м послании, обращенном к римскому папе Сирицию I (правил в 384–399 гг.). Но Никейский орос, так же как и потом Никео-Константинопольский Символ Веры, становится обязательным для всех православных христиан.

Чрезвычайно показательна история подписания Никейского ороса. Техническим редактором текста был один из секретарей Собора Гермоген, впоследствии епископ Кесарии Каппадокийской, о чем сообщает каппадокиец Василий Великий в своем 81-м письме. Из 318 епископов или их представителей предложенный орос безоговорочно подписали 314 человек, что само по себе крайне удивительно ввиду очевидной категоричности этого текста. Следовательно, вполне можно допустить, что многие ариане и полуариане просто смирились с предложением императора и большинства православных, не желая «портить праздник». Между прочим, это смирение совершенно не исключает боговдохновенный характер их согласия, поскольку человек может не осознавать правильности своих действий, но совершать их по воле Святого Духа. Кто же эти четверо радикалов? Двое из них на самом деле подписали этот орос, но не подписали анафематизмы арианству — это Евсевий Никомедийский и хозяин епархии Феогнис Никейский. Так что никейская победа была одержана без никейского епископа. Не

подписали сам орос двое египетских епископов Феона Мармарикский и Секунд Птолемаидский, известные как первые сторонники Ария в Египте. Что касается Евсевия Кесарийского, то, судя по его сочинениям, он не очень понял смысла Никейского ороса и воспринял его, скорее, как долгожданное завершение затянувшейся внутрицерковной смуты. Во время Собора он, скорее всего, думал над своей речью, которую он должен был прочесть в честь двадцатилетия правления Константина.

В то же время некоторые ариане пошли на весьма тонкую хитрость, отвечая православным их же терминологическим оружием. При написании слова оцоожшх; («единосущный») они незаметно вставили между буквами «о» букву «i» (йота), так что получалось слово ojiOioiJGioq («подобосущный»). При всей внешней комичности этой уловки она фундаментально изменяла желаемый смысл: одно дело быть единосущным с Богом-Отцом и другое — быть подобосущным ему. Например, человек может быть подобен Господу по благодати, но он не может быть с ним единосущным. Утверждение подобосущности Сына Отцу, это настоящее арианство, и последующие десятилетия оно станет одним из ключевых положений этой партии. Так добавление одной буквы может полностью изменить смысл всей фразы, недаром православные хотели застраховать орос введением таких тезисов, как *«из сущности Отца»*, *«Бога истинного от Бога истинного»* и *«рожденного, несотворенного»*, но даже при этих оговорках смысл ороса все равно меняется. Интересно, что требование не менять тексты «ни на йоту» вошло в поговорку. Греческая «йота» — это лишь «палочка», не всегда заметная невнимательному читателю, не случайно Христос говорил: *«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все»* (Мф. 5:18). Спор про «омоусиос» и «омиусиос» станет одним из главных в богословии IV века.

37. Победа церкви

Кроме догматического ороса Никейский Собор принял 20 канонов, с которых начинаются правила Святых Вселенских Соборов. Правило 4 утверждало, что для постановления епископов нужно не только три других епископа, но и митрополит соответствующей области, и тем самым закрепляло власть митрополитов. Правило 6 закрепляло митрополичьи полномочия трех ведущих епископов — Римского, Александрийского и Антиохийского. Правило 7 закрепляло такие же полномочия для епископа Иерусалимского. Так было положено начало территориальной структуре Вселенской Церкви как своего рода конфедерации крупнейших митрополий, ставших впоследствии ведущими Поместными Церквами. На II Вселенском Соборе в 381 году будет признана митрополия Константинополя, и после этого систему Вселенской Церкви можно будет назвать «пентархией» как властью пяти патриархатов — Римского, Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Правила 8,11,14 оговаривают необходимые условия для возвращения в Церковь отпавших от нее во время гонений, и в этом смысле они направлены в осуждение крайностей новацианства и донатизма. Также Никейский Собор осудил Мелетианский раскол.

Эпохальным каноническим решением Никейского Собора было утверждение времени празднования Пасхи (Воскресения Христова). До этого момента не было единого канона о времени празднования Пасхи, что само по себе было абсолютным нонсенсом для Вселенской Церкви.

Лидировали две традиции — условно восточная, принятая в Малой Азии, а потом в Сирии, и условно западная, принятая в Риме и Александрии.

На Востоке Империи Пасху праздновали одновременно с иудейским Песахом 14-го числа месяца нисана из иудейского календаря, когда наступало полнолуние, что само по себе было вполне логично, но создавало очень большие проблемы морального характера, поскольку у многих христиан возникало превратное представление о том, что жизнь Церкви Христовой должна зависеть от жизни иудейской общины. Нередки были случаи, когда христиане из самых лучших намерений посещали иудейские синагоги, соблюдали иудейские ритуалы, считали, что именно у иудеев нужно брать какие-либо культовые реликвии, поскольку у них они более «подлинные». Именно поэтому Отцу Церкви святому Иоанну Златоусту пришлось написать целую

книгу «Против иудеев», которая в основном посвящена объяснению несмышленым христианам, что Церковь не нуждается в связи с иудаизмом как религии, отвергшей Христа. По поводу сравнения иудейской и христианской Пасхи Иоанн Златоуст писал: *«Разве не знаешь, что иудейская пасха есть образ, а христианская — истина) Смотри, какая между ними разность: та избавляла от телесной смерти, а эта прекратила гнев (Божий), которому подпала вся вселенная; та избавила некогда от Египта, эта освободила от идолослужения; та погубила фараона, эта — диавола; после той — Палестина, после этой — Небо. Что же ты сидишь со свечкою, когда уже взошло солнце?»* По «восточной» получалось, что Пасха могла выпасть на любой день недели, в то время как для Церкви очень важны были именно дни недели в последних страданиях Христа и его воскресения. Как бы восточная традиция ни справлялась с этой проблемой, перенося Пасху на воскресенье после 14 нисана, ее главная проблема была в том, что в связи с определенными особенностями конструирования иудейского календаря в разных странах он проходил по-разному и все равно получался сбой. Между тем защитником традиции праздновать Пасху в тот же день, что и иудеи, был, например, священномученик Поликарп Смирнский.

Однако в Александрии возникла другая традиция праздновать Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое, в свою очередь, должно наступить после весеннего равноденствия (21 марта). Именно александрийская традиция празднования Пасхи была принята на Никейском Соборе, хотя календарные противоречия продолжались еще очень долго, пока в 525 году аббат Дионисий Малый не регламентировал христианский календарь, принятый во всей Церкви. Важно отметить, что именно император Константин ввел выходной день в воскресенье и дал этому дню христианский смысл. Седьмой день недели, который в то время был первым, посвящался «богу солнца», которому поклонялись римляне накануне принятия христианства. Из римской традиции определение седьмого дня как «дня солнца» перешло в «варварские» языки (ср. *нем.* Sonntag, *англ.* Sunday). Именно император Константин впервые объявил «день солнца» выходным днем 7 марта 321 года, а по мере его христианизации этот день стал называться воскресеньем.[2]

По окончанию Никейского Собора император Константин устроил праздник в честь двадцатилетия своего правления, в котором приняли участие все делегаты Собора. Характерно, что соборные постановления были разосланы по всем епархиям не только церковными организаторами Собора, но и самим

императором. Именно с этого момента можно было однозначно сказать, что у Римской империи сменилась *религиозная идеология.* На тот момент это были настоящее торжество православия и победа Церкви, которую подарил ей Константин Великий.

Часть 7. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ

38. Святая Елена — мать Константина

Самым светлым, самым понимающим и самым помогающим человеком в жизни императора Константина была его мать — Елена. К сожалению, мы практически ничего не знаем о жизни матери Константина, о ее молодости, о ее пребывании в императорском дворе, но зато мы знаем о ее великих подвижнических делах, оказавших огромное влияние на дальнейшую историю Церкви. В этом отношении мать Константина представляет собой разительный контраст по сравнению с очень многими людьми, живущими в эпоху ее сына, в биографии которых мы вынуждены копаться только потому, что они каким-либо образом пересекались с Константином. Сколько нелепых и точных подробностей мы знаем из совершенно бездарной и мрачной жизни каких-нибудь Максимианов, Галериев, Максенциев, Максиминов, Лициниев, на место коих можно было бы легко поставить любого другого человека, который бы, может быть, не справился со своей властью, но хотя бы не принес столько горя другим людям или оставил бы после себя хоть что-нибудь, что вызывало бы минутное восхищение или просто приятное удивление. И пока Константину приходилось все время иметь дело с подобными людьми, разбирая и усмиряя их страсти, рядом с ним жила его святая мать, по всей видимости, тихо и незаметно, иначе бы мы наверняка узнали о ней гораздо больше, но зато она настолько помогала ему в самом главном деле его жизни, что их имена теперь неразрывно связаны в памяти Вселенской Церкви.

Будущая Флавия Юлия Елена Августа родилась около 250 года в городе Дрепане в Вифинии, на берегу Никомедийского залива, недалеко от города Византия. По велению Константина после смерти матери ее родной город будет назван Еленополь. Историки спорят о точной дате рождения Елены, которая варьируется от 248 года до 257 года, но в большинстве случаев принято указывать 250 год.

О ее происхождении мы знаем из «Слова на смерть императора Феодосия Великого», написанного Отцом Церкви Амвросием Медиоланским, где он назвал ее «stabularia», то есть хозяйкой постоялого двора. В 270 году Елена встречается с полководцем Констанцием и становится его женой, а по Отцу Церкви Иерониму Стридонскому, она была его конкубиной, то есть неженатой подругой. Также не существует единого мнения о том, когда у Елены от Констанция в городе Наиссе (ныне город Ниш) родился сын Константин. В исторической литературе можно

встретить различные варианты от 270 до 275 года, но наиболее конвенциональной датой является 272 год. Как мы помним, в 293 году при получении титула цезаря Констанций Хлор разошелся с Еленой, чтобы жениться на падчерице императора Максимиана Геркулия Феодоре, матери всех братьев и сестер Константина. По всей вероятности, Елена все время жила в Никомедии, пока в 306 году, после смерти Констанция Хлора, ее не забрал к себе сын Константин. В это время основной резиденцией Константина и, соответственно, реальной столицей Галлии был город Тревир (Трир), который иначе называют даже северной столицей Римской империи. В Тревире у Елены был собственный дворец. В 318 году как мать императора Елена получает звание Nobilissima Femina, то есть «благороднейшая женщина». Мы можем встретить эту подпись на монетах с ее изображением, отчеканенных уже в том году в Фессалониках. Когда в 324 году Константин становится единоличным императором, то его мать отныне получает титул Августы и, как пишет Евсевий Кесарийский, *«Константин дал ей право употреблять по собственному желанию царскую казну и распоряжаться всем, как она захочет и как покажется ей наилучшимь* (Жизнеописание 3, 47). Мы можем судить о владениях Елены в Риме, потому что, как только у нее появилась возможность помогать сыну созидать Империю, она очень много занималась строительством, оставив большой след в истории архитектуры — ей принадлежало Лаврентское поместье, известны ее Сессорианский дворец и сооружения на Лабиканской дороге.

Мы точно знаем о том, что Елена приняла христианство, но мы не знаем, когда это произошло.

Вполне можно предполагать, что она была христианской с ранних лет, и тогда это могло бы объяснить благожелательное отношение к Церкви ее мужа Констанция и сына Константина. С другой стороны, если бы Елена воспитывала Константина в христианстве, то у него, возможно, не было бы той религиозной эволюции, которую мы наблюдаем всю его жизнь. Но мы в любом случае знаем, что рано или поздно Елена приняла крещение и сделала для Церкви больше всех женщин ее эпохи. Если не считать главным произведением ее жизни самого Константина, то им остается ее непосильный вклад в восстановление и созидание христианских святынь, в первую очередь связанные с ее паломничеством на Святую землю. Открытие Константином *христианства как мировоззрения* неизбежно предполагало созидание *христианства как культуры*. На практике это созидание означало наполнение существующих культурных форм христианскими смыслами и своего рода ревизия всей греко-

римской историософии в библейской перспективе. Отныне центр мира — это не Рим, а Иерусалим, а сам мир — это не Римская империя, а все человечество, крещенное и ожидающее своего крещения. Из этого не следует, что Рим и Империя утрачивают свое значение, наоборот, они, наконец, обретают его как земные опоры Вселенской Церкви. В историософском плане это обретение требует разомкнуть циклическое понимание времени языческих мифов в необратимую линию всемирной истории, у которой есть начало и есть конец и на одном этапе которой воплощается Сын Божий, на другом рождается Константин, на третьем — мы с вами и т. д. События христианской истории происходят в конкретном времени и конкретном пространстве, а поэтому само пространство и время в христианстве становятся конкретными, а не абстрактномифологическими.

Елене было около 75 лет, когда она, по выражению Евсевия, «с быстротой юноши поспешила на Восток» обретать святыни времен Христа и строить храмы на Святой земле. Паломническая экспедиция Елены была делом государственного значения — ее задачей фактически было новое открытие Иерусалима, в котором память о Христе была уничтожена всеми возможными способами.

Вспомним, что в 70 году Иерусалим был разрушен армией императора Веспасиана под руководством его сына Тита. С этого момента город пришел в сильное запустение, а в 123 году император Адриан сровнял город с землей и начал его строить заново как римский город с названием Элиа Капитолина. Название сочетало в себе имя самого Элиа Адриана и имя Юпитера Капитолийского, коему император построил храм на месте бывшего Иерусалимского храма. Но Константин приказал вернуть историческое имя *священного города,* и этот жест символизировал собой начало новой эпохи в истории всего греко-римского мира. Евсевий пишет: *«Путешествуя по всему Востоку с царственным великолепием, она осыпала бесчисленными благодеяниями как вообще народонаселение городов, так в частности каждого приходившего к ней; ее десница щедро награждала войска, весьма много помогала бедным и беспомощным. Одним она оказывала денежное пособие, других в изобилии снабжала одеждой для прикрытия наготы, иных освобождала от оков, избавляла от тяжкой работы в рудокопнях, выкупала у заимодавцев, а некоторых возвращала из заточения»* (Жизнеописание, 3, 44). Также и Сократ Схоластик отзывается о необыкновенной скромности Елены. «По описанию Сократа Схоластика, «она была до того набожна, что и молилась, стоя в ряду жен и дев, вписанных в канон церквей, приглашала их к своему столу и, служа им сама, приносила на стол яства. Много

также делала она подарков церквам и бедным людям» (Церковная история, 1,17).

Знаменательным событием в истории Церкви было обнаружение Еленой Креста, на котором был распят Иисус Христос.

В Иерусалиме Елена увидела город, полный языческих капищ, где найти святыни эпохи Христа было практически невозможно, но после усердных исследований она узнала место Голгофы и начала раскопки. Церковное предание гласит, что Елена нашли три креста, на одном из которых должен был быть распят Христос, но для выяснения этого вопроса он должен был показать свою чудодейственную, животворящую силу. После этого императрица Елена и епископ Иерусалимский Макарий I воздвигли этот Крест, к всеобщему обозрению, на Голгофе. Вместе с Крестом Елена обрела четыре гвоздя, которыми прибивали тело Христа, и табличку, на которой Понтий Пилат написал аббревиатуру «INRI», расшифровывающуюся как «Иисус Назарянин, Царь Иудейский» (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) (Ин. 19: 19–22). Как явствует из Евангелия, Пилат написал эти аббревиатуру не только на латинском, но и на еврейском и греческом языках. Православная Церковь празднует день обретения Честного Креста Господня и гвоздей святой царицею Еленою 6 марта (19 марта по н. с.). Елена догадалась, что недалеко от обретения Креста Господня должно быть и место Гроба Господня, и продолжила поиски. В это время Константин приказал очистить Иерусалим от языческих капищ, многие из которых были построены на специально насыпанной горе. Император приказал не только убрать идолов, но и срывать сами насыпи. Фактически Константин очищал город от Адрианова наследия. В процессе срыва очередной насыпи храма Венеры («всладострастному демону любви», как пишет Евсевий) вдруг в глубине земли обнаружили абсолютно пустое пространство, которое и оказалось местом Гроба Господня.

После этого знаменательного открытия Константин приказал построить на всем этом пространстве огромный храм в честь Воскресения Господня. Великий храм строили десять лет. 13 сентября 335 года на месте Голгофы и Гроба Господня был освящен большой новопостроенный храм Воскресения, а на следующий день в нем поставили обретенный Еленой Крест, и поэтому день 14 сентября (27 сентября по н. с.) в православном календаре стал праздником Крестовоздвижения.

Кроме храма Воскресения Господня Елена основала храм Рождества Христова в Вифлееме; храм Христа и апостолов Петра, Иакова и Иоанна на горе Фавор, где эти три апостола видели

Преображение Христово; храм Вознесения Христова на Елеонской горе; храм Двенадцати апостолов у Тивериадского озера; храм Святого Семейства в Гефсимании; храм над гробом Лазаря в Вифании; храм у Мамврийского дуба в Хевроне, где Господь явился Аврааму; храм пророка Илии на месте его вознесения и многие другие. Всего на Святой земле Елена основала более 80 храмов.

Мать Константина скончалась в 330 году, в возрасте 80 лет. Евсевий пишет, что она *«окончила свою жизнь в присутствии, в глазах и в объятиях столь великого, служившего ей сына»,* поэтому есть основания полагать, что это произошло в Трире. Император перевез ее тело в Рим, где она была торжественно похоронена на Лабиканской дороге за Аврелиановыми стенами. Церковь канонизировала Елену как *равноапостольную*, поскольку ее служение Богу по своему значению сравнялось с миссионерским подвигом святых Апостолов.

39. Жена и дети

У Констанция Хлора и Елены не было других детей, кроме Константина. Все братья и сестры Константина были детьми второй жены Констанция, дочери Максимиана Геркулия Феодоры, а именно — Анастасия, Юлий Далмаций, Флавий Далмаций, Флавия Юлия Константина и Евтропия.

Как мы помним, Анастасия была женой временного цезаря Бассиана, обвиненного в измене и казненного в 314 году, а через двадцать лет она выйдет за консула Прокула Опата, которого убьют после смерти Константина в 337 году. Другая сестра Констанция была женой Лициния, также обвиненного в измене и казненного в 324 году, от него у нее родился сын Лициний Младший, которого также ожидает трагическая кончина… Как бы это страшно ни звучало, но в те времена и в той политической атмосфере такое количество противоестественных смертей было *естественным.* Родственники единоличного правителя в государстве, где пожизненная власть хотя бы теоретически может передаваться по наследству, всегда ходят между жизнью и смертью. Римская империя IV века de facto не была республикой, но она не была и династической монархией, где количество потенциальных наследников престола всегда предельно ограничено. В этой системе, корни которой восходят к Августу, стать главой государства мог в принципе любой удачливый карьерист, но вместе с этим он мог передать свою власть сыновьям и братьям, лишь бы армия и декоративный Сенат его поддержали. Поэтому только тот родственник действующих цезарей и августов мог чувствовать себя в абсолютной безопасности, кто сделает все для того, чтобы его не заподозрили в желании оказаться у власти, то есть покинет столицу и исчезнет в пространстве. Те же, кто живет в императорском дворце и все время на виду, обречены быть объектом самого неприятного внимания со стороны самых неожиданных людей, вдруг решивших оказаться на их месте. А если кто-то из таких царственных родственников согласится участвовать в большой политике, то никаких гарантий его благополучной кончины никто уже дать не может. Это большая политика, и здесь могут убить. Сущностные причины этого смертельного риска связаны не только с тем, что действующего главу государства постоянно окружают маниакальные охотники за властью ради власти, дело совсем не только в человеческих страстях. Дело еще и в том, что от любой государственной власти действительно зависит судьба миллионов людей, зависит их моральное и материальное

состояние, и поэтому любой недочет или конфликт, простительные обычным людям, на уровне абсолютной власти раздуваются до абсолютных масштабов. Также и Константин прекрасно понимал, что его Империя требует ответственных наследников, адекватных тем задачам, которые он сам перед ней поставил, но его выбор был ограничен его семьей, где далеко не каждый был хотя бы сравним с Константином в его лучших качествах. Как политик он все время проводил вне семьи, где основной тон задавала Флавия Максима Фауста (290–326) — волевая и властная женщина, а также весьма прагматичная и совершенно далекая от его духовных поисков. Не забудем, к слову, что она выросла в семье Максимиана Геркулия и Максенция, то есть воспитывалась в соответствующей атмосфере, и поскольку она больше времени проводила с детьми, то ее влияние на них было сильнее, чем Константина или бабушки Елены. Примечателен тот факт, что мы ничего не знаем об отношении Фаусты к религии и религиозной политике — главному делу ее мужа, которое прославит его имя в веках.

У Константина было четыре сына: один от первой жены и трое от второй. В 300 году от первой жены Минервины у него родился сын Крисп (300–326), о котором мы уже помним как о командующем флотилией в победоносной битве с Лицинием при Хрисополе в 324 году. В 316 году, через девять лет после женитьбы Константина и Фаусты, когда Криспу уже было 16 лет, у них родился первый сын Константин II (316–340). В 317 году у них рождается второй сын — Констанций II (317–361). И в 323 году у них рождается третий сын — Констант (323–350). Обратим внимание, как важно им было сохранять имя отца и деда в потомках.

Когда Флавию Юлию Криспу было 17 лет, к нему в качестве учителя пригласили такого знаменитого христианского словесника, как Лактанций, который с 317 года стал придворным интеллектуалом Константина. Трудно представить себе, чтобы такой оратор и мыслитель, как Лактанций, пишущий в то же и в том же месте «О смертях преследователей», не повлиял на воспитание юного Криспа. А если также вспомнить, что его бабушкой была сама Елена, которая, конечно же, весьма благоволила внуку, то можно вполне допустить, что в случае его прихода к власти мы имели бы настоящего христианского императора, достойно продолжающего дело отца.

В 317 году по договору с Лицинием Крисп провозглашается цезарем наравне с другим сыном Константина — годовалым Константином II. В 318 и 321 годах Крисп был назначен консулом — хотя должность формальная в IV веке, но все-таки самая

высокая в сенаторской системе. Когда же в 324 году Крисп одержал решающую морскую победу над флотом Лициния, то вряд ли кто-то сомневался в том, что именно этот человек, старший сын Константина, столь образованный и успешный, будет наследовать трон отца.

Но кое-кто очень не хотел этой перспективы, и беда для Криспа пришла не от каких-нибудь варваров или новых врагов отца, беда пришла изнутри, из дома самого отца. Фауста не для того рожала наследников трона, чтобы они подчинялись первому сыну Константина от предыдущего брака с неизвестной простолюдинкой, и поэтому она пошла ва-банк, решив оклеветать сына перед отцом. За свой статус ей не было смысла переживать: как жена императора, она носила звание Nobilissima Femina, то есть «благороднейшая женщина», а с 323 года стала Августой. Но она переживала за детей, стремясь их всеми правдами и неправдами удержать у власти. С определенного времени она начинает наговаривать Константину разные гадости на Криспа, а однажды вдруг сообщает ему, что Крисп хотел покуситься на ее… целомудрие! Константин не привык не верить своей жене, а ее обвинение Криспа было слишком чудовищно, чтобы после этого поверить сыну. С той минуты, когда Константин поверил Фаусте, в их семье разыгралась историческая катастрофа, ставшая самой большой — если не единственной — трагедией в жизни Константина. К всеобщей неожиданности, император приказал арестовать Криспа и сослать в город Пулу на балканском полуострове Истрия (ныне в Хорватии) и убить его там в заточении. Когда об этом узнала Елена, она объяснила Константину, что он должен открыть глаза, что Фауста оклеветала Криспа ради продвижения своих детей.

Константин осознал свое преступление, но для его исправления решил совершить другое — убить Фаусту. Как пишет Аврелий Виктор, Константин столкнул Фаусту в горячую воду в бане, что привело к ее смерти (Извлечения, 41,12). По Филосторгию, Фауста была обвинена в измене мужу с неким Курсором (Церковная история 2,4). Исследователь римской истории Е.В. Федорова по этому поводу пишет: *«Однако древние авторы рассказывают об этом страшном событии столь разноречиво, что неизвестно, действительно ли Фауста погибла; некоторые пишут, что она благополучно пережила Константина»* (Императорский Рим в лицах. МГУ, 1979. С. 205). Христианские авторы не упоминают об этих убийствах и мы о них знаем только от языческих и арианских историков. По распространенному мнению, если эти убийства были, то после осознания того, что случилось, Константин пришел к покаянному состоянию, еще

более усилившему его обращение в христианство. После смерти Фаусты он построил ей большой мемориал, сохранившийся ее сыновьями.

Существует достаточно убедительная гипотеза о том, почему Фауста активизировала свою клевету против Криспа именно в год двадцатилетия правления Константина. Если Константин хотел следовать традиции Диоклетиана каждые двадцать лет назначать новых августов, то Фауста понимала, что одним из таких августов будет именно Крисп, а ей вообще не хотелось видеть его у власти ни в каком качестве. В 326 году цезарю Криспу было уже 26 лет, а ее первенцу и тоже цезарю Константину II всего 10. По всем возможным критериям сын Минервины имел больше возможностей стать августом, чем кто-то из детей Фаусты. Единственная причина, которая могла бы отказать Криспу во власти, так это только то, что он был незаконнорожденным ребенком или вообще родившимся в то время, когда Константин не был императором. Но в эпоху Римской империи не было династического права и этот аргумент не имел никакого значения. Поэтому Фауста начала суетиться так же, как некогда ее отец, и провоцировать убийство пасынка.

Константин не ушел в отставку в 326 году, не назначил августов, да и вряд ли собирался это делать. Зато все сыновья Фаусты были назначены им цезарями, и все они стали наследниками его власти. Сократ Схоластик писал, что император через каждые десять лет своего царствования назначал нового цезаря из своих сыновей, но хронологически это так. Константин II был объявлен цезарем в 317 году вместе с Криспом и заочно получил Британию, Галлию и Испанию. Констанций II стал цезарем в 324 году и заочно получил весь Восток. Констант стал цезарем в 333 году и заочно получил Италию, Иллирию и Африку. Все они стали августами только после смерти отца в 337 году.

Трагедия с Криспом и Фаустой невольно наводит на вопрос — что дала Константину женитьба на дочери Максимиана? Вопрос вполне оправданный, потому что этот брак был обусловлен чисто политическими причинами, и поэтому по прошествии лет, post factum, мы можем подвести итоги этого политического союза. По большому счету, женитьба на Фаусте с политической точки зрения ничего не дала Константину, хотя мы помним мотивы этого шага, которые на момент 307 года казались достаточно убедительными. Константин хотел расширить свою легитимность и заручиться поддержкой клана Максимиана в неизбежном противостоянии с Галерием. Сам Галерий явно не ожидал такого поворота событий, что заставило его смирить

гордыню, взяться за ум и созвать исторический съезд в Карнунтуме, из которого Галерий вышел победителем, а Константин проигравшим. Уже после этого съезда было понятно, что связь с кланом Максимиана ничего ему не дает, а только вредит. В 310 году Константину дважды приходилось миловать Максимиана за нескрываемое желание убить зятя. В 312 году ему пришлось идти войной на Максенция. И вот в 326 году он из-за Фаусты убил своего лучшего наследника, а потом и его мачеху. Из совокупности всех этих фактов можно заключить, что женитьба на Фаусте, за которой последовало столько бед, была ошибкой Константина.

Вместе с этим Константин мог не любить Максимиана, но он мог довериться Фаусте, тем более что она уже доказала однажды свою преданность. Константин совсем не был похож на холодного циника, что отмечают даже языческие историки. Если бы он был циником и действительно вынашивал планы убить сына и жену, то он бы это сделал так, что мы никогда бы об этом не узнали, но его убийство Фаусты явно не было рассчитано на то, чтобы скрыть этот факт. Если он готов был приблизить к себе своих врагов, то только можно себе представить, как он переживал, когда узнавал о предательстве друзей. При этом он умел прощать и хотел верить людям, но не все люди пользовались этим доверием во благо. Поэтому даже такой патетический апологет Константина, как Евсевий Кесарийский, говорил о нем: *«Доверяя же им, иногда совершал он недолжное. Это-то пятно зависть кладет на прекрасные его деяния»* (Жизнеописание, 4, 54).

Как и любой правитель, даже с самыми благими намерениями, Константин не был всемогущим демиургом, и все его решения исполнялись множеством других людей, спотыкаясь об их глупость, ограниченность, праздность и злобу, а он доверял им, потому что без доверия друг к другу никакое общественное созидание невозможно.

40. Реформы Константина

Сказать про императора Константина, что он был великим реформатором, — ничего не сказать. Последствия реформ Константина настолько изменили Римскую империю, что его, строго говоря, нельзя поставить в ряд ни с одним другим императором Рима, начиная с самого Октавиана Августа. Константин буквально создал Новый Рим, а с ним и Новую Европу, и поэтому очень странно, что его имя для многих современных европейцев совсем не так хорошо знакомо, как каких-нибудь Неронов и Калигул, известных только своим самодурством. Между тем про Константина нельзя сказать, что его реформы пришли на смену длительному застою и что его современники никогда не видели столь неутомимого императора. У всех на памяти был Диоклетиан с его разделом Империи на тетрархии, двусмысленными метаморфозами власти, лихорадочным строительством и прочими событиями, напоминающими жителям Империи, что История продолжается. Поэтому Константину, с двадцати лет наблюдающему за политикой Диоклетиана изнутри императорского двора, было с кого брать пример реформаторской активности. Но при этом преобразования Константина по своему масштабу несравнимо превосходят Диоклетиановы, поскольку они касались не столько изменения внешних форм государственности, сколько его внутреннего идеологического состояния и были в большей или меньшей степени обусловлены этой глобальной идеологией.

После освобождения Рима от Максенция Константин ликвидирует преторианскую гвардию и преторианский лагерь, это, по его словам, *«постоянное гнездо мятежей и разврата»,* три столетия терроризировавшее страну своими амбициями. Теперь вместо преторианской гвардии введены, функционально более определенные, дворцовые войска и свита императора. Если при Диоклетиане легион мог состоять даже из 6000 солдат, то Константин лимитирует это число до 1000, что делает их значительно более мобильными. Другая причина уменьшения численности легионов связана с варваризацией армии и необходимостью внимательнее следить за каждым солдатом.

Константин углубил и завершил реформы Диоклетиана по разделению гражданских и военных должностей. Каждой из четырех частей Империи в административном порядке управлял префект претория, а армией управляли два магистра пехоты и два магистра кавалерии. В некоторых случаях обе должности объединялись в лице магистра обеих милиций (от militia —

«войско»). В конце IV века император Феодосий I (правил в 379–395 гг.) учредит единую должность «магистр армии». Следовательно, командование легионами отныне подчиняется только военным магистратам, а во главе каждого легиона стоит военный трибун. Во главе каждого провинциального соединения также стоит не викарий, а дукс (dux, родственно глаголу ducere — «вести», отсюда впоследствии возникли слова — дук, дож, дуче). Напомним также, что с эпохи Константина происходит христианизация военной символики — к орлам добавляются кресты и лабарумы, что наглядно отличает новую армию *христианской Империи* от языческой.

Другим наглядным нововведением Константина в армии было значительное привлечение германских племен, прежде всего готских, которые были очень хорошими воинами, и это привлечение способствовало их романизации и эллинизации. Вряд ли нужно объяснять, что наполнить армию чистокровными греками и римлянами было физически невозможно, да и о какой чистокровности можно говорить, если сам Константин и многие его предшественники были варварами-иллирийцами по происхождению. Отношения Константина с германцами имели свою историю. Константин противостоял весьма агрессивным германским племенам с 306 года, когда унаследовал власть отца над Галлией. Естественной восточной границей Галлии был Рейн, соответственно ставший границей Римской империи на севере Европы, испытывающей постоянные набеги германских племен. Причем во времена Константина эти набеги были лишь первыми ласточками того глобального процесса миграции с востока на запад и с севера на юг, который в исторической наук называется «Великим переселением народов» IV–VII веков. Все годы своего правления в Трире Константин сдерживал наступление германцев на Рейне, с 317 года эту миссию унаследовал цезарь Крисп, с 326 года — одиннадцатилетний цезарь Константин II.

В 310 году Константин Великий построил первый мост через Рейн, недалеко от Кельна, длиной в 420 метров. Интересно заметить, что это был единственный мост через Рейн до XIX века. Рядом с мостом Константин построил крепость Дивидию («богатство»), по-немецки называвшуюся Deutsch (Дойц). Когда в 461 году речные (репуарские) франки объявят свою независимость, они назовут свою землю Deutschland, и отсюда пойдет самоназвание всей Германии. В результате успешных германских походов в 314 году Константин получает титул «Германикус», то есть «Германский». Но вместе с этим германцы часто переходили на службу в римскую армию задолго до Константина, и их активно использовали в наиболее опасных

походах. Историк Иордан в середине VI века жалуется на то, что римские власти часто призывали готов, но как только *«в государстве наступал жир, ими начинали пренебрегать. А ведь было время, когда без них римское войско с трудом сражалось с любыми племенами»* (Getica, 111). Например, характерной особенностью сражений Константина и Лициния было то, что армии обоих августов в значительной степени состояли из готов. Поэтому сосланного в Фессалоники Лициния охраняли и казнили именно готы. В отличие от Рейна, на Дунае давно не было моста, и это сильно затрудняло передвижение римской конницы. Еще в 105 году Траян построил первый мост через Дунай в районе современного румынского города Дробета-Турну-Северина, но в 271 году, при Аврелиане, он был уничтожен римлянами, покинувшими Дакию. Поэтому в 328 году Константин строит новый мост через Дунай, значительно восточнее предыдущего, в районе современного румынского города Корабия, длиной 2437 метров, подобно тому как восемнадцать лет назад он строил мост через Рейн. Действительно, «понтифик»! В 332 году Константин наносит сокрушительное поражение готам и сарматам, а после этого отводит им земли для расселения — готам в Паннонии, а сарматам в Северной Италии. Так поколение за поколением германцы, а равно и другие племена подвергались неизбежной романизации и эллинизации, и служба в римской армии была ведущим проводником этого процесса. Германцы нанимались в армию Империи не только для совершения дальних походов, но и для того, чтобы, проживая вдоль границ империи, охранять их от других варваров. Такие пограничные варварские части назывались в IV–VI веках «федератами». Важно заметить, что, в отличие от иных варваров, германцы относительно быстро христианизировались, без чего был совершенно невозможен тот реальный романо-германский синтез, на котором была основана культура средневекового Запада.

Несмотря на то что тетрархия как власть четырех императоров исчезла, сохранилось разделение на четыре префектуры, каждой из которых управляет префект претория. Если реформы армии предназначались для улучшения внешней безопасности государства, то реформы административно-правовой системы были направлены прежде всего для обеспечения внутренней безопасности, то есть предотвращения узурпации и низовых мятежей. Расформирование преторианской гвардии в 312 году не давало никаких гарантий того, что вся армия не будет использована кем-либо для захвата власти, и именно для этого Константин разделил военные службы и гражданские службы, последними из которых управлял префект

претория, не имеющий никаких военных обязанностей. С 312 года префекту претория подчиняются викарии, управляющие диоцезами и провинциями, и, таким образом, выстраивается иерархия чисто гражданской власти, совершенно независимой от военных частей. С 331 года решения префекта претория, особенно в сфере законодательства, не обжалуются императору.

При Константине начинает окончательно разрушаться прежняя, классическая для императорского Рима иерархия трех высших сословий — сенаторов, всадников и декурионов (провинциальных землевладельцев). Константин формализует функций императорских советников, называемых «комитами» (от comes — «спутник»), разделенных на три ранга и соответствующих разным сферам ответственности. Комиты составили большую часть новой официальной аристократии, которая пришла на смену сенаторской.

Интересно, что если от названия военного командующего dux происходит титул герцога, то от названия comes происходит титул графа.

Хотя сенаторы благодарили Константина за освобождение от Максенция, их роль в истории Рима окончательно сходит на нет, потому что Сенат давно утратил функции государственной власти и превратился в культурный реликт. С эпохи «тридцати тиранов» при Галлиене сенаторы не могли занимать должности провинциальных чиновников, но Константин даровал им эту возможность, а также привилегию свободных выборов квесторов и преторов. При этом сенаторы больше не могли быть судимы только другими сенаторами и перешли под юрисдикцию провинциального суда. Новая аристократия делилась на шесть уровней, и эта новая система определяющим образом повлияла на средневековую дворянскую иерархию как на Западе, так и в Восточной Европе. Низший, шестой ранг — «выдающиеся». Пятый ранг, выше шестого, — «совершеннейшие». Четвертый ранг — «светлейшие» (клариссимы), при принципате так называли только сенаторов, теперь они могут быть наместниками провинций. Третий ранг — «почтенные» (спектабили) — могут быть викариями диоцезов. Второй ранг — «сиятельные» (иллюстрии) — могут быть префектами префектур. Первый ранг — «благороднейшие».

На первый взгляд эти эпитеты могут показаться излишне напыщенными и отдающими восточной лестью, но на самом деле, даже если их происхождение связано с восточными симпатиями Аврелиана и Диоклетиана, необходимо понимать, что для современного восприятия они звучат совсем не так, как они звучали в Риме IV века. Здесь указывается степень превосходства,

имеющая не моральное, а социальное значение. Например, «благороднейший» — это не человек благородного поведения, а тот, чье происхождения, пускай даже путем усыновления, дает ему право занимать это высшее положение. Иными словами, пафос византийских гипербол носил не этический, а социально-эстетический смысл и в соответствующее время воспринимался значительно проще, чем в наши дни.

Параллельно с военной и гражданской властью Константин усилил значение спецслужбы так называемых «агентов» (agens in rebus), которая внешне выполняла самые разные поручения, в основном инспектировала имперскую почту, но в реальности занималась внутренней политической разведкой. Империя настолько усложнялась во всех отношениях, что отказаться от роли тайной полиции было недальновидно. Достаточно сказать, что инспекции агентов могли предотвращать такие неприятности, на исправление которых потребовались бы значительные ресурсы, вплоть до военных действий. Государством управлял император, которого со времен Аврелиана и Диоклетиана называли dominus («господин»), опирающийся на совещательный орган — консисторий, пришедший на смену прежнего консилиума. Членами консистория были магистр оффиций, главный юрист, два финансовых чиновника, а также высшие комиты (советники) и все, кого назначит император, имеющий право решающего голоса. Все службы при императоре отныне именовались «священными» в силу священства имперской власти, которую они представляют.

До Константина римская правовая система невероятно усложнилась и не столько в целях детализации самого права, сколько в целях наживы юристов, паразитирующих на незнании правового процесса другими гражданами. Прежде всего Константин отменил дурную практику оплаты каждого шага со стороны истца в суде, позволяющую обращаться в суд только состоятельным людям. Например, истец должен был платить за правильно составленный иск, что умели делать только юристы, и даже за своевременную информацию о времени заседания суда. Отменив эти оплаты, Константин сделал суд доступным несостоятельным людям. Далее, Константин отменил множество всевозможных излишних формальностей, сопровождающих любой судебный процесс и превращающих его в несмешной театр. Нарушение любой из этих формальностей, даже самой малой, влекло за собой остановку всего судебного дела, чем заинтересованные стороны вполне могли пользоваться. При этом речь идет не только о различных бумажных формальностях, но и об определенной пантомиме, которую должны были разыгрывать

обе стороны судебного процесса. Например, отпущение сына или раба предполагало дать им легкий шлепок по щеке, разведенная жена отдавала мужу связку ключей от дома, получивший завещание должен был плясать от радости и т. д. (см. об этом: Гиббон Э. Историческое обозрение римского права, 1835 г.). При Константине окончательно были отменены все эти ненужные глупости, которые были призваны удостоверить в суд в реальной, а не подставной, заинтересованности участников судебного процесса, а в итоге делали его еще действительно лицемерным. Отмена этих излишних мер существенно облегчила правовой процесс и имело нравственное значение. До Константина императорская казна пополнялась за счет частных имуществ, завещанных без соблюдения всех возможных формальностей, — их просто передавали в казну и закрывали вопрос. Теперь наследство передавалось значительно облегченным способом, а в отношении христиан Константин издал специальный указ, что в случае отсутствия наследников их имущество должно быть передано церковной общине.

Константин очевидно заботился об укреплении института семьи как фундаментальной опоры государственности, тем более в христианской перспективе. Дело в том, что понимание ценности семьи в языческом Риме, а тем более в каких-нибудь варварских традициях, принципиально отличалось от христианского и с трудом вписывалось в развивающуюся систему римского права. В языческих традициях семья — это в первую очередь функциональное звено в выживании и обогащении определенного рода и, шире, определенной народности. Исходя из такого понимания семьи, все ее члены должны быть прежде всего физически здоровы, выносливы и способны к накоплению материальных ценностей и воспроизводству рода. Поэтому физически слабые члены семьи были позором рода и часто сживались со свету, поскольку никакого смысла в их существовании, с этой точки зрения, не было, а мужчины в семье, особенно глава семьи, поскольку речь идет о патриархальной культуре, могли заводить детей на стороне и удовлетворять свою похоть с помощью проституток. Объяснить ценность моногамной семьи, где каждый человек остается самоценной личностью, а не средством для воспроизведения какого-то рода или народности, в этой языческой логике практически невозможно. Язычник может интуитивно понимать, что полигамия, проституция или убийство слабых детей — это нехорошо, но он не может объяснить, почему это нехорошо. Все лучшее, что было в античной культуре, являлось проявлением христианской интуиции ценности человеческой личности и ее связи с Богом-Личностью, но ни одна

религиозно-философская система Античности не могла объяснить эту интуицию. Поэтому античный человек жил в двойной морали языческих стихий и римского права и не имел концептуальных оснований выйти из этой двойственности. Поэтому в дохристианском мире нередко встречался обычай убивать или бросать в одиночестве новорожденных детей, которых по тем или иным причинам родители не считали нужным содержать и растить. Если вспомнить Спарту, оказавшую последнее сопротивление римским войскам в Греции в 146 году до н. э., то в этой стране убийство слаборазвитых детей было нормой. В начале IV века в Римской империи такие случаи тоже имели место быть, поэтому Константин издает специальный строгий указ о запрете убийства новорожденных детей, а также, что очень важно, об определенной помощи родителям, у которых появился слаборазвитый ребенок (Кодекс Феодосия, IX, 27, 2). Другой проблемой языческого общества была так называемая «сакральная проституция», практиковавшаяся в разных культах. В некоторых из них участвовать в ритуальном соитии со жрецом или его богом должны были не просто специально отобранные девушки, а все, кто принадлежал к этому культу на данный момент.

В 336 году Константин издает указ о запрете конкубината, то есть незаконного сожительства, что сильно ударило по самым богатым гражданам, особенно сенаторам, с удовольствием практиковавшим многоженство (Кодекс Феодосия, IV, 6,3; Кодекс Юстиниана, V, 27,1). Также Константин ввел перечень конкретных оснований для расторжения брака (прелюбодеяние, государственная измена, ограбление могил и др.), чтобы сократить количество произвольных разводов. Между тем Константин резко выступает против существовавшего до его времени аморального закона лишать бездетных граждан права на наследство (см. Евсевий Кесарийский. Жизнеописание, 4, 26).

Кардинальный вклад в развитие европейской морали внесли законы Константина, ограничивающие насилие человека над человеком и продиктованные исключительно христианскими мотивами. Во-первых, это запрет гладиаторских боев, которые сначала были сохранены им как наказание для гомосексуалистов, а потом полностью отменены. Во-вторых, это запрет на уродование лиц осужденных, поскольку, по словам Константина, «они носят подобие Божие». В-третьих, это запрет на убийство господином своего раба, что нередко случалось в повседневной жизни. В-четвертых, это запрет на продажу рабов в отдельности от членов их семей. Законы Константина заложили основы новой правовой морали, которой будет христианский Рим отличаться от

языческого. В целом в дальнейшем римское право унаследовало от Константина около трехсот статей, сохранившихся в первом официальном сборнике законов Римской империи — «Кодексе Феодосия» 438 года.

Уже в 309 году, будучи цезарем Запада, Константин произвел очередную деноминацию римской золотой монеты ауреуса (от aurum — «золото») в новую золотую монету под названием солид (от solidus — «прочный»). Ауреус был введен еще консулом Сципионом во время Пунической войны в 203 году до н. э. как наградная монетка для победивших римских воинов. С тех пор она сильно убавила в весе. В 31 году до н. э., при Октавиане Августе, ауреус стал весить $^1/_{40}$ либра, то есть римского фунта (327,45 г), и равняться 25 динариям. При Диоклетиане ауреус весил уже $^1/_{60}$ либра, равнялся 25 динариям и 100 сестерциям, а Константин переименовал ауреус в солид и облегчил до $^1/_{75}$ либра, равняющегося 25 динариям и 100 сестерциям. Один солид весил 4,55 грамма, что порядком облегчило его оборот. Вместе с этим солид состоял из чистого золота без всяких примесей, а из серебра отныне чеканили только разменную монету. Стабильность (буквально «солидность») новой золотой монеты позволила ей стать адекватным эквивалентом натурального налога. В 314 году солидом пользовалась западная часть Империи, а с 324 года он был введен на всей территории Империи. Солид остался основной денежной единицей Римской империи и Восточной Римской империи (Византии), где его по-гречески называли «номизма», а с реформы 1092 года императора Алексея I «иперпир». На Западе его называли «безантин». Именно от слова «солид» произошли слова «солдат» и «солидарность». С 1250 года в Италии воинов-наемников, которые за свою службу получали солиды, стали называть «solidarius», то есть «солдаты», отсюда же возникло и слово «солидарность».

Имеет смысл обратить внимание на то, что монеты в Римской империи и в Древнем мире вообще, выполняли не только экономическую, но и идеолого-эстетическую функцию. Начиная с Юлия Цезаря, все правители Рима могли изображать свое лицо на монетах, что позволяло любому человеку в самых общих стилизованных чертах представлять себе, как выглядит император. Вспомним, что когда фарисеи спрашивали Иисуса, позволительно ли давать подать кесарю, то Христос попросил у них показать монету, которой платится подать, и это был динарий, на котором был изображен кесарь, и тогда он сказал им: *«Итак, давайте кесарево кесарю, а Божье Богу»* (Мф. 22: 21). Даже на примере этой евангельской истории видно, что деньги были символом государственной власти как источника производства

самих денег. Поэтому большинство населения Империи не могло не обратить внимание то, что с 323 года, когда началась последняя война с Лицинием, на монетах появился знак лабарума, а сам император стал изображаться с поднятыми к небу глазами, как молящийся Богу.

Тяжелым решением для Константина была реформа налоговой системы, которая в рабовладельческом обществе имела определяющее значение. С одной стороны, Константин освободил от земельной подати (анноны) горожан и высших чиновников, начиная с клариссимов («светлейших»), а с другой стороны, вводит поземельный налог сенаторам (collatio glebalis) и налог на прибыль от торговли (collatio lustralis). Во многом это было связано с желанием задержать их на своей земле, поскольку в начале IV века резко возрастает роль крупных городов, а сельское хозяйство переживает острый кризис. Массовое стремление крестьян в города, а жителей городов в более крупные города могло привести к необратимым последствиям, и поэтому Константин продолжает начатое Диоклетианом закрепление свободных крестьян (колонов) на свой земле. В 332 году Константин утверждает наследственный статус сословия колонов. Вместе с ними наследственный статус получают *муниципальные декурионы,* занимающиеся сбором налогов. Декурионам запрещается покидать свою профессию, чтобы поступление налогов не давало сбоя. Система наследственных профессий (origines), формализованная Константином, относительно повлияет на возникновение средневековых корпораций.

Налоговая система Константина в значительной степени объяснялась задачами обновления Римской империи, в частности, связанными с таким грандиозным проектом, как строительство Нового Рима — Константинополя. Действительно, все реформы Константина, вместе взятые, затмеваются двумя главными преобразованиями всей его жизни — введением христианства и учреждением новой столицы, повлекшим за собой формирование новой Империи.

41. Новый Рим

После освобождения Рима от Максенция в 312 году Константин недолго и нечасто был в Вечном городе. Его чаще можно было встретить в столицах всех четырех префектур, каждая из которых все больше претендовала на роль главного города всей Империи и имела свои объективные и субъективные преимущества.

Для защиты государства от галлов и германцев императору нужно было находиться в Трире (Августе Треворуме), который откровенно называли «северным Римом». В 317 году император переезжает в Сердику, поскольку сдерживание нашествий готов и сарматов становится более актуальным, оставив Трир на семнадцатилетнего цезаря Криспа. В 324 году, после победы над Лицинием, Константин переезжает в Никомедию, оставив Сердику на семилетнего цезаря Констанция II. Когда не станет Криспа, то Триром и Арлем — южногалльской столицей Империи — будет номинально управлять первый сын Фаусты, восьмилетний Константин II, назначенный в свое время цезарем вместе с Криспом. Разумеется, дети поначалу управляли своими префектурами как носители царственной десницы, ставящие свою подпись под теми документами, на которые укажут взрослые. Не надо также забывать про Медиолан и Аквилею, два города на самом севере Италии, давно конкурирующие и намекающие на роль новой столицы, а также Фессалоники, давно приглянувшиеся Константину. Распыленность единого политического центра Империи была хорошо заметна при Константине, вынужденном мобильно реагировать на новые геополитические вызовы, перемещаясь из одной «столицы» в другую. Если возможно предположить отношение Константина к вопросу о том, где, в конце концов, должна быть столица Римской империи, то можно совершенно точно констатировать два основных, строго взаимосвязанных критерия этой новой дислокации.

Первый критерий — столица не должна быть в Риме, потому что он символизирует все то ветхое, инертное, фригидное начало римской цивилизации, воплощенное в декоративном Сенате и снобистском населении, утративших вкус к великим свершениям настоящего и будущего и живущих только прошлым. У Константина и римлян было принципиально разное понимание смысла римской исторической миссии. По меньшей мере, *Константин считал, что смысл Рима в Империи, а римляне считали, что смысл Империи в Риме.* В личном отношении

Константин не был большим поклонником этого города. Скорее всего, Вечный город многим разочаровал его после победы над Максенцием, а впоследствии там ему пришлось отдать самый жестокий приказ в своей жизни и совершить своими руками самое страшное преступление, поэтому город вызывал негативные ассоциации и хотелось обновления — *обновления всей жизни.* Наконец, самое главное обоснование необходимости новой столицы проистекало из ее сущностной задачи быть центром *нового мира*, Новой Римской империи, основанной на ценностях Нового Завета, а не мифической «традиции предков». Поэтому решение перенести столицу с каждым годом все больше созревало у Константина, и оставался только вопрос — куда переносить? Второй критерий — столица должна быть на Востоке Империи. Этот вывод напрашивался сам собой, как только трезвый политической взгляд пробегал по всем опорным точкам государства и видел, что Восток Империи представляет больший интерес, чем все остальные стороны. Действительно, с Запада Империи ничего не угрожало, но на Западе, равным образом, не было ничего интересного. Западные границы Римской империи совпадали с границами континента, за которыми открывался бесконечный океан, ничем не опасный, но и ничем не интересный, и должны пройти еще тысяча двести лет, чтобы это мнение изменилось. С Севера Империи, из Британии, Галлии, Германии, угроза была постоянна, но это была угроза варваров, которые ничего не могли дать Империи, кроме своей физической силы, а оставлять столицу в Трире только для того, чтобы останавливать и окультуривать варваров, было просто неинтересно. Идея перенести столицу на Африканский континент выглядела бы экстравагантно, тем более что там уже существовали римские города-порты «международного значения» — Карфаген, Лептис Магна, Кирена и, наконец, сама Александрия, не уступающая Риму ни в чем-то, а в чем-то даже и превосходящая его, но было два очевидных возражения, в зародыше убивающие эту идею. Во-первых, римляне все-таки мыслили себя европейцами — не в том, конечно, идеологическом смысле, который возникнет в Новое время, а в смысле геополитической идентичности континента, который находится к северу от Средиземного моря и к западу от Эгейского моря и Пропонтиды (Мраморного моря). Исторической антитезой этой античной европейской (грекоримской) идентичности являются не хаотичные варвары, а варвары организованные, то есть такие варварские страны, которые способные оказать сопротивление Европе и даже покорить ее. В Азии это — Персия, в Африке это — Карфаген. И так же как национальное самосознание греков в

определенной степени было связано с негативной идеей не быть похожими на Персию, и национальное самосознание римлян заставляло их не быть похожими на Карфаген. Перенести столицу в Африку означало предать собственную идентичность, «сдать Энея на пожертвование Дидоне». Во-вторых, даже если отвлечься от идеологической составляющей этого неприятия, поменять любой город Западной Европы на любой город Северной Африки не было никакого смысла — минусы были бы те же, пришлось все время заниматься сдерживанием местных варваров, то есть берберов и мавров, а плюсов никаких. В общем, Африка даже не рассматривалась. Оставался Восток.

Для античного Запада Восток был бесконечным миром миров, источником постоянной опасности и одновременно объектом постоянного интереса. Единого Востока не было никогда, как не было никогда единой Азии. Европейские люди с каждым новым историческом витком все больше осознавали свою общую идентичность и общие ценности, пусть даже смутно и неуверенно, но определенная *интуиция общности* у европейцев была всегда. Образованные римляне могли не любить греков, но в конфликте Греции и всех остальных они всегда были за греков. Равным образом образованные греки могли не любить римлян, но в конфликте Рима и всех остальных они всегда были на стороне Рима — во всяком случае, после того очевидного греко-римского культурного синтеза, который произошел во второй половине II века до н. э. В этом смысле очень важно подчеркнуть, что нет Востока и Азии как таковых, как каких-то цивилизационных целостностей, в отличие от Запада и Европы. Можно сказать, что «Восток» — это миф, придуманный Западом, а «Азия» — это миф, придуманный Европой. В этом контексте «Азия» — это все то, что не-Европа, пусть даже внутри самого азиатского космоса есть очень много различий. Но именно этот космос бросал *цивилизационный* вызов Европе, и столкновение с ним было на памяти у каждого поколения греков и римлян. Крупнейшим представителем Азии со времен зарождения первых греческих полисов была *Персидская империя*, геополитический наследник Вавилона, гроза всего азиатского пространства от Леванта до Индии.

В 331 году до н. э. Александр Македонский в битве при Гавгамелах положил конец Персии Ахеменидов, но сквозь века эллинистического влияния она возродилась после того, как Ардашир I Папакан, основатель династии Сасанидов, в 226 году победил парфян, объявил себя «шахиншахом» и восстановил Персию. Эпоха Константина пришлась на правление в Персии Шапура II (309–379) — воинственного и хитрого царя, который

однажды добьется своего и все-таки отвоюет у Римской империи Армению и часть Месопотамии, а решив, по примеру Лициния, что христиане составляют в его царстве «пятую колонну», станет страшным гонителем Церкви. Константин предвидел эту угрозу и понимал, что мирное сосуществование с такой Персией практически невозможно, а для того, чтобы отражать ее нападения, необходимо иметь основную военную элиту государства в определенной близости к Персии, как был близок Трир к лесам германцев. Кроме персидского фактора, существенное значение имела территория Леванта и Малой Азии, уже более трехсот лет непосредственно подчиненная Риму и прошедшая глубокую эллинизацию и романизацию. Азиатское пространство Римской империи во всех отношениях было интереснее, богаче, культурнее, чем Галлия или Германия, и потеря этих территорий была бы колоссальным *цивилизационным* поражением для Рима. Наконец, безусловное значение для Константина имела близость со Святой землей, с Иерусалимом, который он сам возродил, исправляя ошибки своих предшественников. Не исключено, что при иных обстоятельствах Константин вообще перенес бы столицу в Палестину, и тот факт, что он этого не сделал, говорит о том, что он все-таки хотел остаться в Европе и понимал очевидную опасность этого предприятия.

Один город уже был готов стать столицей Новой империи исходя из тех критериев, которые мы перечислили, — это Никомедия. Многие ждали такого поворота событий, и никто бы не удивился. Никомедия de facto и de jure была столицей восточной части Империи вот уже сорок лет, здесь был специально отстроенный дворец Диоклетиана, сюда не одно поколение уже вложило очень много средств, этот город был явной антитезой Рима как центр военной и политической активности, как новое лицо Империи, находящееся в непосредственной близости от восточной угрозы. Здесь трудно было расслабиться, в отличие от заснувшего в своем безвременье Рима. Однако Константин отказался от Никомедии как столицы Новой империи, хотя там прошла вся его молодость и сам он уже там обосновался со всем своим двором. Если вынести за скобки тот факт, что Константин для своей столицы нашел лучшее местоположение, чем у Никомедии, то остается вспомнить о ее объективных недостатках, не позволяющих императору остановиться на этом варианте. Во-первых, Никомедия была все-таки достаточно уязвима для сильного азиатского противника, и, вообще, оставаться резиденции власти в Азии было недальновидно. Во-вторых, при всей своей новизне Никомедия

уже имела свою историю, и это в гораздо большей степени была история Диоклетиана, Галерия, Максимина Дазы, Аициния, а не Константина. С 304 по 324 год Никомедия была центром антицерковных гонений, а обновление Империи требовало от власти радикально сменить обстановку. Поэтому Никомедия, самый явный претендент на роль новой столице, все-таки не удовлетворяла Константина.

О существовании города Византия Константин, разумеется, знал всегда просто потому, что этот город находился на противоположном от Никомедии берегу пролива Босфора Фракийского, иначе называемого Халкидонским проливом. Греческое слово «боспор» означает «бычий брод», и так обозначали пролив между Херсонесом Таврическим (Крымом) и Таманским полуостровом, называя его Киммерийским Босфором (ныне Керченский пролив). Поэтому мы отличаем от Киммерийского Босфора Фракийский Босфор, разделяющий Европу и Азию в том относительно узком месте, где Пропонтида (Мраморное море) вливается в Понт Эвксинский (Черное море). Если мы посмотрим на карту Пропонтиды, то увидим, что прежде, чем заплыть в нее из Эгейского моря, нужно еще проплыть длинный узкий пролив под названием Геллеспонт (Дарданеллы).

Византий был основан около 660 года до н. э. как колония дорийского полиса Мегары, который в соперничестве со своим родственным соседом Коринфом пытался найти новые удачные места в Средиземноморье для развития торговых форпостов. В греческой мифологии город был основан сыном Посейдона Бизантом, царем Мегар, которому Дельфийский оракул указал поселиться «напротив слепцов». Бизант оплыл Пропонтиду и на европейском берегу увидел очень удобный для жизни треугольный полуостров, почему-то не замеченный поселившимися напротив, в скалистой Азии, жителями Халкидона. Таким образом, миф об основании Византия уже включает в себя представление о его исключительно удобном положении. Полуостров, образованный Пропонтидой и бухтой Хризокерас (Золотой Рог), выдается вперед, и с него можно легко контролировать проход кораблей через Босфор, а сам он при этом неуязвим для азиатских армий, которым в случае нападения придется осаждать его морским путем, что будет практически невозможно, поскольку высокие и толстые стены города сделают его абсолютно недоступным, а постоянная помощь городу с суши измотает азиатов так, что они будут вынуждены покинуть европейский берег. Для военных и торговых судов самого города трудно представить более удобную гавань, чем залив Золотой Рог.

Особенно обратил внимание на это выгодное положение полуострова Константин, когда Лициний чуть не заперся от него в Византии в 324 году. Следовательно, находясь в Византии, столица оставалась в Европе и одновременно контролировала Босфор и его азиатский берег. Что же касается экономических выгод, то они бросаются в глаза: Византий мог быть реальным посредником между двумя континентами, и его жители никогда бы не испытывали дефицита в каких-либо товарах. Вся Европа оставалась в «тылу», а для того, чтобы добраться до Персии, Сирии, Палестины, даже Египта, не говоря уже об Армении или Таврии, требовалось значительно меньше времени и сил, чем раньше. Поэтому уже 8 ноября 324 года, сразу после войны с Лицинием, Константин основал на месте Византия новый город, 11 мая 330 года он был освящен Церковью и провозглашен новой официальной столицей Римской империи с названием *Новый Рим*. Очень скоро сами римляне, а точнее говоря, на греческий манер, *ромеи* назвали его Константинополем, то есть городом Константина.

По этому поводу Данте в шестой песни «Рая» вкладывает императору V века Юстиниану следующие слова:

> С тех пор как взмыл, послушный Константину,
> Орел противу звезд, которым вслед
> Он встарь парил за тем, кто взял Лавину,
> Господня птица двести с лишним лет
> На рубеже Европы пребывала,
> Близ гор, с которых облетала свет;
> И тень священных крыл распростирала
> На мир, который был во власти ей дан,
> И там, из длани в длань, к моей ниспала.
>
> *(«Божественная комедия», «Рай», VI, 1–9, пер. М. Лозинского)*

В этих стихах Данте недвусмысленно намекает на троянскую мотивацию выбора Константина, развивая идею о том, что основание Константинополя было не отрицанием, а развитием все того же «римского мифа». Орел как атрибут Юпитера и символ имперских римских легионов здесь превращается в «Господню птицу», подобно тому как он стал символом Иоанна Богослова. Когда Эней перенес свою столицу в Италию, то орел перелетел вместе с ним, вслед звездам, с востока на запад. Теперь же, «послушный Константину», орел перелетает обратно, против звезд, с запада на восток, и останавливается близ гор, с которых облетал свет, то есть недалеко от Трои. В связи с этим у

средневековых мистиков возникла идея о том, что Рим просто вернулся к своей изначальной позиции, отомстив ахейцам и восстановив Трою в районе прежнего места. Осталось только вспомнить, что Констанций I Хлор родился в Дардании (Верхней Мёзии) и миф о возвращении дарданцев полностью «закруглится». Между прочим, Константин сознательно хотел строить новую столицу на месте самой Трои и даже начал возводить в ней новые стены, но, по утверждению историка Созомена, императору во сне был знак искать новое место.

До Константина отношения Рима и Византия складывались не лучшим образом. Город на берегу Босфора стал частью Империи в 74 году до н. э. и ничем особенно не выделялся, а возможность использовать его как крупный форпост Рима никому не приходила в голову. Но в 193 году Византий оказался в оппозиции Септимию Северу, поскольку в его соперничестве за престол поставил на другого кандидата. В итоге Септимий Север целых три года пытался взять город и, когда добился своей цели, уничтожил все его укрепления и лишил торговых привилегий. После этого разгрома со стороны римского император на город мало кто обращал внимание, а сам он был жертвой постоянных варварских набегов. В 258 году город был полностью разрушен готами. Но даже разрушенные стены такого города спасли жизнь Лицинию, и Константин запомнил это преимущество. Теперь Рим сюда вернулся с совершенно противоположным желанием сделать его самым безопасным, самым богатым и самым красивым городом мира, — именно это и произойдет, и до конца падения Византии в 1453 году ни один город Европы не сможет сравниться с ним во всех этих достоинствах.

Когда в 324 году Константин мерил землю для нового города, шествуя во главе землемеров, то на вопрос, когда же он остановится, император ответил: «Пока не остановится Идущий впереди меня». С каждым годом мотивация его действий была все более религиозной. Константин строил не просто новую политическую столицу, он строил новую *идеологическую* столицу, должную затмить собою все города Империи. Со всего государства сюда свозили лучшие материалы и лучших мастеров, а также многие памятники архитектуры и скульптуры из Афин, Александрии, Рима и других городов, чтобы украшать город как самый великолепный в мире. Историк Иордан писал, что 40 тысяч готов, присланных по договору Константину для борьбы с другими племенами, помогали строить новую столицу. Сухопутную границу города Константин отделил массивной неприступной стеной. В самом городе не должно было быть языческих капищ и амфитеатров с их жестокими играми, но

вместо них Константин построил ипподром на 30 тысяч зрителей, основав национальный вид спорта ромеев — гонки на колесницах. Трибуны ипподрома были расписаны в разные цвета, и по этим цветам не только будут называться соответствующие команды наездников, но даже своего рода политические протопартии, которые существовали в ранней Византии по аналогии с римскими оптиматами и популярами. Ипподром украшался скульптурами мифических существ и богов из греко-римской традиции, но, что очень важно отметить, они почти впервые в истории использовались не как предмет культа, а как свидетельство творческих возможностей человека. Для привлечения в новую столицу активных и богатых людей со всей Империи он предоставил жителям Нового Рима существенные экономические привилегии, а большие красивые дома в центре города отдавал аристократам из других городов. Весь город был по образцу Рима разделен на 14 районов, а 2 района располагались за стеной Константина. Более того, в Константинополе был создан собственный Сенат, так что у римского Сената появился прямой коллега. За 25 лет население города возросло до 200 тысяч человек, и новая столица стремительно приближалась к тому, чтобы стать самым большим мегаполисом мира, поэтому уже через полвека император Феодосий продвинет черту города еще дальше и построит новую стену. Интересно, что в границах стены Феодосия Новый Рим также оказался расположен на семи холмах, как и старый.

Константинополь стал своеобразным синтезом двух начал — Рима и Иерусалима, потому что он был не только политической столицей Империи, но и ее духовным центром, предметом настоящего паломничества. Как с настоящего основателя христианской цивилизации, с Константина начинается немыслимое до тех пор, широкое и активное строительство каменных храмов, положивших начало всей европейской церковной архитектуре. Мы помним, что Константин и его мать Елена интенсивно возрождали Иерусалим и строили в нем новые храмы, аналогичная работа развернулась и в Константинополе. На самой высокой точке города Константин построил главный храм Нового Рима, по его замыслу, — храм Двенадцати Апостолов. Облик этого первого храма сохранился в записях Евсевия Кесарийского: *«После сего начал он в одноименном себе городе строить храм в память Апостолов, и когда это здание возведено было до несказанной высоты, стены его сверху донизу василевс обложил разноцветно блистающими камнями, а купол, украшенный мелкими углублениями, покрыл весь золотом. Снаружи, вместо черепицы, медь доставляла зданию надежную*

защиту от дождей, по меди же положена густая позолота, так что блеск ее, при отражении солнечных лучей, был ослепителен даже для отдаленных зрителей, купол вокруг обведен был решетчатым, сделанным из золота и меди барельефом» (Жизнеописание, 4, 58). Не случайно Константин построил первый храм именно в честь Двенадцати Апостолов, потому что сам видел свое призвание в христианском миссионерстве и продолжал начатое ими дело крещения народов. В самом храме он отвел специальное место, где завещал себя похоронить и даже приготовил на этот случай отдельную гробницу. Тем самым все мосты с язычеством великий «наводитель мостов» сжег.

Следующим важнейшим храмом Константинополя стал построенный в 324–337 годах храм Святой Софии (Премудрости Божией). К сожалению, этот храм не раз подвергался стихийному разрушению, и поэтому на его месте император Юстиниан в 537 году возвел самый величественный в мире собор Святой Софии, ставший главным храмом всего мирового православия. Поскольку к этому моменту храм Двенадцати Апостолов сильно обветшал и как будто бы скрылся на фоне грандиозного собора Софии, Юстиниан перестроил его в новый пятикупольный храм Двенадцати Апостолов. Пятикупольный храм Двенадцати Апостолов во время турецкого завоевания был уничтожен, но он стал образцом для церковного строительства во всем православном мире, например, собор Святого Марка в Венеции выстроен по его образцу.

Среди других церквей, построенных Константином, нельзя не отметить храм Святой великомученицы Ирины, возведенный на месте разрушенного храма Афродиты. Именно в этом храме Святой Ирины в 381 году будет II Вселенский Собор, завершивший написание Символа Веры. Как и собор Святой Софии, храм Святой Ирины относительно сохранился до наших дней, но только там теперь музей. Кроме Константинополя и Иерусалима, Константин и его мать Елена также заложили основы церковной архитектуры в самом Риме.

Еще в 312 году Константин закончил строительство огромной базилики на римском форуме, начатой еще Максенцием и ставшей самым большим сооружением в этом месте. Образцом для постройки базилики Максенция — Константина служили термы Каракаллы и Диоклетиана, а ее своды достигали высоты 39 метров. В западной апсиде базилики была поставлена монументальная статуя Константина. Но это было еще светское помещение, к тому же по своему изначальному замыслу предназначенное для поклонения языческим богам. Вслед за своими предшественниками он даже построил в Риме новые

термы и уже упомянутую триумфальную арку в честь победы над Максенцием.

В 326 году Елена при своем дворце в Риме, известном как Сессорианский, построила базилику во имя Честного и Животворящего Креста Господня, или Святого Креста Иерусалимского, которая иногда называется Сессорианской базиликой (Basilica Sessoriana), или Еленинской базиликой (Basilica Heleniana). Одним из самых значимых деяний Константина в церковной истории было обретение им в 326 году в Риме мощей казненных здесь при Нероне апостолов Петра и Павла. На месте обретения гробницы апостола Петра на Ватиканском холме Константин построил храм Святого Петра (Basilica di San Pietro), перестроенный в XVI веке в стилистике итальянского Ренессанса и знаменитый во всем мире как символ Ватикана. На месте же обретения гробницы апостола Павла, за стенами города, император построил храм в честь этого «апостола язычников», известный как храм Святого Павла за городскими стенами (Basilica di San Paolo fuori le Mura). Именно Константин также основал самый главный храм и дворец римского епископата, которые ныне обладают тем же статусом в Римско-католической церкви. Одной из самых известных достопримечательностей Рима был дворец богатого семейства Латеранов, который Константин отдал своей жене Фаусте. После ее смерти он передал этот великолепный дворец епископу города Рима, и с тех пор до 1308 года здесь находилась главная резиденция римских пап. В 324 году Константин при Латеранском дворце построил храм Христа Спасителя, и римский епископ (папа) Сильвестр I освятил его. До сегодняшнего дня эта базилика остается главным кафедральным собором города Рима, и при этом она не раз меняла свое посвящение: с XII века она посвящена святому апостолу Иоанну Богослову и поэтому называется базиликой Святого Иоанна в Латеране (Basilica di San Giovanni in Laterano). Значительной реликвией этого храма является мраморная лестница, по которой восходил Христос на суд Пилата, привезенная в Рим матерью Константина Еленой. Также в этом храме находятся головы святых апостолов Петра и Павла.

Строительство Нового Рима Константином — это не только основание новой столицы, это обновление всей Империи, и оно касается каждого города. С этим государством еще будут очень большие проблемы, но к нему уже нельзя относиться как к оплоту язычества, потому что оно стало защитником Вселенской Церкви. Все последующие христианские государства, а тем более империи будут ориентироваться на опыт Константина, и как бы они ни

переосмысляли его, основу церковногосударственного синтеза заложил именно Константин, и его наследие на путях созидания христианского общества невозможно игнорировать. Основанный Константином и названный в честь его город станет столицей ведущего православного государства мира, которое будет сокращать свои границы, но сам Константинополь будет стоять до конца, образуя геополитическую ось православной ойкумены. Какой еще город в Европе может похвастаться тем, что был бессменной столицей одного и того же имперского государства, просуществовавшего более тысячи лет? Также и завоевавшие Константинополь в 1453 году турки-мусульмане, переименовавшие его в Истамбул, могли оценить геополитические преимущества этого города, которыми они успешно пользовались оставшиеся пять веков, создав не менее могущественную Османскую империю, границы которой в XVII веке простирались от Северной Африки и Аравии до Балкан и Северного Причерноморья. Окончательно распавшись после Первой мировой войны, Османская империя перестала существовать, и на ее месте возникла светская республика Турция со столицей в малоазийском городе Анкаре. В европейском Истамбуле осталось много храмов, превращенных либо в мечети, либо в музеи. На сегодняшний день христианское сообщество Европы ведет переговоры с турецкими властями о возможности вернуть собору Святой Софии статус православного храма, каким он должен быть по самому своему назначению.

42. Крещение и преставление

Как выглядел Константин? Конечно, история не оставила нам точного описания его внешности, и нужно учитывать, что все его изображения носили апологетический характер, как и со многими другими монархами своего времени. Однако справедливости ради надо признать, что скульптурные изображения римских императоров, при всей своей официозности, нельзя обвинять в нивелирующей стилизации под один трафарет. Совсем наоборот, галерея скульптурных портретов римских предводителей демонстрирует нам очевидное разнообразия фенотипов с довольно характерными, индивидуальными деталями каждого из них. В этом плане изобразительное искусство помогает нам лучше восстановить образ Константина, чем письменные свидетельства того времени. Евсевий Кесарийский писал о нем: *«По красоте тела и высоте роста не было подобного ему, а телесной силой до того превосходил он сверстников, что они боялись его»* (Жизнеописание, 1, 39). Далее Евсевий оговаривал, что еще более совершенства тела отличался он врожденным умом, что подтверждают также и языческие историки, отдавая ему должно в успешности всех основных политический начинаний. Например, Аврелий Виктор говорил о нем: *«Свою царскую одежду он украсил драгоценными камнями, голова его постоянно была украшена диадемой. Однако он прекрасно выполнил ряд дел: строжайшими законами он пресек клеветничество, поддерживал свободные искусства, особенно занятия литературой, сам много читал, писал, размышлял, выслушивал послов, жалобы провинциалов»* (Извлечения… 41,14).

Со времен Константина сохранилось четыре наиболее известных его скульптурных портрета — два в Капитолийском музее в Риме и два в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке. Все эти изображения отличаются друг от друга, поскольку передают разные этапы жизни Константина, но между ними есть и нечто общее. Перед нами вытянутое лицо с довольно крупными и выразительными чертами: широкими ланитами, орлиным носом и крепким подбородком. Глаза посажены глубоко и смотрят вверх, поскольку они обращены к Богу и это говорит о том, что император пребывает в молитве. По всему облику чувствуется, что перед нами прежде всего весьма целеустремленная и волевая натура, способная к резким движениям и вряд ли готовая к компромиссам, хотя на самом деле он был очень рассудителен в своих политических действиях. Самым известным изображением императора является его массивная мраморная голова,

оставшаяся от колосса Константина в базилике 315 года и выставленная вместе с другими частями колосса в Капитолийском музее. Очевидно контрастирует со скульптурными портретами Константина его изображение на мозаике в храме Святой Софии в Константинополе, где император, слегка склонившись, преподносит Господу свой новый город. Конечно, нужно иметь в виду стилистические особенности изображения святых в византийской мозаике, но все-таки общие черты лица Константина вполне можно здесь угадать, если только предположить, что основатель Нового Рима изображен здесь уже в возрасте, осунувшимся и сильно похудевшим, хотя, по иным языческим источникам, император одно время даже пополнел. В любом случае современный художник или режиссер фильма о Константине Великом имеет отправной материал для реконструкции его подлинного образа.

Успех императора Константина как политика во многом объясняется его интеллектуальными достоинствами, весьма редкими для его воинственного окружения. Евсевий пишет по этому поводу: *«Размышляя над божественными истинами, он проводил целые ночи без сна, в часы досуга сочинял и непрестанно писал схолии, обращаясь к народу, считал своей обязанностью управлять подданными, воспитывая их, и все свое царство вести к разумности. Для этого он созывал собрания, и несметные толпы спешили слушать философствующего государя. А когда, в продолжение речи, ему представлялся случай богословствовать, он вставал и, с поникшим лицом, тихим голосом, весьма благоговейно посвящал предстоящих в тайны божественного учения»* (Жизнеописание, 4,29). Из оставшихся нам текстов, подписанных его именем, можно составить основательный концептуальный сборник, представляющий собой первые шаги в истории *христианской государственной мысли.* Евсевий говорил о том, что Константин до конца своих дней писал речи нравоучительного характера. Среди них такие, как «Послание областям касательно заблуждения язычников», «Послание к епископу Александру и пресвитеру Арию», «Послание к Церквам о Никейском соборе», «Послание к Евсевию о Маври», «Письмо Шапуру, царю персидскому», «Письмо к Тирскому собору» и другие тексты. Самым объемным и содержательным его текстом является «Слово, написанное к обществу святых», требующее отдельного разбора.

В 335 году Константин официально делит свою империю между тремя сыновьями, Константином И, Констанцием II и Константом, а также двумя племянниками от своего сводного брата Далмация Старшего — Далмацием Младшим и Аннибалианом Младшим. Далмаций Старший, сын Констанция

Хлора и Феодоры, был, по всей видимости, любимым братом Константина. В 333 году император назначает его цензором и консулом. В 334 году на Кипре местный «начальник стад и верблюдов» (magister pecoris camelorum) по имени Калокер захватил власть и почему-то надеялся на успех своей дальнейшей узурпации. Тогда имперские войска под предводительством Далмация Старшего освободили остров, а сам Калокер был захвачен в плен и приговорен к казне в городе Тарсе. Поэтому Константин решил назначить цезарями не только своих сыновей, но и сыновей своего брата Далмация. По указу 335 года Далмаций Младший объявлялся цезарем Фракии, Македонии и Ахайи, то есть значительной части Греции. Его брат Аннибалиан Младший объявлялся цезарем Понта и получил титул «царь знатнейший» (rex nobilissimus), что было воспринято персами как вызов их «шахиншаху». Для закрепления династического союза Константин выдал замуж за Аннибалиана Младшего свою дочь Константину. Само по себе это событие говорит о многом. Во-первых, раздел 335 года свидетельствует о том, что Константин все-таки не собирался устанавливать абсолютную монархию, как это ему часто приписывают, и в определенном смысле решил все-таки продолжить Диоклетианову политику тетрархии. Во-вторых, прав был Евсевий, когда говорил, что Константин слишком доверялся людям. Наверняка он полагал, что его дети и племянники будут жить в христианской любви и корректно выстроят иерархию между собой после его ухода, но эта надежда была, конечно, слишком наивна, — наверное, Константин в последнее время своей жизни настолько увлекся идеалом Нового Рима, что не заметил противоречий в собственной семье.

В начале 337 года самый опасный враг Римской империи — Персидское царство под управлением шахиншаха Шапура II — развернуло наступление на провинции, отвоеванные еще Диоклетианом. 65-летнему Константину пришлось покинуть Новый Рим и отправиться в военный поход на Персию через Малую Азию. В дорогу он взял с собой священников и специальную палатку, в которой должны были проходить богослужения. Так древние иудеи, когда они еще вели кочевой образ жизни, носили с собой скинию для божественного присутствия (Исх. 25: 8), и из этого походного храма впоследствии, когда иудеи поселились в Палестине, возник постоянный Иерусалимский Храм. В пути он сильно заболел и отправился к теплым водам через город Еленополь, бывший Дрепан, где родилась его мать и в честь которой он переименовал его. В храме мучеников Еленополя, как пишет Евсевий, Константин почувствовал, что его жизнь подходит к концу, и

решил принять крещение по всем необходимым правилам. Сначала он исповедался в своих грехах и был удостоен елеопомазания, а потом уехал в предместье Никомедии, где приказал собрать епископов и обратился к ним с просьбой о крещении. Константин сообщил епископам, что хотел креститься в водах Иордана, но время его подходит к концу, и поэтому он готов это сделать здесь и сейчас.

Переодевшись в белую крещальную одежду, он уже касался царской багряницы. Константин был крещен епископом Никомедии, то есть тем самым Евсевием Никомедийским, печально известным своим упорным арианством. После крещения император опочил на ложе, покрытом белым покрывалом, и оставшееся время своей жизни провел в молитве. Когда к нему пришли его военачальники и сказали, что молятся о продолжении его жизни, то он ответил им, что теперь обрел лучшую жизнь и хочет поскорее отойти к Богу.

Император Цезарь Гай Флавий Валерий Константин, Величайший Август с 312 года, Германский Величайший и Сарматский Величайший с 314 года, Готский Величайший с 315 года, Германский Величайший И, Мидийский Величайший, Британский Величайший, Арабский Величайший, Адиабенский Величайший и Персидский Величайший с 315 года, Армянский Величайший и Германский Величайший III с 318 года, Карпийский Величайший с 319 года, Готский Величайший II с 324 года, Готский Величайший III с 332 года, получавший власть трибуна 34 раза с 306 по 335 год, власть консула 8 раз в 309,312,313,315, 319, 320, 326, 329 годах, скончался в полдень 22 мая 337 года в Аквирионском дворце в предместье Никомедии. В этот день Церковь праздновала Пятидесятницу, день Святой Троицы, *праздник праздников*, по выражению Евсевия, отмечающий рождение самой Церкви. Невозможно найти более символического дня преставления для императора, освободившего христиан и ставшего *крестителем Римской империи.*

Перед смертью Константин вверил свое завещание пресвитеру Евтокию, который поехал с ним не к кому-то другому из наследников, а именно к управляющему Востоком Констанцию в Никомедию, среднему сыну Константина, и мы вполне можем предполагать, что выбор наследника был обусловлен тем, что Констанций благоволил арианам, в отличие от Константа на Западе, исповедующего Никейский символ. Конечно, в завещании император разделил Империю между двумя сыновьями, но для захвата всей власти было очень важно, кто первый прибудет к телу отца и будет руководить похоронами.

Охрана Константина положила его тело в золотой гроб, накрыла багряницей и перевезла гроб из Никомедии в Константинополь, где на высоком катафалке выставила в самом роскошном зале императорского дворца. В константинопольском дворце тело Константина уже накрыли порфирой, а на голову надели диадему. Вокруг гроба на золотых подсвечниках зажгли так много таких красивых свечей, что, по Евсевию, *«взорам присутствующих предстало удивительное зрелище, какого никто и никогда, от создания мира, не видывал на земле под солнцем»*. Не стоит удивляться столь пафосному описанию Евсевия этого зрелища. В доконстантинову эпоху церковные богослужения и ритуалы выглядели относительно скромно и включали в себя только самые необходимые элементы, и только после того, как в церковных священнодействиях стали участвовать императоры, они обрастали известной имперской торжественностью. Поэтому естественно, что похороны римского императора в 337 году даже для приближенного к нему епископа выглядели чрезвычайно пышным зрелищем. Из дворца гроб перенесли в храм Двенадцати Апостолов, где завещал похоронить себя Константин, и там началась панихида по усопшему августу. Войска в Константинополе тем временем признали новыми августами все трех сыновей Константина, чьи сложные взаимоотношения определят дальнейшую историю IV века.

43. Равноапостольный

Почему Константин принял христианство? Вопрос можно поставить шире — почему Римская империя приняла христианство? И что здесь было причиной, а что следствием — личный выбор императора или «историческая тенденция»? Разумеется, личная свободная воля императора Константина имела здесь определяющее значение. Именно он, и никто другой из римских правителей, совершил этот выбор, и мы вполне можем предполагать, что если бы Константин не обратил внимания на христианство, то еще не одно поколение христиан Римской империи жило в эпоху гонений. Преобразования Константина — это яркий пример роли личности в Истории, в полном соответствии с христианским пониманием о значении свободной воли.

В популярной литературе нередко можно встретить утверждение о том, что к началу IV века христианство стало чуть ли не ведущей религией Римской империи, что христиане буквально захватили всю политическую власть в государстве и Константин лишь завершил этот якобы объективный процесс, совершив наиболее «конъюнктурный» выбор.

Однако это расхожее мнение абсолютно не соответствует действительности. Начнем с того, что к началу IV века христианство было *одним из* распространенных религиозных культов на территории Империи, по преимуществу в городской среде. Историк Церкви А.А. Спасский в своем исследовании «Обращение императора Константина Великого в христианство» (1904) подробно объясняет, почему миф о повсеместном распространении христианства накануне Медиоланского эдикта не имеет никаких оснований.

Во-первых, необходимо учесть, что более-менее внушительное количество христиан в городах Римской империи III — начала IV века имеет свою силу только в сравнении с язычниками, которых в то время было гораздо больше. Культура Римской империи того времени на всех уровнях, от народной до элитарной, была чисто языческой, и никаких признаков ее христианизации не было. Христианство воспринималось как один из феноменов общей культурный мозаики, но не больше.

Во-вторых, нас часто могут смущать восторженные заявления христиан первых веков о том, что их вера якобы достигла краев земли, как, например, восклицание Тертуллиана из его «Апологии» (197): *«В кого иного веруют народы вселенной, как не в пришедшего уже Христа?»* Между прочим, эта наивная иллюзия

была существенным фактором апокалипсических настроений среди христиан, потому что одним из признаков Конца Света является полное распространение Евангелия по всему миру, а античные христиане часто отождествляли мир с греко-римской ойкуменой и не знали, что для миссионерской работы потребуются еще целые тысячелетия.

В-третьих, обратим внимание на специфику статистических данных о распространении христианства в то время. В основном масштабы расширения Церкви считались по количеству епископов, в то время как количество подчиненных им клириков и мирян мы фактически не знаем, а оно, в свою очередь, в принципе несопоставимо с последующими веками. Дело в том, что вначале одна епископия была фактически равна одной церковной общине и в ее составе могло быть несколько десятков человек, а максимальное же число не превышало 1000. На соборе донатистов 330 года участвовало 270 епископов из Африки, и если мы умножим это число даже на самое большое количество христиан в каждой епископии по 1000 человек, то получим всего 27 тысяч христиан на 9 миллионов населения всей Африки. Следовательно, в Африке христиан было менее 3 %. Опираясь на более точные данные по состоянию Церкви в Риме, крупнейшем центре мирового христианства, можно заключить, что к началу IV века из 900 тысяч жителей города христиане максимум составляли 10 %. Если на Востоке Империи в целом количество христиан не превышало $^1/_7$ части населения, то на Западе $^1/_{20}$ части. При этом стоит заметить, что иногда на Востоке встречались целые христианские города, так что гонители уничтожали их полностью (Евсевий. Церковная история, 8, 11), но это были очень маленькие провинциальные городки, не сопоставимые с митрополиями. Таким образом, в количественном отношении христиане начала IV века, истерзанные гонениями Диоклетиана и его последователей, составляли очевидное меньшинство населения, не представляющее собой никакого «электорального» фактора, и для любого политика ставить на это меньшинство было бы явным вызовом большинству.

Далее, помимо того, что христиане в количественном отношении были маргинальной частью населения, они также не представляли собой никакого социального интереса для римской власти. Как и многие другие политические системы Античности, власть Римской империи опиралась на два основных социальных класса «традиционного общества» — армию и земледельцев, то есть именно те слои общества, которые с наибольшим трудом поддавались христианизации. Поэтому опираться на христиан на первый взгляд было не только бесперспективно, но и вредно для

репутации политика, который хочет быть «своим» для военных, землевладельцев и крестьян. Наконец, наибольшие вопросы у такого политика-карьериста вызывала бы сама христианская религия с ее радикальной этикой Нагорной проповеди, не оставляющей места для последних мотивов, на которых держалась любая воинственная власть. Цивилизованный римлянин мог понять еще Десять Заповедей Ветхого Завета, потому что большинство из них касалось организации элементарного морального порядка, но этика Нового Завета была слишком максималистской даже для тех, кто полностью соблюдал эти Заповеди. Любой римский политик-карьерист на словах вполне соглашался с тем, что нужно почитать родителей, не убивать людей, не изменять законной жене, не воровать и не обманывать, но как он мог согласиться с тем, что нельзя даже испытывать чувства, ведущие к этим поступкам, и прежде всего чувство *гордыни*, на котором была основана вся римская система ценностей? Не говоря уже о том, как можно было этому политику признать, что его великая Империя до сих пор жила вне истины и служила злу, да и вообще не представляла собой какой-то самодостаточной ценности, в отличие от организации этих странных людей, поклоняющихся распятому еврейскому человеку, которого они называют Богом? Иными словами, для того, чтобы признать правоту христиан и перейти на их сторону, римскому политику нужно было полностью пересмотреть все свои ценности и начать совершенно новую жизнь. Именно это и происходило с Константином, но только не сразу, а постепенно — в течение всей жизни.

Что же тогда способствовало обращению Константина к христианству? Прежде всего вспомним религиозную атмосферу его семьи и в целом римской власти конца III — начала IV века. Определяющим трендом язычества Римской империи III века, и на уровне философского осмысления, и на уровне официального культа, была нарастающая *монотеизация*, так что для образованного римлянина начала IV века, каким был Константин, монотеизм христианства не был чем-то новым и вызывающим. Со времен реформы Аврелиана в 274 году в Империи был установлен культ единого солнечного бога, Непобедимого Солнца (Sol Invictus), по отношению к которому римский август выступал в качестве верховного жреца, pontifex maximus. Именно этому богу поклонялся Констанций I Хлор, и Константин мог с детства знать об этом культе. Этот солярный монотеизм сильно контрастировал с деревенским поклонениям различным духам гор и лесов, принятым в семье Галерия. В прагматичном отношении введение монотеизма очевидно способствовало установлению единой

религиозной идеологии, призванной объединить всю Империю. Но проблема заключалась в том, что солярный монотеизм Аврелиана оставался очевидно *надуманным* и при этом абсолютно *непродуманным* культом. За ним не было никакой внятной религиозной философии, никакой целостной традиции, он был просто пожеланием интеллектуальной элиты Империи, преодолевшей примитивное многобожие. Между тем разочарование в солярном атеизме влекло за собой гораздо более радикальные выводы, чем простой отказ от очередного культа, — из него следовало, что Рим больше не может опираться на собственные традиции, что язычество Римской империи не может предоставить столь огромному и сложному государству, раскинувшемуся на трех континентах, достойную мировоззренческую доктрину. Следовательно, универсальную истину для Рима можно было искать только *вовне* — вовне самого язычества. Для осмысления своего собственного существования Рим больше не нуждался в *традиции*, ему требовалось *Откровение*. Конечно, далеко не все римские интеллектуалы понимали это требование, но Константин осознавал его больше других.

Нельзя недооценивать то Откровение, которое, по его собственным словам, Константин получил при появлении Креста Господня на солнце, а также во сне, позволившем ему утвердить символ лабарума. Нужно было быть очень уверенным в истинности этих Откровений, чтобы заставить всю армию изображать их на своих щитах и менять легионные штандарты. Разумеется, многие язычники воспринимали это обновление как очередной шаг по введению культа Непобедимого Солнца. Так и объявление «дня солнца» нерабочим в 321 году вполне укладывалось в логику этого солнцепоклонничества. Но иные события говорят о том, что Константин все-таки расставался с этим культом и обращался к христианству. Отметим основные этапы обращения Константина:

1) 312 год — Откровение о Кресте и лабаруме перед победой над Максенцием;

2) 313 год — Медиоланский эдикт;

2) 325 год — созыв Никейского Собора;

3) 326 год — возрождение Иерусалима;

4) 330 год — основание Нового Рима, бывшее не только политическим, но и религиозным актом;

5) 337 год — крещение.

От Откровения 312 года и до крещения прошло целых двадцать пять лет, и столь значительная дистанция позволяет говорить о том, что обращение Константина было длительным

процессом, а не разовым актом. Почему Константин откладывал крещение? С церковной точки зрения, если человек верит в Христа, но по любым соображениям не принимает крещение, он совершает страшный грех, потому что тем самым свидетельствует о своем непонимании смысла Боговоплощения и Искупительной Жертвы Спаситея. Строго говоря, такой человек еще не совсем уверовал в Христа, потому что христианская вера предполагает понимание того, в Кого ты веришь. Не случайно в Никео-Константинопольском Символе Веры, кроме веры в Трех Лиц Божественной Троицы, постулируется также вера в Церковь и необходимость крещения: *«Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов»*, так что эти императивы входят в догматический минимум христианского вероучения. Следовательно, о тех верующих людях, которые откладывают крещение, можно сказать, что они не понимают его необходимость или понимают ее превратно. Поэтому, сколько бы ни было объяснений желания Константина отложить крещение, никаких оправданий этому желанию с церковной точки зрения не может быть. Что же касается объяснений, то они весьма характерны для понимания психологии Константина. По всей видимости, Константина впечатлил и озадачил экстремизм донатистов, спутавших пребывание в Церкви и святость. И хотя Константин знал, что официальная Церковь выступает против донатизма, он не хотел оказаться жертвой их критики в случае своих отступлений от церковных правил, если бы он крестился. Но даже если донатисты не имеют отношения к этой ошибке, в любом случае Константин воспринимал крещение не как *начало* христианской жизни, а как ее *вершину*, которой он еще недостоин. И дело даже не в том, что он ее «недостоин» на данный момент своей жизни, а в том, что он и дальше будет совершать греховные деяния, которые, с его точки зрения, не позволят ему перейти границу храма. Будучи римским императором, Константин понимал, что ему волей-неволей придется заниматься вещами, мало совместимыми с пребыванием в Церкви, и именно поэтому он откладывал свое крещение. В итоге Константин преподал показательный урок другим оглашенным: он хотел принять крещение со всей торжественностью, в самом Иордане и готовился к этому событию многие годы, но вместо этого ему пришлось в режиме цейтнота, перед смертью, креститься у епископа с арианскими взглядами Евсевия Никомедийского, поскольку он был в ближайшем доступе. Если бы донатисты были правы и личные грехи священнослужителя влияли на его способность совершать таинства, то крещение Константина было бы признано

недействительным, но для Православной Церкви личное арианство Евсевия никоим образом не отменяло этого великого священнодействия.

Перечислять причины, объясняющие обращение Константина к христианству, — значит перечислять преимущества христианского мировоззрения, приписывая Константину осознание каждого из них. Вернее было бы поставить вопрос: что конкретно христианство могло дать Римской империи, потому что император, естественно, не раз размышлял над этим вопросом, а если говорить точнее, то целых двадцать пять лет? Также нужно понимать, что над этим вопросом размышляли и все остальные политики Империи, которые по доброй воле или из конъюнктурных соображений пошли за Константином.

Христианство предоставило Риму три преимущества, позволившие его Империи обрести новую жизнь и остаться политическим идеалом для всех христианских монархий на все времена.

Первое преимущество — цельность христианской «идеологии» и христианского «движения», признанная многими язычниками. Христианство могло казаться кому-то излишне сложным и противоречивым мировоззрением, но всегда было понятно, что именно мировоззрение, а не набор смутных интуиций и что любое противоречие в нем имеет свое объяснение, нужно только поинтересоваться им. У христиан были на редкость внятное представление о своем Боге, ясная картина мира и четкая историософия, в которую укладывались все события прошлого и настоящего. Мировоззренческая цельность христианства отражалась на его уникальной иерархической организации, расширившейся по всему пространству Римской империи и даже за его пределами. Конечно, нельзя сказать, что Церковь в организационном плане составляла конкуренцию Империи, ведь христиане составляли религиозное меньшинство, но нужно помнить, что, во-первых, в Империи не было религии большинства и все религиозные культы представляли собой религии меньшинств, а во-вторых, что христианское меньшинство существовало почти в каждом городе на всех трех континентах, почти в каждом городе Церковь имела свой приход, чем не могла похвастаться ни одна другая религиозная организация. Да, Церковь не была организационным конкурентом Империи, но она была ее *идеологическим* конкурентом как языческого государства. Все гонения доказали, что уничтожить эту масштабную организацию невозможно и сами гонения только укрепляют дух христиан, притом что они не используют никаких силовых методов. Последний факт ставил имперские власти в тупик,

потому что в противном случае успешность христианства можно было бы списать на его агрессивность, но она начисто отсутствовала, и потому приходилось поглубже рассмотреть специфику христианского учения. Если это учение вопреки всем гонениям только укрепилось и распространилось по всей Империи, значит, нужно не конфликтовать с ним, а использовать его для укрепления самой Империи, опираясь также на его разветвленную организацию. Каким бы циничным ни был этот вывод, но имперские политики имели все основания его сделать. Религия «слабых» оборачивалась неожиданной и невероятной силой, и эта сила была недоступна государству со всеми его легионами. Следовательно, приняв христианство, Римская империя впервые в своей истории овладела цельным мировоззрением, которое не могло быть сломлено никакими насильственными акциями. Сама Империя могла исчезнуть, но Церковь осталась бы, и наиболее проницательные политики понимали эту перспективу.

Второе преимущество — универсальность христианского мировоззрения, качественно превосходящая всемирные претензии самой Римской империи. Вооружившись христианством, Римская империя получала идеологию, обосновывающую ее историческое существование и геополитическую экспансию в универсальном измерении, а не просто для блага римлян или греков. Римский этнорегиональный национализм очевидно противоречил космополитической природе Империи и вызывал раздражение у всех, кто не мог его испытывать, то есть у большинства населения. Христианство же обосновывало необходимость этого вселенского размаха, объясняя промыслительность римской экспансии даже в прошлые времена. Универсализм Церкви удачно накладывался на глобализм Империи и давал ему новый — универсальный — смысл. Еще в своем письме епископу Александру и пресвитеру Арию в 324 году Константин так объяснял свое обращение к христианству: *«Свидетельствуюсь самим помощником в моих предприятиях и Спасителем всех — Богом, что две причины побуждали меня к совершению предпринятых мной дел. Во-первых, я сильно желал учения всех народов о божестве, по существу дела, привести как бы в один состав, во-вторых, телу всей Ойкумены, как страждущему тяжкой некоей болезнью, возвратить прежнее здравие»* (Евсевий Кесарийский. Жизнеописание, 2, 65). Из этих слов видно, что Константин раздумывал именно об универсальной религиозной доктрине, адекватной универсальности самой имперской Ойкумены.

Третье преимущество — отношение к человеческой личности

в христианстве, не имеющее аналогов ни в одной другой религии. Даже в отношении цельности и универсализма какие-то учения еще могли сравниться с христианством, но в нравственном аспекте христианство было абсолютно уникально. Безусловно, никто не говорит о том, что с принятием христианства общий нравственный уровень населения Римской империи резко повысился, такие представления были бы весьма наивны. Но зато возникла новая система декларируемых ценностей, на которую нужно было ориентироваться и к которой нужно было апеллировать при выяснении любого морального вопроса. Ведь одно дело, когда человек не знает о том, что он совершает грех, и другое дело, когда он об этом знает. Обе стороны любого конфликта, будь то в гражданской, межгосударственной или межрелигиозной войне, могут вести себя весьма предосудительно, но если у одной из них есть представление о ценности человеческой жизни, а у другой нет, то исход этой войны не может быть безразличным для всех людей, заинтересованных в существовании этой ценности. После принятия христианства государственная власть нередко творила произвол, но теперь ей можно было указывать на ее прегрешения, исходя из ее собственной, декларируемой христианской морали. Если император — это очередной языческий бог, а может быть, даже и наместник верховного бога, то к нему не могут применяться те же моральные требования, что и к другим людям. В христианстве же на любого правителя, даже если он помазан Церковью на царство, распространяется та же евангельская мораль, что и на всех остальных людей. При этом речь идет не только о *справедливости* как категорическом императиве классической морали. Справедливость — это только полумера для христианства, ценность справедливости знают и греческая философия, и римское право, и Ветхий Завет, поскольку это элементарное условие для человеческого сосуществования. Однако новозаветная мораль постулирует нечто большее, чем справедливость, а именно — *милосердие*. Если бы общество существовало только по законам справедливости, повсеместно нарушаемым во все времена, то оно бы все равно не выжило, потому что по справедливости пришлось бы наказывать очень много людей, волей или неволей участвующих в различных преступлениях. На самом деле для полноценного выживания общества и каждого человека в отдельности требуется еще *прощение* грехов, *снисхождение* к проступкам и преступлениям, *милосердие* к тем, кто по справедливости неизбежно должен быть наказан. Из этого не следует, что государство должно закрывать глаза на всевозможные преступления, это было бы и

бессмысленно, и невозможно, но кто из сознательных людей и какая из ответственных властей честно согласились бы с тем, чтобы с ними во всех случаях поступали «по справедливости»? Все люди хотят, чтобы к ним проявляли милосердие, чтобы им прощали их прегрешения, но для этого нужно, чтобы их не отождествляли с их грехами и преступлениями, чтобы в них видели полноценные личности, способные на покаяние и исправление своих прегрешений, а также на совершение нравственных подвигов, которые они, может быть, никогда и не совершат. Столь возвышенное отношение к каждому человеку возможно только в том случае, если в нем видят *образ Божий*, как бы низко ни было его падение, а такое видение возможно только в христианстве.

Константин мог не разбираться в богословских тонкостях, но он не мог не осознавать перечисленные преимущества христианства для дальнейшего существования Римской империи. Империя несла тяжелейшую вину перед Церковью за свои гонения, и ее невозможно было ничем искупить, кроме как самой стать христианской, самой признать не просто право христиан на существование (как в эдикте Галерия) и даже не просто признать свою вину перед христианами (как в Медиоланском эдикте), а признать абсолютную моральную и онтологическую истину христианства, *водрузить церковный Крест над имперским Орлом*. Константин не решался сделать этот шаг за один раз, и не стоит удивляться этой нерешительности. Скорее наоборот, стоит удивляться тому, что он вообще начал этот процесс, ведь ничто тому не способствовало. Действительно, Константин ведь не был ни аскетичным философом, ни восторженным поэтом, ни даже праздным патрицием, увлекающимся новомодными веяниями, — он был в первую очередь воином, сыном воина и учеником воина. Его окружение с детства — это достаточно грубые, весьма циничные, безусловно горделивые суровые мужчины, занятые только войнами и придворными интригами. Только его отец и мать оттеняли эту атмосферу, но их он не видел с двадцати лет, когда оказался при дворе Диоклетиана и Галерия. Конечно, он не только знал, но и видел издевательства над христианами и успел наслушаться всю возможную клевету против них. И эта антихристианская установка была свойственная не только военной власти, но сей армии в целом. К этому следует добавить, что, хотя сам Константин унаследовал от своих родителей определенную гуманность, свойства его характера вполне отвечали традиции иллирийских цезарей — он был очень честолюбив и способен на резкие жесты.

Исходя из всего вышеизложенного, на самом деле нельзя

ответить на вопрос, почему Константин принял христианство, этот выбор не был продиктован никакой объективной политической потребностью, ничто не способствовало этому поступку, этот поступок он совершил *вопреки* всем обстоятельствам, это был его личный свободный выбор, которого также могло и не быть, как могло и не быть самого Константина.

Насколько последовательна была христианская политика Константина? Этот вопрос имел бы смысл только в том случае, если бы Константин был христианином в то время, когда проводил свою религиозную политику, но поскольку он почти до конца своих дней был вне Церкви, то нет смысла излишне придираться к нюансам его процерковной линии. С приземленной точки зрения, поскольку Константин все двадцать пять лет своей религиозной политики не был христианином, он ничем не был обязан христианам, и его участие в решении церковных проблем было проявлением заинтересованности человека, находящегося на пути к Церкви, а не в самой Церкви.

О приверженности христианству со стороны Константина свидетельствует не только его помощь Церкви в деле ее организационного и материального укрепления, но в борьбе с язычеством. Константин не запрещал язычество, но он и не поощрял его, и если в каких-то ситуациях интересы Церкви противоречили интересам язычества, то император не искал компромиссных решений, а выбирал интересы Церкви. Так, например, он уничтожал языческие капища в Иерусалиме, чтобы на их месте возродить христианские святыни. В Египте Константин боролся с культом реки Нил, которому служила специальная коллегия жрецов-гомосексуалистов в храме Сераписа, где также находился большой «священный нилометр», отмеряющий повышение вод Нила для орошения египетских земель. Константин запретил этих жрецов, а нилометр приказал переместить в главный храм Александрии, чтобы, видимо, привлечь туда местных язычников. Сами язычники были в ужасе от этих решений императора и предрекали неизбежную засуху, поскольку «священный Нил» разгневается за них. Каково же было их удивление, когда они увидели, что воды Нила продолжают подниматься и опускаться не хуже, чем в прежние времена. Также можно вспомнить, как Константин переносил в Новый Рим множество изваяний языческих божеств, взятых из их святилищ, только для того, чтобы любоваться ими как произведениями человеческого искусства.

Сложнее развивалось отношение Константина к православно-арианскому спору. Причины этой непоследовательности можно искать в разных биографических деталях императора, связанных с

влиянием арианской партии на него, но необходимо понять, почему он поддавался этому влиянию. Константин в первую очередь был воином и политиком, желающим укрепить и объединить Римскую империю, а не философом или богословом, и когда он обратился к христианству, то он хотел видеть в нем опору государства. Поэтому внутренние догматические разногласия среди христиан казались ему, во-первых, совершенно несущественными, а во-вторых, опасными для чаемого церковно-государственного единства, и он в равной степени раздражался непримиримостью как со стороны ариан, так и со стороны православных. Поскольку же после Никейского Собора проигравшая партия ариан не сложила руки, то у нее были все шансы внушить Константину свою правоту. Для того чтобы успешно бороться с какой-либо идейной позицией, наиболее эффективным способом всегда было выставить ее в более радикальном свете, смешать ее с откровенным экстремизмом. Эффективность этого способа заключается не столько в том, что многие люди могут поверить в эту подмену, сколько в том, что сами сторонники этой позиции часто проявляют подозреваемый в них экстремизм. Также и в конфликте с православными ариане начали обвинять их в савеллианстве и иногда добивались успеха только потому, что иные сторонники Никейского ороса были недостаточно умны и образованны, чтобы суметь различить ортодоксию и ересь Савеллия. Ариане осознали, что официальная Церковь признала их учение ересью, и в ответ решили уличить в «ереси» само православие.

После Никейского Собора радикальные ариане Феона Мармарикский и Секунд Птолемаидский были лишены кафедр и сосланы в Иллирию, а Евсевий Никомедийский и Феогнис Никейский в Галлию. Однако если первые двое оставались в молчаливой оппозиции, последние двое были политиками и продолжили борьбу. Но уже в 328 году Евсевий и Феогнис были возвращены на свои кафедры, потому что таково было желание сестры Константина Констанции, вдовы Лициния, которая покровительствовала Евсевию. Между тем в том же году умер епископ Александр Александрийский и на его кафедру был единогласно избран его помощник Афанасий, ставший главным защитником и столпом православия против арианства на последующие сорок пять лет. Проблемы Афанасия и — шире — всей Православной Церкви после Никейского Собора начались в 331 году, когда поднявшие голову мелетиане пожаловались императору на епископа Александрии за его повышенные требования к ним. В этот момент Евсевий Никомедийский представил себя Константину как удачного посредника в этом

конфликте, и император поверил ему, потому что ничего так не желал как мира ради мира.

В 330 году антиохийские ариане спешно собрались и осудили самого Евстафия Антиохийского в том самом савеллианстве. Евстафий был сослан во Фракию и умер там, а на его кафедру был избран арианствующий Евфроний.

В 333 году перед своей смертью Констанция рекомендовала Константину арианствующего пресвитера Евтокия, который убедил императора в том, что Арий может вернуться в Церковь, после чего он вместе с Арием написал свой символ веры, якобы подтверждающий православие последнего. Ничего антиарианского в этом символе на самом деле не было: Бог-Сын там был назван «происшедшим», а не «рожденным», и поэтому Афанасий отказал возвращению Ария, что крайне возмутило Константина. С этого момента началась систематическая травля Афанасия со стороны мелетиан и ариан, которая будет продолжаться всю его подвижническую жизнь. Афанасия обвиняли во всем, в чем только можно было обвинить александрийского владыку, даже в убийстве мелетианского епископа Арсения, руку которого он якобы отрезал для совершения магических операций. Изобретатели этой дикой выдумки даже спрятали самого Арсения, и его начали искать сторонники Афанасия.

В 335 году Константин отмечал 30-летие своего правления и в честь этого события решил провести церковный Собор, усмиряющий все назревшие конфликты. Местом Собора был выбран приморский левантийский город Тир, наиболее удобный для этой встречи, по мнению Константина. Все знали, что главной церковной темой дня остается категоричность Афанасия в отношении мелетиан и ариан, и ему пришлось прибыть на Собор, чтобы не быть обвиненным в игнорировании императорских указов. Хотя он как архиепископ Александрии прибыл в окружении 50 египетских епископов, их голоса не учитывались. Вместе с этим Афанасий привез на Собор найденного епископа Арсения с обеими руками, так что эта клевета была полностью опровергнута. Однако, несмотря даже на этот факт, враги Афанасия создали инспекционную комиссию для изучения египетских проблем, которая была подкуплена и подтвердила другие обвинения против него. Афанасия изгнали с заседания, обсуждавшего его собственную участь, он не стал дожидаться ее решения и незаметно скрылся на барже, перевозившей лес в Константинополь. В будущем Афанасий не раз спасал свою жизнь такими удачными исчезновениями, а вместе с ней спасал и все

православное дело. Тирский Собор под предводительством комита императора Флавия Дионисия осудил Афанасия, лишил его кафедры и восстановил всех мелетиан в сущем сане. После этого участники Собора отправились в Иерусалим, где провели освящение храма над Гробом Господним. В Константинополе Афанасий встретился с Константином и объяснил ему субъективность решений Тирского Собора, после чего император созвал делегатов из Иерусалима, которые убедили его в противоположном. В итоге Афанасий был сослан на Рейн, в город Трир, где началась его первая ссылка. Из этой страшной ошибки Константина вовсе не следует, что вся Церковь стала арианской. Никейский орос никто не отменил, но зато ариане перестали чувствовать себя раскольнйками и решили пойти еще дальше. В 336 году Арий был вызван императором в Константинополь, где Константин потребовал от него подписать Никейский орос, что Арий, к всеобщему удивлению, сделал и был направлен к епископу Константинополя Александру, который должен был принять его в Церковь. Но Промысел Божий распорядился иначе. Когда Арий в окружении евсевиан покинул императорский дворец и уже шел по площади Константина, известной своей большой порфировой колонной, то у него случилось тяжелое расстройство желудка, и он побежал в ближайший афедрон (туалет) позади площади, где, по описанию Сократа Схоластика (Церковная история, 1, 38), *«он впал в такое изнеможение, что с изверженiем тотчас отвалилась у него задняя часть тела, а затем излилось большое количество крови и вышли тончайшие внутренности; с кровью же выпали селезенка и печень, и он тут же умер»*. Теперь главным вождем ариан остался Евсевий Никомедийский. Арий умер, но арианство осталось, и оно окончательно было повержено только уже с осуждением ереси духоборчества на II Вселенском Соборе в Константинополе в 381 году, утвердившем Никео-Константинопольский Символ Веры.

К сожалению, следует признать, что желание ариан выставить некоторых своих противников скрытыми савеллианами или полусавеллианами было небезосновательно. Ведь, действительно, многие оппоненты арианства выступали не с позиции православия, а со стороны своих собственных псевдоправославных интуиций, как это было с епископом Анкирским Маркеллом. Из самых благих побуждений Маркелл решил дать собственное догматическое обоснование Никейской веры, но в итоге изложил ересь не лучше арианской. На Тирском Соборе Маркелл отказался осуждать Афанасия и даже не поехал со всеми в Иерусалим, а отправился к Константину со своим богословским трудом против арианства, посвященным самому

императору. Константин отдал этот труд на экспертизу делегатам Тирско-Иерусалимской кампании, что принесло им дополнительные козыри. По Маркеллу, Бог — это Монада, в которой предвечно существуют ее Логос и Дух, но они раскрываются в процессе «домостроительного спасения» (икономии), в тварном мире. В первой икономии проявляется Логос, во второй икономии Логос становится Сыном и перворожденным всей твари, в третьей икономии через Сына-Логоса проявляется Святой Дух. Таким образом, вся Троица существует только в икономийном, историческом плане как раскрытие предвечной Монады, и тем самым действительно происходит шаг в сторону савеллианства. Осуждение ереси Маркелла имело значение не столько как опровержение конкретной догматической ошибки, сколько как признание еретиком епископа, который до сих пор казался непримиримым столпом православия. Сами православные по-разному реагировали на это осуждение, иные не хотели «сдавать своего» авторитета, чем только подтверждали обвинения антиарианской партии в криптосавеллианстве. Заблуждение Маркелла Анкирского стало страшным моральным поражением для православных, но зато теперь обсуждение его ереси перевело догматическую дискуссию на еще более высокий уровень, чем раньше, и потребовало формирование еще более точного богословского языка. Впоследствии православные тоже используют арианский прием смешивать позицию противника с более радикальной, чем она есть на самом деле, когда начнут полемику с учением ультраарианского диакона Аэтия, который с 356 года учил, что Христос не только не единосущен Богу-Отцу, но принципиально не подобен (ανόμοιος — «неподобный») ему по сущности. Так же как ариане относительно успешно боролись с савеллианством, которое они пытались ассоциировать с Никейской верой, так и сами никейцы начали бороться с аномейством как потенциальным арианством, и эта борьба разоблачила многих ариан и существенно способствовала дискредитации всего арианства. Но это было уже после Константина, пытавшегося сделать все возможное, чтобы преодолеть в Церкви любые расколы.

Однажды в одном обращении к архиереям Константин сказал: «Вы — епископы внутренних дел Церкви, а меня можно назвать поставленным от Бога епископом дел внешних» (Евсевий Кесарийский. Жизнеописание, 4,24). Конечно, с церковной точки зрения идею «епископа внешних дел» можно признать не более чем красивой метафорой, иначе пришлось бы обвинить Константина в «цезаропапизме», узурпации кесарем церковной

власти, но то, что Константин сделал для Церкви больше, чем многие ее епископы, — это факт, и не столько даже потому, что он имел такую возможность как император, сколько потому, что он осознавал экспансионистскую природу Церкви больше, чем многие ее «князья», довольствующиеся своим пассивным положением.

VII Вселенский Собор, проходивший в том же городе Никее, что и I Вселенский Собор, признал императора Константина равноапостольным (δαωοστολος), то есть *равным* всем апостолам Христа: *«Подобно тому как в древности глава и свершитель нашего спасения Иисус силой всесвятого духа выслал своих премудрых учеников и апостолов… точно так же и ныне он выставил своих слуг, соревнителей апостолов, наших благоверных императоров, просвещенных все той же силой всемудрого Духа ради нашего укрепления и научения*».

Масштабы миссионерского подвига Константина беспрецедентны в количественном отношении, потому что ни до, ни после него никто не добивался таких внушающих результатов в этом тяжелейшем деле. Даже самые последовательные критики Константина признают это великое достижение. *«На самом деле ни один человек в истории не способствовал, прямо или косвенно, обращению стольких людей в христианскую веру»,* — говорил протопресвитер Иоанн Мейендорф («Единство Империи и разделение христиан», 1989 г.). Вместе с ним равноапостольной была провозглашена его мать Елена. Среди русских святых после Константина статус равноапостольных получили просветители славян Кирилл и Мефодий, великий князь Владимир Киевский и бабушка его Ольга, а также креститель Японии архиепископ Николай (Касаткин), он же Николай Японский. Но если все равноапостольные миссионеры крестили отдельно взятые народы, то Константин обратил в христианство трансконтинентальную Империю, объединяющую множество народов и положившую начало общей европейской цивилизации.

44. После Константина

После смерти Константина Римская империя далеко не сразу стала православной, потому что Церкви пришлось столкнуться и с арианской, и с языческой реакцией, но за последующие полвека события, связанные с религиозным обновлением Империи, происходили по нарастающей.

Вопреки расхожему мнению, Константин не собирался устанавливать абсолютную монархию и разделил Империю не только между тремя сыновьями, но и двумя племянниками. При этом он не создал школу, способную достойно продолжить его политику, и поэтому после его ухода развернулась жестокая борьба за власть.

Основная инициатива оказалась в руках среднего сына покойного императора, а именно Констанция II, во многом потому, что он был его соправителем по Востоку и Фракии, то есть тем территориям, где были Никомедия и Новый Рим, хотя последний числился за старшим братом Константином II. Констанций II организовал торжественные похороны отца, а после этого инициировал убийство его братьев Юлия Констанца и Далмация Старшего, а также двух сыновей последнего — Далмация Младшего и Аннибалиана Младшего, то есть совершил настоящий дворцовый переворот в стиле давно забытых «солдатских императоров». В том же, 337 году все трое сыновей Константина, избавленные от дяди и двоюродных братьев, собрались в городе Виминакии (ныне Костолац) в Паннонии, где подтвердили свои территориальные владения и во имя всеобщей стабильности амнистировали всех епископов, сосланных за что-либо. Однако уже в апреле 340 года старший брат Константин II потребовал от младшего Константа Африку и, получив отказ, пошел на него войной в Италию, где и был разбит войсками последнего, будучи загнанным в лесную засаду при Аквилее. В итоге Империя вновь была разделена пополам, когда Западом управлял Констант, Востоком — Констанций II.

Для Церкви их отношения имели не меньшее значение, чем отношения между Константином Великим и Лицинием шестнадцать лет назад, потому что Констант покровительствовал православию, а Констанций II — арианству. Религиозные предпочтения Констанция II были обусловлены не какими-либо догматическими убеждениями, коих у него вовсе не было, а желанием угодить арианской партии Евсевия Никомедийского, весьма сильной на Востоке и озлобленной возвращением святого Афанасия на александрийскую кафедру.

В 350 году придворный Константа Марцеллин организовал заговор против своего императора. Когда Констант охотился возле города Августодуна на плоскогорье Морвана (ныне Отен в Бургундии), его резиденцию захватил франкский вождь Магнеций, и императору пришлось бежать в Пиренеи, где он был схвачен около города, названного в честь Елены (ныне Эльн), своим офицером Гаизоном, перешедшим на сторону Магнеция, и убит им. Параллельно с этим переворотом магистр Иллирии Ветранион объявил себя императором при поддержке дочери Константина I Константины, вдовы убитого Аннибалиана Младшего. Констанцию II пришлось срочно заключить мир с персами на восточных границах и отравиться на Запад усмирять обоих мятежников. Агенты Констанция II сагитировали армию Ветраниона в пользу законного императора, и при встрече с ним в 350 году в городе Сердике Констанций II без всякого сопротивления принял его власть и даже оставил его в живых. С франкским вождем пришлось значительно сложнее. Хотя Магнеций пытался примириться с Констанцием II и даже соорудил отдельную гробницу для Константа, император Востока объявил ему войну и после нескольких сражений победил 28 сентября 351 года при городе Мурсе (ныне Осиек) в Нижней Паннонии. В Европе IV века не было более грандиозной и кровопролитной битвы.

Так в 351 году Констанций II стал единоличным правителем Римской империи. Среди потенциальных конкурентов Констанция II оставались только двое его родственников, сыновья убитого им Юлия Констанция, Галл и Юлиан. Галл отличался невероятной жестокостью, что позволило Константину II оправдать его убийство в 354 году. Итого в своем восхождении к единоличной власти Констанций II убил семь родственников — двух дядей и четырех двоюродных братьев, а уничтожить одного из родных братьев «помог» другой родной брат, также убитый восставшим франком.

Следует заметить, что успешное восхождение Констанция II в определяющей степени было связано с тем, что практически вся имперская армия хотела видеть на троне только прямых наследников Константина Великого, память о котором превращалась в политический культ.

Только двоюродного брата Юлиана Констанций II оставил в живых и в 355 году объявил цезарем неспокойной Галлии, а сам отправился на Восток воевать с вновь наступающими персами. Не знал тогда арианин Констанций II, что именно этот Юлиан, единственный его потенциальный соперник, которого он оставил в живых и даже наделил властью, станет его реальным врагом, а

вместе с этим и врагом всего христианства.

В 360 году Юлиан объявил себя императором и послал письмо Констанцию II о том, что он ни в чем не виноват, а только сами войска хотят видеть его правителем Империи. Констанций II собрался в поход против зарвавшегося узурпатора, но очень сильно заболел и умер 3 ноября 361 года в городе Мопсукрене в Киликии. Император Флавий Клавдий Юлиан II правил всего два года и был убит в битве с персами, но этого времени хватило, чтобы в истории Церкви он остался как Юлиан Отступник, поскольку проводил антихристианскую политику. Обратившись к неоплатонизму, Юлиан II объявил о веротерпимости, а на деле стал благоволить язычеству и препятствовать христианству. За отречение от Христа он обещал карьерные и финансовые поощрения, и в это время многие христиане проявили свое лицемерие.

После Юлиана Отступника, убитого в войне все тем же Шапуром II, с которым воевал еще Константин I, к власти пришел военачальник Иовиан, который восстановил христианство, но вскоре умер при невыясненных обстоятельствах. По Иоанну Златоусту, он был убит, на что намекают и языческие авторы.

В 364 году к власти в империи пришли два брата, военачальники Валентиниан и Валент, и правили значительно дольше. Валентиниан I управлял Западом Империи до 375 года, после чего власть перешла к его сыну Грациану. Валент II управлял Востоком Империи, где, подобно Констанцию II, последовательно покровительствовал арианам, и был убит в сражении с готами при Адрианополе 9 августа 378 года.

Таким образом, после смерти Константина Великого Восток Империи еще пятьдесят лет находился под властью ариан, что позволило западным христианам испытывать определенную гордость за свое православие и впредь считать себя более ортодоксальными, чем своих грекоязычных собратьев.

В 378 году соправителем Грациана на Востоке стал военачальник Феодосий, оставшийся в истории как Феодосий I Великий — самый значительный христианский император после Константина Великого.

В 383 году 24-летнего Грациана сверг и убил британский полководец Магн Максим, правивший до 388 года, когда конец его узурпации решил положить Феодосий, победивший его при Аквилее.

После этого Западом Империи правил младший брат Грациана Валентиниан II, пока его в 392 году не убили заговорщики во главе с полководцем Флавием Арбогастом и начальником канцелярии Флавием Евгением, объявившим себя

императором. Поэтому Феодосию пришлось навести порядок на Западе, как некогда Константину И. 6 сентября 394 года при реке Фригиде (в современной Словении) Феодосий разбил войска Евгения и Арбогаста и стал единоличным правителем единой Римской империи, поселившись в Медиолане, где епископскую кафедру занимал его духовный учитель, великий Отец Церкви Амвросий Медиоланский. В 390 году при подавлении мятежа в Фессалониках, Феодосий приказал убить несколько тысяч жителей, что вызвало большое возмущение святого Амвросия, который после этой трагедии не пустил императора в храм и потребовал покаяния. Феодосий смирился с требованием епископа, что очень много говорит о его отношении к Церкви. Амвросий Медиоланский тогда инициировал закон о том, что приговор к смертной казни должен реализовываться через 30 дней после его провозглашения.

По глубине своих христианских преобразований Феодосия I Великого вполне можно назвать вторым Константином. Именно он провел в 381 году II Вселенский Собор в Константинополе, положивший конец арианской смуте. Именно он был первым императором, который целым рядом эдиктов с 381 по 391 год запретил публичное отправление языческих культов и наложил существенные ограничения для язычества, так что даже Олимпийские игры, сопровождавшиеся языческими ритуалами, прекратили свое существование в 383 году. За все эти достижения Феодосий стал вторым после Константина императором, канонизированным Православной Церковью. Помимо своих религиозных реформ в пользу Церкви Феодосий вошел в историю своей попыткой предотвратить полный распад Римской империи от нашествия варваров. В это время варварские наступления и мятежи по всей северной границе Империи стали настолько опасными, что контролировать их из единого центра стало так же невозможно, как и во времена Диоклетиана, — невозможно с чисто технической точки зрения, ведь нельзя забывать, что самым быстрым сухопутным видом транспорта была лошадь, а самым дальнодействующим оружием — арбалетные стрелы. Поэтому в 395 году Феодосий окончательно разделил Римскую империю на две самостоятельные части, где Восток оставил своему старшему сыну Аркадию (правил до 408 г.), а Запад младшему сыну Гонорию (правил до 423 г.). Так завершился переломный в истории христианства и Европы IV век, а вместе с ним и история единой Римской империи, принесшей Церкви очень много страданий, но под конец самой принявшей Крест и утвердившей его на всех трех континентах.

Раздел Империи был промыслительным решением Феодосия.

Судьба Западной Римской империи была недолгой и весьма плачевной, потому что она приняла на себя основной удар со стороны северных варваров. В 407 году окончательно отпала Британия. В 410 году, при Гонории, Рим был захвачен и разграблен вестготами во главе с Аларихом. Это была первая варварская оккупация Вечного города за восемь веков — с 390 года до н. э., когда он подвергся нашествию галлов. В 455 году Рим был также захвачен и разграблен вандалами во главе с Гейзерихом, унесшими с собой множество культурных ценностей.

В 476 году телохранитель императора Юлия Непота и вождь племени скиров Одоакр под видом подавления мятежа магистра армии Ореста захватывает власть в Риме и низлагает 10-летнего сына Ореста, Ромула Августула, поставленного отцом во главе Империи. Интересно, что последний формальный император Рима носил то же имя, что его основатель, Ромул, да еще и имя Августа, основателя Империи. Однако еще более интересно то, что узурпатор Одоакр, фактически положивший конец Западной Римской империи, очень хотел обеспечить свою легитимность. Поэтому он отправил символы имперской власти, инсигнии, к императору Восточной Римской империи Зинону и упрашивал того признать его власть, на что восточный император признал Одоакра только патрицием.

Как писал по этому поводу культуролог С.С. Аверинцев, *«победитель знал, что делал. Пусть Италия — колыбель и одновременно последняя территория Западной империи; сама по себе она представляет только совокупность земель и по варварскому праву войны оказывается добычей варваров. Но вот знаки упраздненной власти над исчезнувшей империей — совсем иное дело; их нельзя приобщить к добыче, ибо значение этих знаков превышает сферу реальности и причастно сфере долженствования»* («Поэтика ранневизантийской литературы», 1977 г.). Вот эта самая «сфера долженствования» в отношении к постконстантиновскому Новому Риму требует отдельного концептуального рассмотрения.

45. Миссия Катехона

В отличие от Западной Римской империи, просуществовавшей всего восемьдесят лет, Восточная Римская империя с центром в Константинополе прожила более тысячи лет, и все это время она была геополитической основой православной цивилизации, а вместе с тем и прямым приемником античной Римской империи.

В правовом смысле Восточная Римская империя была все тем же государством, которое основали Ромул и Август, но только с двумя принципиальными отличиями — ее столица была не в Ветхом, а в Новом Риме, Константинополе, а ее официальной религией было православное христианство. Во всем остальном жители этой Империи осознавали себя римлянами (ромеями) и отсчитывали свою историю от основания города Рима в 753 году до н. э. Более того, при всем очевидном монархизме летоисчисление в этой Империи также проходило по двум консулам.

В эпоху так называемого итальянского Ренессанса западные ученые-«гуманисты» из трудно скрываемого неприятия этой великой Империи назвали ее унизительно Византией по тому городу, на котором был основан Новый Рим. Назвать Восточную Римскую империю Византией это гораздо хуже, чем Российскую империю назвать Московией, но это слово прижилось в литературе и уже давно не имеет изначального оценочного смысла. В соответствии с этим названием в XIX веке немецкие профессора породили термин «византизм», означающий совокупность всех исторических свойств и идеологических ценностей Византии, и этот термин стал у одних авторов носить строго негативный смысл, а у других авторов, начиная с русского мыслителя Константина Леонтьева, написавшего книгу «Византизм и славянство» (1874), строго позитивный смысл, поскольку не только само отношение к этим свойствам и ценностям остается различным, но и сами они определяются по-разному. Но как бы ни относиться к «византистским» ценностям, нельзя не признать, что все они восходят к политическому опыту Константина Великого, что именно он был настоящим историческим основателем Византии и византизма, хотя самих этих слов в его время не было.

Основной исторический подвиг Константина, позволивший Церкви не только канонизировать его, но и признать равноапостольным, заключался в невероятно масштабном распространении христианства, не сравнимом ни с какими

миссионерскими достижениями ни до, ни после него, но сам этот подвиг был возможен только потому, что Константин был главой огромного трансконтинентального государства, обладавшим уникальными политическими возможностями. Поэтому миссионерский подвиг Константина поставил перед недавно гонимой Церковью не только проблему катехизации беспрецедентно большого количества прихожан, но и богословскую проблему принятия и оправдания имперской власти, которая до сих пор воспринималась ею в лучшем случае как терпимое зло. Однако теперь Церковь была поставлена не просто в условия политических баталий, но уже оказалась в положении *политического победителя*, чего никто не ожидал и о чем никто не думал. Соответственно, Церкви постепенно нужно было формировать необходимое богословие политической власти, а иным аполитичным или даже антиимперски настроенным христианам нужно было пересмотреть свое отношение к феномену государства в целом и конкретно к Римской империи. Не за одно поколение проходило это богословское переосмысление, и первые его общецерковные выводы были сделаны при императоре Юстиниане Великом (правил в 527–565 гг.) — третьем из величайших христианских правителей после Константина и Феодосия.

Для формулирования собственного политического богословия христианам в первую очередь необходимо было обратиться к двум основным источникам православной веры — Священному Писанию и Священному Преданию. До сих пор гонения на христиан подогревали среди них серьезные апокалипсические настроения, поэтому легализация христианства, а тем более его политическая победа заставили христиан несколько отложить в своем сознании постоянное ожидание Конца Света. Стало ясно, что при всем несовершенстве окружающего мира нельзя говорить о его предельном грехопадении, что Господь не позволяет этому миру достичь полного саморазложения, потому что в самом мире есть некоторые начала, способствующие его сохранению.

Поиск этих сдерживающих начал неизбежно привел к загадочной цитате из Второго Послания апостола Павла к Фессалоникийцам, где апостол говорит о том, что приходу грядущего антихриста (человека греха, сына погибели) препятствует определенная сила: *«И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в своем время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»* (Фес. 2: 7). Этот фрагмент Писания стал одним из отправных для формирования всей

христианской политической мысли. «Беззаконие» по-гречески звучит как «аномия», то есть отрицание нормы, аномалия. Аномия — это такое состояние общества, когда исчезает представление о норме во всех сферах человеческой жизни и место нормального вытесняет ненормальное. В конечном счете речь идет о нигилизме и нравственной анархии, хорошо знакомой эпохе поздней Античности. Тайна аномии, по апостолу Павлу, «уже в действии», то есть аномия уже шествует по миру в том или ином своем проявлении, однако она не может полностью свершиться до тех пор, пока этот мир не покинет, не будет «взята от среды» некая «удерживающая» его сила.

По-гречески «удерживающий» звучит как «катехон», поэтому исследование этой цитаты апостола Павла называется учением о Катехоне. Сразу можно сказать, что этой силой не может быть Церковь, потому что она никогда не покинет этот мир и Литургия будет совершаться до последней секунды земной истории. Если же допустить, что «взятие от среды» предполагает полное исчезновение, то Церковь тем более не может быть Катехоном, потому что Церковь имеет начало, но не имеет конца. Следовательно, речь идет о достаточно земной, «приземленной» реальности, само существование которой, в свою очередь, держится Божием благословением. Комментируя тезис о Катехоне, великий Отец Церкви Иоанн Златоуст писал: *«Одни говорят, что это благодать Святого Духа, а другие — римское государство; с этими последними я больше согласен»*. Следует оговориться, что обе версии не особенно противоречат друг другу, потому что, как мы уже заметили, сам «удерживающий» держится благословением Божием, то есть силою Святого Духа.

Так неужели именно римское государство, до сих пор известное своими гонениями против христиан, является тем самым Катехоном, сдерживающим силы антихриста, о котором писал апостол Павел?

Дело в том, что отрицательное отношение к римской государственности у многих из первых христиан было обусловлено не самим фактом существования этой государственности, а конкретно антихристианской политикой некоторых императоров-гонителей. Сама же римская государственность, как это можно вспомнить по ходу суда Понтия Пилата, не только не противоречила христианству, но даже могла быть солидарна с ним по некоторым основаниям. Ведь по римскому законодательству, где уже потенциально существовало представление о праве человеческой личности, Христос был совершенно невиновен, и сам Пилат признавал его невиновность. То же самое касается всех членов Церкви Христовой, которые

были добропорядочными гражданами Империи, и только *варварский закон Августа* об обязательном поклонении императору как богу спровоцировал конфликт Церкви и Рима. Но не надо отождествлять пороки конкретного политического режима с самой государственностью как таковой. Если свести все функции государства к необходимому минимуму, без которого само государство уже невозможно, то этим минимумом будет *легитимная монополия на насилие*. Само по себе насилие — это проявление грехопадшего состояния в человеке, но если посмотреть на человечество без лишних иллюзий, с точки зрения христианского трезвомыслия, то придется признать, что если всем людям в один момент дать полную свободу действий, то мир погрузится в хаос абсолютного произвола. Вряд ли это признание требует особого доказательства — можно только представить себе, что творилось бы в первый день на улицах города, из которого ушла любая власть. Поэтому для предотвращения многих греховных проявлений и в первую очередь самого насилия в мире должна быть определенная инстанция, обладающая монополией на насилие для его разумного, цивилизованного применения.

Таким образом, основная задача любого государства состоит не в том, чтобы построить рай на земле, что невозможно, а в том, чтобы не допустить земного ада, что вполне возможно.

Как бы это неожиданно ни звучало на первый взгляд, но именно государство — это та сила, которая сдерживает наступление полной аномии. Правда, такое «удерживание» возможно только в том случае, если само государство не становится аномийным, то есть отрицающим законность, какой может быть любая тирания. Аномийное государство ничем не лучше самой аномии, потому что тирания и анархия — это две стороны одной медали. Нормальное же представление о порядке является оборотной стороной нормального представления о свободе. Как мы уже выше отмечали, для полноценного существования общества одной справедливости недостаточно, нужно еще милосердие, умение прощать людей и снисходить к их несовершенствам. Но в то же время для полноценного существования общества также необходима власть, имеющая право карать и принимать исключительные решения, даже иногда нарушающие общеустановленный закон, только для того, чтобы этот самый закон сохранить. Не все ситуации можно предусмотреть законом, и иногда общество сталкивается с такой аномией, которую можно подавить только исключительной силой, обладающей всеми возможными полномочиями. В этом была катехоничная правда римской диктатуры, но она

переставала быть таковой, когда уже не ограничивала свои полномочия во времени и тем самым сама же становилась фактором аномии. Так и Пилат, если бы действовал в соответствии с римским правом, не послал бы Христа на смерть, но он начал заигрывать с народом и вестись на провокации, а потому обратил свою власть во зло, сделал римских легионеров оружием аномии, а не катехона.

В принципе можно сказать, что любая власть, основанная на правовой системе, по-своему остается катехоничной, но проблема в том, что различные власти противоречат друг другу и сами становятся фактором мировой аномии, особенно если подменяют универсальные нравственные ценности частным произволом. В эпоху апостола Павла только одно государство можно было назвать правовым — это была Римская империя, и эта исключительность Рима по-своему стала осмысляться в контексте христианской историософии.

История окружающего мира в восприятии первых христиан имела достаточно четкую последовательность, основанную на определенном толковании предсказаний пророка Даниила из Ветхого Завета. Даниил оказался в плену у первого вавилонского царя Навуходоносора, оккупировавшего Иудею и разрушившего Первый Храм в 587 году до н. э., и должен был объяснить ему странный сон (Дан. 2: 31–45), в котором Навуходоносор видел огромного истукана с золотой головой, серебряными руками, медными бедрами, а также полужелезными и полуглиняными ногами. Истукан стоял рядом с горой, с которой вдруг сорвался и полетел камень, разбивший его, а сам после этого сделавшийся горою и заполнивший всю землю. Даниил поведал Навуходоносору, что золотая голова истукана — это он сам, царь Вавилона, после которого придет новое, серебряное царство и победит его, а то царство будет побеждено медным царством, *«которое будет владычествовать над всею землею»*, а на смену ему придет железное царство, *«ибо как железо раздробляет и разбивает все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать»*. И дальше Даниил сказал царю: *«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото»*… Во времена Даниила невозможно было представить, какие это будут царства, но в первые века христианской истории вполне возможно. Так уже святой Ипполит Римский во II веке прямо говорит о том, что «золотое царство» — это Вавилонская империя, «серебряное

царство» — это Персидская империя, «медное царство» — это Эллинская (Македонская) империя, а «железное царство» — это Римская империя, которую не сменит больше никакая иная империя, но сама она распадется на несколько частей.

Представление о том, что мировая империя, стремящаяся вобрать в себя всю ойкумену, может транслироваться из одного центра в другой, получило название translatio imperii. Каждое новое царство было уникально по своему этнокультурному характеру, но оно сохраняло ту же имперскую миссию, что и предыдущее.

Обратим внимание, что идея Рима как последнего царства неожиданно ложится на августовское представление о «вечном Риме», с падением которого закончится вся человеческая история. При этом нельзя сказать, что все четыре царства сами по себе являются злом, но они находятся в конфликте с Израилем, с «Ветхозаветной Церковью», и поэтому обречены на погибель. «Сорвавшийся камень с горы» — это Церковь Нового Завета, которая победит Римскую империю, так что ей придется распасться на «медные» и «глиняные» части, что совершенно логично, потому что она с самого начала была неоднородна. Будущим экзегетам останется только толковать о том, что можно считать этим распадом — раздел Римской империи при Диоклетиане в конце III века и Феодосии в конце IV века или более поздние события, ведь если Рим существует до конца времен как тот самый Катехон, то и его распад происходит не за один раз, а на всех исторических этапах.

На первый взгляд в этом конфликте Церкви и Империи Катехона заключено очевидное противоречие, ведь обе инстанции служат Господу и сопротивляются аномии, но дело в том, что катехоническая Империя далеко не всегда соответствует своей высокой миссии и именно поэтому распадается на части.

В идеале между Церковью и Империей Катехона должны существовать отношения, которые еще при императоре Юстиниане были названы «симфонией»(«созвучием»), и тогда обе эти силы, священная и земная, могут установить настоящий *христианский порядок* и справиться с любой аномией. Но в реальности отношения Церкви с христианской Империей были довольно сложными, потому что различные императоры забывали о своем предназначении и сами становились проводниками настоящей аномии.

Однако какой бы несовершенной ни была власть христианских государей, любая нехристианская власть для исторической Церкви все равно была несравнимо хуже. И если до христианизации Римской империи сама мысль о ее

предназначении как Катехона казалась невозможной, то после миссионерского подвига Константина она становилась вполне естественной. Константин воплотил собой миссию Катехона и проявил эту миссию в самой Римской империи, обосновав смысл ее существование. Следовательно, миссия реально действующего государства-Катехона сводится к двум основным задачам. Минимальная задача — это «удерживание» мировой аномии, подавление «Карфагена» с его человеческими жертвоприношениями, и эту задачу может выполнить даже языческий, Ветхий Рим, в чем и заключался смысл его экспансии. Ибо начальник *«не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое»*, — говорит апостол Павел в Послании к Римлянам (13:4). Максимальная задача — это распространение христианства, служение Церкви, а эту задачу может выполнить только обновленный, крещеный, Новый Рим. Именно с этим обновлением заканчивается языческий хаос Античности и начинается христианский порядок Средневековья. Невозможно понять всю европейскую средневековую культуру, как восточную, так и западную, если не знать это учение о христианской миссии Новой Римской империи, *миссии Катехона.*

Представление о Катехоне, симфонии властей и translatio imperii составляют три основы идеологии византизма, а вместе с ней и всего политического сознания православного Средневековья.

Колоссальной трагедией для всего христианского мира было падение Западной Римской империи в 476 году, потому что для западных христиан оно фактически означало падение Западного Катехона, и хотя впоследствии некоторые государства претендовали на звание его прямого наследника и ни про одно из них православный исследователь не может однозначно сказать, что оно было тем самым Западным Катехоном.

Кроме того, возвышение Восточного Катехона, православной Византии, было воспринято многими западными христианами как повод для ревности, что стало одним из существенных факторов отпадения Западной Церкви от мирового православия. Ветхий Рим не смог признать первенство Константинополя, что привело его к отказу от самого православия, как Ветхий Израиль в своей националистической гордыни не смог принять самого Христа. В основе католического раскола лежит тезис об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына (Filioque), затрагивающий догматику самой Божественной Троицы и поэтому имеющий краеугольное значение для православно-католического конфликта. Но сам этот лжедогмат с точки зрения православия был возможен только потому, что папы римские

самолично вводили его в церковное учение, игнорируя позиции всех остальных Поместных Церквей. Однако справедливости ради надо признать, что Filioque в Римской Церкви было введено под нажимом знаменитого франкского монарха Карла I Великого (правил в 768–814 гг.), от самого имени которого произошло слово «король».

Фигура Карла Великого для Западной Европы крайне противоречива. С одной стороны, его можно назвать «Константином Запада», потому что он практически повторил опыт церковногосударственного синтеза, фактически основав западную средневековую культуру, когда Италия и Галлия находились в состоянии страшного упадка под натиском варваров. С другой стороны, его политика нарушала незыблемые основы византизма.

Во-первых, он почти заставил признать себя императором со стороны римского папы Льва III, благодарного ему за освобождение Италии от лангобардов. Византия не могла согласиться с этим признанием, потому что христианский император, Катехон, может быть только один, особенно после падения Западной Римской империи.

Во-вторых, Карл начал усугублять противоречия между латинским Западом и православным Востоком, положив начало расколу, который окончательно подтвердится в 1054 году. Вместе с этим начиная с эпохи Карла Великого Запад не только отдаляется от православного Востока, но пытается переписывать историю христианизации Европы под себя, постепенно вытесняя и замалчивая тему Византии. Конечно, эта тенденция достигнет своего апофеоза после падения Византии, в эпоху Нового времени, но ее корни уходят именно в православно-католический конфликт эпохи Карла Великого. Между тем рассматривать историю Западной Европы без Византии то же самое, что рассматривать историю христианства без православия.

Византия не только не была культурной периферией Европы, Византия буквально создала средневековую европейскую культуру, потому что именно в ней произошел полноценный синтез античного наследия и христианского мировоззрения.

Достаточно сказать, что именно Юстиниан I Великий в 534 году систематизировал все правовое наследие Рима в большой «Свод Юстиниана» (Corpus juris civilis), ставший основой всей дисциплины римского права. В этом смысле то, что называется римским правом, вполне можно называть византийским. Сам Константинополь был самым большим и богатым городом мира, став подлинным Римом Средневековья, так что на него во всех отношениях ориентировались все европейские столицы.

Но западным политикам не очень нравилось это очевидное превосходство, и поэтому они пытались придумать альтернативную историософию, отвлекающую внимание от византийского центра. Самым известным примером этого мифотворчества стала легенда о «даре Константина», по которой основатель Нового Рима якобы даровал римским папам власть над всей Церковью. По этой легенде, не имеющей никаких исторических оснований, Константин однажды сильно заболел, и какие-то языческие жрецы предписали ему купель из крови младенцев, но, как только дети были собраны, император растрогался и отказался от такого варварского лечения, после чего ему во сне явились апостолы Петр и Павел и посоветовали обратиться к римскому папе Сильвестру. Якобы именно у Сильвестра Константин принял святое крещение, выздоровел и за это подарил римскому престолу право управлять всей Церковью и всем Западом, оставляя за собой только Восток. Эта легенда впервые цитируется в послании папы Адриана I Карлу Великому в 788 году, где папа называет Карла «новым Константином», а себя «новым Сильвестром». Несмотря на то что эта легенда противоречила всем источникам, она была очень популярна на Западе, и римские папы, превратившие свою Церковь в самостоятельное государство, через нее обосновывали свою власть. Даже Данте при всем своем антипапизме верил в эту легенду и упрекал Константина в этом «даре» («Ад», XIX, 115–117). И только в 1440 году итальянец Лоренцо Вала доказал ложность этой легенды в работе «О даре Константина», опубликованной в 1517 году Ульрихом фон Гуттеном.

Но сколько бы на Западе ни пытались забыть о Константине как императоре, перенесшем столицу на восточные границы Европы и основавшем Византию, на самом деле это было совершенно невозможно, потому что именно он сделал Римскую империю христианской и фактически создал христианскую Европу. Память о Константине была настолько значительна, что даже спасла от разрушения единственную конную статую эпохи Античности, а именно бронзовую скульптуру Марка Аврелия на коне, только потому, что все средневековые люди были абсолютно уверены, что это скульптура самого Константина Великого, пока в XV веке ватиканский библиотекарь Платина не распознал лицо всадника, сравнивая его с изображениями римских императоров на древних монетах. В1538 году папа Павел III перенес, эту статую на Капитолий, и она сохранилась до наших дней. Также имя Константина имело принципиальное значение для историософии Нового времени, сформулированной немецким ученым Кристофером Целларием (Кристофом Келлером),

издавшим в 1685–1696 годах трехтомник «Трехчастная история», с которого начинается современное деление европейской хронологии на Античность (Древний мир), Средневековье и Новое время. Исторические рамки Средних веков Келлер определил предельно точно — от правления Константина Великого до падения Константинополя в 1453 году. И хотя схема Келлера вошла во все учебники истории, его критерии хронологических границ Средневековья были полностью забыты.

О том, что Константин прекрасно осознавал свою собственную миссию в истории, свидетельствует его *«Слово, написанное к обществу святых».* Хотя некоторые исследователи считают, что оно написано одним из его придворных интеллектуалов, скорее всего Евсевием Кесарийским, в любом случае он его подписал и был согласен с его содержанием. Помимо это, нет никаких однозначных оснований полагать, что он не мог быть автором этого текста. В этом послании Константин демонстрирует редкие для римского императора иллирийской династии познания в литературе, философии, богословии, а также знакомство с пророчествами Даниила, с одной стороны, и эритрейской Сивиллы — с другой. Здесь он также разбирает знаменитую «IV эклогу» Вергилия, которую поэт посвятил новорожденному сыну своего друга, но она была интерпретирована многими христианами как предсказание о пришествии Христа, поскольку ее эсхатологический пафос по поводу рождения некоего ребенка для языческого поэта I века до Р.Х. действительно вызывал большие вопросы. Для императора, соединившего идею Рима и идею Церкви в едином идеологическом синтезе, поверить в Вергилия как пророка о библейском Мессии было совершенно естественно. Но как бы ни относиться к этому тексту, необходимо признать, что с него фактически начинается история христианской политической мысли.

Падение Византии в 145 3 году под натиском турок-мусульман для огромного числа православных христиан означало падение Катехона и было ощутимым ударом для всего христианского мира. В рамках этого заключения невозможно обсудить все причины этой космической трагедии, но в любом случае можно заметить, что Византия пала потому, что в определенный момент забыла о своем историческом назначении, расслабилась и от миссионерского наступления перешла к отступлению. На месте Константинополя оказался город Стамбул, а на месте Византии — Турция. Однако падение Константинополя не означало конец эры Константина, потому что далеко на северо-востоке от него, в лесах Восточной Европы, разрасталось Великое

княжество Московское — единственное независимое православное государство в мире с того момента и вплоть до XIX века. Существование Московского государства не позволило говорить о том, что Катехон пал, а когда в 1472 году византийская принцесса София Палеолог венчается с русским великим князем Иоанном III, то становилось ясно — Новый Рим в соответствии с доктриной translatio imperii перенесся с одного места на другое, как в свое время из Ветхого Рима в Византий. Двуглавый орел перелетел из Константинополя в Москву, и так возникла осевая идея русского византизма — идея России как Третьего Рима, своего рода «Северной Византии». В1492 году митрополит Зосима называет Москву «новым градом Константина», а в 1523 году инок Псковско-Елеазаровского монастыря Филофей пишет антиастрологический трактат («Послание на звездочетцев»), где впервые встречается формула Третьего Рима: два Рима пали, третий Рим стоит, а четвертому не быть. Но если послание Филофея оставалось лишь его частным богословско-политическим мнением, то уже в 1589 году в Уложенной грамоте Поместного Собора, утвердившего в России Патриаршество, формула «Москва — Третий Рим» установлена как официальное церковно-государственное положение, и хотя впоследствии к нему нечасто обращались русские политики, факт унаследования Россией от Византии миссии православной Империи был слишком очевиден, чтобы спорить с ним. От святого равноапостольного императора Константина до святого страстотерпца императора Николая II проходила прямая линия преемства Империи Катехона, с падением которой наступает тотальная аномия с неизбежным итогом.

Если «тайна беззакония» не свершилась, значит, линия преемства еще не оборвалась и Третий Рим продолжает нести свою миссию в мире, где само имя императора Константина требует специального воспоминания. Возрождение этого имени необходимо не только для восстановления адекватной картины исторического прошлого, но и для будущего христианской европейской цивилизации, основателем которой был император Константин Великий.

Хронология

272 г., 27 февраля — родился в г. Нэсе, в Мёзии, у Констанция I Хлора (250–306) и Елены (250–330).

274 г. — император Аврелиан вводит в Римской империи культ «Непобедимого Солнца» и называет себя «господином и богом» (Dominus et Deus).

293 г. — император Диоклетиан основывает тетрархию: делит империю на 4 части сроком на 20 лет. Диоклетиан провозглашается августом Востока с цезарем Галерием, а Максимиан августом Запада с цезарем Констанцием Хлором, управляющим Галлией и Британией. Констанций женится на Феодоре, падчерице Максимиана. Константин начинает службу при дворе Диоклетиана в Никомедии.

300 г. — Минервина родила от Константина сына Криспа (ум. 326).

303 г. — женитьба на Минервине.

303–304 гг. — гонения Диоклетиана против христиан.

305 г. — Диоклетиан и Максимиан складывают полномочия, Галерий становится августом Востока и объявляет своими цезарями Флавия Севера на Западе и Максимина Дазу на Востоке. Констанций Хлор становится августом Запада. Константин бежит из дворца Галерия в Никомедии к отцу в Британию.

306 г. — смерть Констанция в г. Йорке, Константин провозглашен Сенатом кесарем Галлии и Британии. Формально он делит власть с новым августом Запада Флавием Севером.

306 г. — сын Максимиана Максенций узурпирует власть в Италии, а сам Максимиан помогает сыну уничтожить Флавия Севера.

307 г. — женитьба на Фаусте, дочери Максимиана и сестре Максенция.

308 г. — съезд тетрархов по инициативе Галерия в Карнунтуме на Дунае (центр Верхней Паннонии). Галерий остается августом Востока с цезарем Максимином Дазой, а августом Запада объявляет Лициния с цезарем Константином. Максимину предложено уйти на покой, а власть Максенция всеми признана нелегитимной.

308 г. — Максимин Даза объявляет себя августом, и тогда Галерий объявляет августом Константина.

309 г. — Константин вводит золотую монету солид, ставшую впоследствии основной денежной единицей Римской империи и будущей Византии.

310 г. — поход против франков. Строительство первого моста

через Рейн, недалеко от Кельна. Максимиан пытается свергнуть власть Константина, но проигрывает и погибает в Массилии.

311 г. — Никомедийский эдикт Галерия: Церкви дана свобода при условии, что она молится за республику. Смерть Галерия. Лициний — август Запада.

312 г. — поход на Рим. Видение Креста на солнце и утверждение символа хризмы в армии (лабарума). Победа над Максенцием. Сенат Рима провозглашает Константина величайшим августом и великим понтификом. В Риме строится арка Константина. Ликвидация преторианской гвардии и окончательное разделение военной и гражданской иерархии.

313 г. — Максимин Даза нападает на Лициния под Византием и гибнет. Лициний и Константин делят Империю. Медиоланский эдикт: Церкви дана полная свобода и возвращена собственность. 3 декабря — смерть Диоклетиана.

314 г. — битвы с Лицинием в земле кибалов у озера Гиюльк в Паннонии (совр. Винковицы в Хорватии) и во Фракии на Мардийской равнине. Аннексия Паннонии, Далмации, Дакии, Македонии, Греции. 1 августа — Константин созывает Собор в Арле, на котором окончательно осуждаются донатисты.

316 г. — родился второй сын Константин II (ум. 340).

317 г. — родился третий сын Констанций II (ум. 361). Лактанций становится придворным учителем Криспа, который провозглашен цезарем. Годовалый Константин II заочно становится цезарем Британии, Галлии и Испании. Константин переезжает из Трира в Сердику (совр. София).

321 г., 7 марта — Константин объявляет воскресенье («день солнца») нерабочим днем.

323 г. — родился третий сын Констант (ум. 350).

324 г. — победа над Аицинием у Адрианополя. Лициний бежал в Никомедию, арестован, сослан в Фессалоники, где был казнен за соучастие в мятеже в 325 г. Константин — единоличный правитель Римской империи, переезжает из Сердики в Никомедию. Константин II провозглашен цезарем Востока. Начало строительства в Византии Нового Рима (Константинополя). Паломничество Елены в Иерусалим для восстановления христианских святынь. Константин пытается разрешить спор сторонников Александра Александрийского и Ария, для чего посылает им письмо через Осия Кордовского.

325 г. — I Вселенский Собор в Никее, осуждение арианства и принятие ороса православной веры. 20-летие правления Константина.

326 г. — убийство Криспа и Фаусты.

328 г. — строительство моста через Дунай (ок. совр.

румынского города Корабия). Афанасий Великий становится епископом Александрии.

330 г., 11 мая — освящение Нового Рима (Константинополя), официальный перенос столицы из Рима в Новый Рим.

330 г. — смерть матери Константина, святой Елены.

332 г. — поход против готов и сарматов, расселение готов в Паннонии, а сарматов в Италии. Формирование отрядов «федератов». Закрепление наследственного статуса колонов (свободных крестьян) и муниципальных декурионов (налоговых инспекторов).

333 г. — Констант провозглашен цезарем Италии, Иллирии и Африки.

335 г. — 30-летие правления Константина. Собор в Тире против Афанасия Великого. 13 сентября — в Иерусалиме на месте Голгофы и Гроба Господня освящен храм Воскресения, а 14 сентября в нем установлен обретенный Еленой Крест Господень.

336 г. — Константинопольский Собор осуждает ересь Маркелла Анкирского. Смерть Ария.

337 г. — поход против персидского царя Шапура II. Крещение под Никомедией епископом Евсевием Никомедийским. 22 мая, в день Пятидесятницы — умер в Аквирионском дворце в предместье Никомедии.

notes

Примечания

1

Сравните тезис митрополита Филарета (Вахромеева), председателя Синодальной Библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви: «*Человек изначально сотворен по образу Божию, который следует отождествить с его личностью, т. е. с ипостасным образом его бытия».* Цит. по: *Филарет (Вахромеев*), *митр. Минский и Слуцкий.* Православное богословие в новом веке// Церковь и время. 2002. № 4 (21). С.22. По этой теме также можно рекомендовать следующие исследования: *Аосский В.Н.* Богословское понятие человеческой личности // Боговидение. М.:АСТ, 2003; *Малков П.Ю.* Ипостась: личность или индивидуум?// По образу Слова. М.:ПСТГУ, 2007.

2

Наиболее подробно о календарных спорах накануне и после Никейского Собора см.: Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви II. История Церкви в период до Константина Великого, глава 5 «Споры о времени празднования Пасхи» (СПб., 1910).